

- «СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ ЧТОБ...» -
повесть Бориса Носика «Комната Здоровья»
- ЛЮБОВЬ И АНАРХИЯ -
роман известного французского писателя Ромена Гари
- РУССКИЙ ДУАЛИЗМ И БИБЛЕЙСКАЯ ИДЕЯ -
новая статья Александра Воронеля
- ЦАДИКИ И АДМОРЫ -
главы из книги Амнона Леви «Харедим»
- ИЗБРАННОСТЬ ПО-ЕВРЕЙСКИ - И ПО-КИТАЙСКИ -
сравнительный очерк Вадима Россмана
- КОНТАКТ ИЛИ КОНФЛИКТ? -
проблемы русскоязычной литературы в Израиле

22

№ 81

МИСЛАНУС И
ВАНУС

**ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ
ЖУРНАЛ ЕВРЕЙСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ ИЗ СССР В ИЗРАИЛЕ**

ДВАДЦАТЬ ДВА

Издание общественно-культурного фонда

"МОСКВА — ИЕРУСАЛИМ"

под покровительством комитета ученых

при общественном совете солидарности с евреями СССР

Лауреат премии Р.Н.Эттингер за 1984 год

81

1992

СОДЕРЖАНИЕ

ЛИТЕРАТУРА: Борис Носик. Комната Здоровья (повесть) – 3. Александр Верник. Другая попытка (стихи) – 48. Александр Карабчиевский. Великое определение Петрова (рассказ) – 57. Дмитрий Сливняк. Концерт для мясорубки с оркестром (рассказ) – 62. Александр Кучерский. Святость родителей (рассказ) – 70. Александр Перчиков, Александр Голоскер, Сандро Белоцкий. Стихи – 73. Ромен Гари. Леди Л. (роман, перевод с английского Нины Воронель и Татьяны Карелиной) – 80.

ОТКЛИКИ И МНЕНИЯ: Рафаил Нудельман. Несостоявшаяся защита (о статье Н. Воронель «В защиту ретроградов») – 106. Евгений Наклеушев. Позвольте ретрограду защититься собственными силами (открытое письмо Н. Воронель) – 111. Нина Воронель – последнее слово подзащитного – 116.

ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Александр Воронель. Новый дуализм как альтернатива библейской идее 119

ПОРТРЕТЫ В ПРОФИЛЬ: Амнон Леви. Харедим (главы из книги, перевод с иврита и комментарии Александра Этермана) 139

ЗАПАД-ВОСТОК: Вадим Россман. Два типа избранности, или исторические заметки на неисторические темы 172

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ: Михаил Вартбург. Контакт или конфликт? (отчет о симпозиуме по проблемам израильской русскоязычной литературы) 188

ЛЮДИ И КНИГИ: А. Пташкин. Заметки читателя 220

На последней странице обложки:

Д. Горошевский. «Ешиботница». Из цикла «Новое еврейство». (К очерку А. Леви).

КОМНАТА ЗДОРОВЬЯ

Первое дежурство Временского по Комнате Здоровья при ЖЭКе дома № 3 прошло сравнительно благополучно. На счастье, никто не обратился к нему за медицинской консультацией или медпомощью и даже не пожаловался на здоровье. Конечно, в случае крайней нужды он вспомнил бы что-нибудь полезно-утешительное из популярной печати, однако без жалоб и посетителей ему было все же спокойнее. Дело в том, что он был человек, в сущности, чужой для процветающей Службы Здоровья при доме № 3 по улице Активистов. Более того, Временский к самому понятию Здоровья относился до последнего времени весьма скептически. Как всякий человек, чуждый медицине, он считал, что если оно есть, Здоровье, то о нем не думаешь, а вот уж когда его нет, то здесь просто поздно браться за его сохранение. Ну, нужно в безвыходной ситуации подлечиться, но уж если его, Здоровья, нет, то его нет. Что же до всякой там профилактики и настоящего, самоотверженного, общими силами служения Здоровью, то они вызывали у Временского не меньший ужас, чем любая другая общественно-эгоистическая или эгоистически-общественная работа. Что касается его нынешнего участия в работе прославленной жэковской Комнаты Здоровья, то, честно сказать, не сама работа завлекла его: его завлекли сюда энергичные деятели Здоровья, и Временский уже начал прозревать, зачем он им был тут нужен или, точнее, чем расположил их к себе. Он был некогда человек пишущий, журналист, и даже более того. Не namного, впрочем, более, так как ни одну из начатых им серьезных книг он так и не дописал и уж, тем более, не выпустил. Но все же он был человек пишущий, а к проблеме писания (громко говоря, творчества) большинство пенсионеров (ибо именно эта социальная категория доминировала в жэковской общественной стихии) было равнодушно. А уж если говорить о жэковской Группе Здоровья, этом истинном ядре общественного кипения, то здесь почти все или уже писали, или собирались писать, имели, так сказать, «задумки», имели о чем поведать миру; у всякого «наболело». В

сущности, каждый член коллектива мог бы повторить вслед за должжителем Толстым (а за кем же еще повторять, как не за ним?): «Не могу молчать!»

Жанры, в которых творили пенсионеры дома № 3 и, в частности, члены Группы Здоровья, были многообразны, как сама жизнь. Простейшим из них был, конечно, тот самый, в котором, по его утверждению, не творил А.П.Чехов. В этом жанре глагол «писать» требует специфического предлога «на», заменяющего «о», «про» и прочие предлоги: «писать на кого-то» («я на тебя напишу»).

Человек, который посетил Временского под самый конец его дежурства и который, как выяснилось, нуждался в литературных, а не в медицинских советах, творил, по подозрению Временского, именно в этом жанре. Это был сосед Временского жилец Нерезов, бывший главврач чего-то и заврайздравотделом где-то, человек, который по прежнему своему положению в мире отечественной медицины мог бы претендовать на место более высокое, чем он занимал сейчас в Комнате Здоровья.

Собственно, он и претендовал, но претензия его оставалась неудовлетворенной по той причине, что единственное высокое место в жэковской КЗ, а именно, место общественного заведующего общественной Комнаты Здоровья, было давно и прочно занято полковником медицинской службы в отставке Агабабиным, который являлся, по существу, создателем, крестным отцом, организатором и вдохновителем Службы Здоровья в рамках упомянутого ЖЭКа и к тому же рьяным и весьма просвещенным служителем Здоровья.

Положение это, однако, не казалось жильцу Нерезову вовсе уже безнадежным, ибо жизнь его прошла в перипетиях внутриведомственной борьбы, которую он вел в рамках учреждений Минздрава, и борьба эта, хотя, может, она и отличается по своим формам от пресловутой политической борьбы в странах самоуверенного Запада, она тоже, эта борьба, рождает закаленных и даже мудрых борцов. Если борцы эти уступают западным борцам, скажем, в ораторском искусстве или в умении использовать свою университетскую эрудицию, то зато они здраво используют реальную обстановку и вообще твердо стоят двумя ногами на почве реальной действительности.

Именно таким борцом был Нерезов. И если сейчас, за рубежом (еще столь недавним) ухода на пенсию, масштабы и самое поле его борьбы утратили размах, то сама эта борьба, ее накал и разнообра-

ние ее форм сделали бы честь самому Лоранфабюсу, Жакшираку* и другим акулам политических происков.

Как понял пенсионер Временский, Нерезов предлагал ему соавторство в каких-то кляузах, которые он строчил на полковника Агабабина с целью исторгнуть из рук престарелого (если не сказать совсем старого) полковника руководство знаменитой Комнатой Здоровья. Нерезов довольно прозрачно намекнул на низкую медицинскую квалификацию армейского медика, на его слабеющую память и крепнущий склероз, на его неумение ценить людей.

- И даже, знаете? Современность, так сказать, актуальность... Даже несколько странно... - осторожно сказал Нерезов.

- А что там странного?

- Ну, вот, к примеру, лекционная тематика. «Проходимость уретры в период развитого социализма». Или вот - «Геморроидальные шишки и самолечение снегом в период развитого социализма». Или то же самое - про инфаркты. Что же, значит, выходит, что в период развитого, так сказать, больше инфарктов или больше там этих?..

Временский был в несколько затруднительном положении. Ему смутно вспоминалось, что это он, редактируя полковничий план, самоуверенной рукой вставил туда все эти невыразительные категории времени.

- А может, и так, - сказал Временский. - И отчего бы нам не сказать об этом прямо в эпоху, так сказать, гласности. Имея в виду человеческий фактор. Фактор человеческого здоровья...

Нерезов кивнул в знак согласия и даже польстил Временскому, сказав, что наслышан о его бойком перо и его фамильных традициях парламентарной борьбы. Последнее было намеком на столь распространенный домысел (в свою очередь, плод смутной звуковой ассоциации), что Временский не только не обиделся, но даже и не был польщен. И дело не только в том, что скромный литератор Временский не имел никакого отношения к лидеру Временного Правительства Керенскому, но и в том, что он был напрочь лишен всяких политических амбиций. Более того, он неоднократно развивал перед близкими или просто симпатичными ему людьми собственную ономастическую (в стиле проф. Трубачева) теорию о том,

* Имена французских политических деятелей, при помощи которых (точнее, имен) автор хочет продемонстрировать свою политическую осведомленность (Прим. автора).

что некогда, переводя фамилию его предка, малограмотный дьяк записал латинское «В» как русское «В» (немудрено перепутать!), то-есть, что фамилия его далекого предка была Бременский, и это даже подтверждается тем фактом, что предок его был музыкант. Теория эта звучала особенно впечатляюще в пору увлечения москвичей и иногородних изящной музыкой композитора Г.Гладкова*, но и в наше время музыкальной гласности и разгула инструментальных ансамблей она все еще сохраняла свой шарм для наиболее юных обитателей дома № 3 по улице Активистов, протянувшейся в одном из умеренно удаленных от центра микрорайонов нашей столицы (как всем известно, порта пяти морей и четырех аэропортов).

По всем изложенным выше причинам Временский, терпеливо выслушав напористые и в то же время уклончивые речи Нерезова, сделал вид, что он мало разбирается во всем этом, потому что не только никогда не изучал медицину, но и вообще собирается уже уходить из большой литературы, вернее, уйдет сейчас же, как найдет для этого подходящий повод. Нерезов мог понять, что именно его, казалось бы, столь лестное предложение (ибо оно сулило и Временскому неизбежное продвижение к власти, как бы эфемерна ни была эта власть, ограниченная общественной сферой ЖЭКа) и будет использовано Временским как повод для прощания с литературой. Человек, менее искушенный в политике, чем Нерезов, никогда бы с таким изяществом не провел маневр отступления, сведя всю их полную рискованных поворотов беседу к обсуждению насущных событий современной советской литературы. Можно было подумать, что Нерезов затем и приходил в подвальный отсек, оккупированный Комнатой Здоровья, чтобы узнать, какое из всемирно признанных произведений Чингиза Айтматова, заменившего ныне в этой сфере Луи Арагона, произвело на Временского самое потрясающее впечатление. Временский умело поддержал беседу, признавшись, что его, собственно, стали волновать в последнее время произведения критика Айтмата Чингизова, после чего Нерезов удалился, кланяясь и кивая со всей любезностью, какую позволяли ему возраст, досрочное отложение солей и остеохондроз.

После его ухода Временский взглянул на часы и убедился, что приемные часы истекли. Он запер Комнату Здоровья с тем большим

* Здесь мы отсылаем читателей к долгоиграющей пластинке «Бременские музыканты», записанной на фирме «Мелодия» (Прим. автора).

энтузиазмом, что во дворе дома № 3 по улице Активистов, несмотря на позднее время, еще слышны были победные крики детской общестственности.

* * *

Детей во дворе всегда было много, однако Временский выделял некоторых из них - самых красивых, самых смышленных и самых нахальных. Справедливо будет отметить, что все дети казались ему красивыми. Глядя на них, Временский думал иногда о том, с каким упорством и с какой неуклюжестью пытаемся мы в более поздние годы жизни вернуть себе хоть частицу этой былой своей детской привлекательности. Увы, напрасно! Потуги эти кажутся тем более жалкими, чем они отчаянней и упорней. Особенно жалко бывает женщин, которые уже и в очень юные годы, еще почти бессознательно, начинают имитировать и неповторимые позы, и словечки, и гримасы своего чарующего детства (что уж говорить о зрелом их возрасте или поре увядания, когда эта ностальгическая тяга к собственному детству становится вовсе уж бесконтрольной и непреодолимой)...

Но вот они перед ним, дети, в цвете своей детской поры, как ими не любоваться?

Верховодил во дворе белобрысый мальчонка с грозным именем Темучин. Под рукой у него был тоненький Андрюша с бархатными глазами, а также явно им из всех девочек выделяемая восточная красавица Мика. Ни на шаг не отходил и его соперник, прелестный мордатый Пантелей, светлоглазый, рыжеватый, с оттопыренными ушами. Были тут и многие другие - да что там, чуть не все типы человеческой красоты были представлены в жалком дворе московской двенадцатизатжки...

Временский обнаружил однажды одинокую скамейку, стоявшую в стороне, близ какой-то недостроенной подстанции. На этой скамейке он оказывался в отдалении от подъезда и популярных здесь скамеек у входа, вокруг которых непрестанно ползали его собратья по возрастному бедствию и коллеги по Комнате Здоровья. К тому же, вблизи подстанции разворачивались столь волновавшие его драмы и комедии детской жизни. Вскоре, впрочем, Временский убедился, что он был не единственный, кто облюбовал скамейку близ подстанции. Иногда на ее краешке присаживался майор в отставке Поваленко, бывший военком, бывший деятель ДОСААФ и

боевой командир. Как выяснилось, майора тоже притягивали сюда детские игры, наличие малолетнего контингента допризывников. Военачальник тосковал по утраченной власти, и он приходил сюда учить, наставлять и, по возможности, даже наказывать, за что получил у детей кличку «главного сволочизма». Остальные старики были для них просто «сволочизмы». Сам Временский ценою долгой и самоотверженной службы младшему возрасту дослужился однажды до степени «допустимого сволочизма», но это случилось, впрочем, много позднее.

Увидев в первый раз экс-военкома Поваленко на своей скамейке, Временский свернул с пути, сделал круг и остановился у боковой стенки подстанции, где оставался невидим как пенсионеру, так и детям, хотя и сам, конечно, не мог наблюдать за ними, но зато мог слышать их крики.

- Готовимся к нападению, - сказал Темучин, чей писклявый голос Временский узнал бы даже в неаполитанском хоре. - Сперва надо идти в разведку.

- Темно, - возразил Андрюша, - ноги переломаете. А там вон, у дерева, говно вдобавок...

- Эх, горе-воин, - сказал майор отечески. - Я бы не взял тебя в разведку.

- Мы с вами и не пойдем, - сказал Темучин, - на хера всех старых сволочизмов и всех...

Он не договорил, и писк его внезапно перешел в визг.

- Отпустите ухо! - визжал Темучин. - Отцу пожалуюсь. Он вас зарежет. Права не имеете чужого ребенка за ухо...

- Еще спасибо скажет твой батя за науку, - выговорил майор, тяжело дыша. - Я их не одну тыщу таких, как ты, выучил, и все ничего, кроме благодарностей...

Темучин уже отбежал за подстанцию и кричал оттуда:

- Ты у нас дождешься, главный сволочизм!

Потом Временский услышал тяжелые шаги. Майор уходил домой, тяжело сопя. День его прошел не напрасно, не пропал для воспитания молодых пополнений родины.

- Родина слышит, родина знает... - лирично запел майор.

- Когда -нибудь мы взорвем эту блядь, - безжалостно пропищал Темучин.

- Тебе больно? - спросила Мика дрожащим голосом. - Глади, ухо все красное.

- Ничего-о-о, - сказал Темучин, - не такие бывали раны...

Атакуем без разведки. Все готовы? Андрюха, пойдешь здесь рядом. Пантелей, прикрой с тыла. Толстый, Толя, Шурик - по левому флангу...

Они ушли в бой с бешеным воем и писком, а Временский остался совсем один на освобожденной скамейке. Он больше любил, конечно, когда они играли во что-нибудь мирное. Или просто спорили о прогрессе науки и программах Центрального телевидения. Но им, вероятно, как певцу Высоцкому и другим пацанам мира, нужны были все эти штрафные ударные батальоны и солдаты группы Центр. Позднее, когда отношения между Временским и возлюбленным его поколением стали почти дружескими, они предложили ему однажды пойти с ними в разведку. Он отказался. Дети страшно удивились, и ему нелегко было объяснить, отчего он не хочет.

- Вы что, боитесь? - спросил насмешливо Пантелей.

- Боюсь тоже... - согласился Временский. - Но знаешь, Панечка, я не любил войну даже до войны. А уж потом, когда пришлось воевать...

- Разве евреи воюют? - спросил осведомленный Пантелей.

- По временам. Да, да, по временам, - сказал Временский. - Во время войны... Так вот, я ходил один раз в разведку, и мне совсем не понравилось. Мы там даже убили кого-то...

- Взяли языка? - спросил Темучин.

- Нет, мы никого не взяли. Просто мой друг Рашид зарезал какого-то мальчишку. Часовой был, наверное.

- Немец?

- Скорей всего, немец. Хотя было там темно... Может, он был итальянец или даже русский... Я его видел - светленький такой, совсем молодой...

- А сведения? - спросил Андрюша. - Вы их сдали в штаб?

- Нет, не сдали. Пока мы до своих добрались, осталось нас только трое. А наш батальон был уже где-то совсем в другом месте. И сведения эти были им не нужны. Там, вообще, был в то время такой бардак, страшно вспомнить...

- Значит, вы были не герой? - спросил Пантелей.

- Нет, нет, я определенно был не герой, - сказал Временский, сознавая, что он падает в глазах своих маленьких друзей (ему казалось тогда, что они уже были друзьями, ему хотелось верить в это, и он верил).

Когда Временский подошел к подъезду дома № 3, вся Группа Здоровья во главе с полковником Агабабиным была в сборе. До сих пор Временскому (совсем, впрочем, недавно кооптированному в Группу и привлеченному к работе Комнаты Здоровья) удавалось вполне пристойно избегать вечерней пробежки, этого важнейшего элемента в системе сохранения и укрепления Здоровья. Ибо, несмотря на близкие отношения с лидерами этой группы, Временский, как и прежде, не считал себя большим энтузиастом Здоровья. Здоровье у него было, конечно, неважноецкое, но он старался на него по возможности не жаловаться и принимать его таким, как есть. Кроме того, он всю жизнь избегал всякого насилия над собственным организмом или интеллектом (интеллект у него был еще более ленивый, чем организм, и, живи Временский в каком-нибудь более активном обществе, чем наше, вряд ли он дотянул бы столь неторопливо и безбедно от счастливого детства до счастливой старости).

- Григорьсеменыч, ну, как же так? - сказал Агабабин, - опаздываете. Да еще явились без тренировочного костюма. Губите, друг мой, все мероприятие и прежде всего - себя. Пристраивайтесь скорей за Фаней Никитишной. Так. Все расслабились, дышим носом, носом... Раз - два - три... Раз - два - три... Двинулись!

Они пробежали мимо подстанции, и Временский услышал писк Темучина:

- У этого сволочизма, который командует, у него здоровье, говорят, просто замечательное. Ему, наверное, уже девяносто лет...

Временский усмехнулся. Нет, конечно, Агабабину было чуть больше восьмидесяти, но он был так поглощен всей этой механикой здоровья, что, вероятно, и чувствовал себя с каждым годом все лучше. Вот уж кто выполняет бессмертный завет Маяковского: «Лет до ста расти»... и так далее. Ах, обманщик Маяковский, так изменить всем своим лозунгам, бросить нас в самый напряженный момент борьбы...

Бегущие старики представляли собой малоспортивное зрелище. Тела их мотались в тренировочных костюмах и казались еще более деформированными, чем в костюмах обычных. Даже жесткая старуха Фаня Никитична, которая, по прогнозам Временского, должна была пережить и дом, и ЖЭК, выглядела уже вполне дряхло в кроссовках «адидас» и в брюках. Временский и сам чувствовал себя преме́рзко. Он задыхался, он потел, ноги у него подгибались на

бегу. Но отчего он должен все-таки бегать, если ему не бежится? Ему ведь уже и ложится не так часто. А уж спится... Когда ему спится?

Временский отметил, что не только полнеющие пенсионеры выглядят неэстетично. Усыхающий с каждым днем театральный администратор из шестой квартиры представлял собой не менее грустное зрелище. Его возраст выдавала черепашья шея в бесчисленных складках: этот вертячий орган человеческого тела начинал предательски стареть еще в ту пору, когда даже ноги и грудь выглядели прилично. Отчего он не напаялит какую-нибудь водолазку, чтоб скрыть шею, наш усыхающий деятель театра? Или пижонский шарфик?..

Гениальная идея пришла вдруг в голову Временскому, замыкавшему дряхлую колонну: он спрячется за угол дома, не спеша вернется к подстанции, а когда Группа Здоровья завершит круг, он пристроится к ней в хвост. Конечно, старуха Никитична может заметить, тогда она непременно донесет. А он скажет, что у него что-нибудь схватило (например, печень), а? Причина более чем уважительная...

Старуха Цыплер не заметила, впрочем, ни когда он исчез, ни когда он снова пристроился к тяжело дышащей колонне. Видно, старухе было не до него.

- Машем руками! - бодро скомандовал полковник. - Раз-два-три! Раз-два-три! Присели! Согнулись! Раз-два-три! А теперь все домой! Под душ! Ну, как? Ведь, правда, легче сегодня было?

Самые неискренние хотели было сказать, что сегодня намного легче, но даже они не справились с дыханием настолько, чтоб разговаривать. На этом сопящем фоне Временский выглядел просто молодцом. В лифте полковник Агабабин взял его за пуговку кобвойки и попросил.

- Не зайдете ли ко мне на часок сегодня, а, Григорьсеменыч? У меня к вам дело, надо посоветоваться и вообще... Чем вы заняты вечером?

Вопрос был праздный. Чем они все были заняты по вечерам? Ожиданием ночи. Потом ожиданием утра. Убивали его, как могли, быстротекущее время...

Временский еще не бывал у полковника. Хотя он догадывался, о чем может зайти речь во время визита (написал, небось, полковник воспоминания о героической работе врачей и медсестер, что-нибудь в этом роде), все же визит этот мог оказаться не худшим средством убить время.

- Зайду, Тимур Захарович, - пообещал он.
- Только не ужинайте, - предупредил полковник.
- Нет, нет, - сказал Временский. - Ужин, как обычно: отдам врагу.

Он, конечно, не полез под душ. Он даже закусил слегка, нарушив все заповеди истинного Здоровья и твердо намереваясь нарушить их еще раз у полковника. Потом он повалился немного на диване, ворочаясь с боку на бок и тщетно выбирая позу, при которой меньше ныли бы кости. Выждав час с небольшим, он стал собираться к полковнику. Ковбойку он менять не стал, зато сменил домашние туфли на кеды. В конце концов, он ведь шел в гости к главному спортсмену домоуправления и мог позволить себе некоторую спортивно-тренировочную небрежность. Сейчас они сядут, поговорят, как спортсмен со спортсменом (скорей всего, о славном боевом пути, пройденном энской медсанчастью, о том, что молодежь забывает традиции, и о том, что при Сталине все-таки был порядок), потом полковник примется за вечерние оздоровительные процедуры, а он, Временский, попробует себя усыпить при помощи очередного прочтения бессмертного труда товарища Ким Ир Сена «О чучхе в нашей революции» (после многолетнего экспериментирования Временский пришел к выводу, что товарищ Ким Ир Сен - да будут позолочены все его статуи! - достиг наивысшего среди всех отечественных и зарубежных авторов снотворного эффекта).

Поднявшись на десятый этаж при помощи лифта (еще один шанс укрепить сердце был им упущен!), Временский впервые позвонил у дверей полковника Агабабина. Нельзя сказать, что он волновался при этом, как девушка, приходящая на первое свидание: его уже редко ждали теперь сюрпризы. И надо сказать, что первое впечатление от Агабабинской квартиры не обмануло его ожиданий. Здесь было стерильно чисто, одиноко и неудобно. Царила казарменная аккуратность, на стенах висели фотографии и карта Советского Союза, на книжных полках - какой-то случайный набор (подобно остаткам книг в разграбленных библиотеках турбаз или санаториев). Ким Ир Сена здесь, правда, не было, но зато были разрозненные тома товарищей Мао Цзэ-дуна и Чаушеску, избранные речи Щербакова, Хрущева, Пономарева, Елишева, Микояна и других товарищей.

Вопреки ожиданиям, товарищеский ужин происходил не на кухне, а в уголке гостиной, под торшером и портретом покойной

жены полковника. Портрет был невыразительный, однако он все же мог свидетельствовать о том, что все женщины были когда-нибудь молоды.

Полковник нарезал для Временского селедочки, сала, подозрительной микояновской колбасы и не менее подозрительного финского сервелата, выложил из железной коробочки губительные шпроты и югославскую слабонаатуральную ветчину, а также налил в рюмку гостя густовишневого целлюлозно-бумажного финского ликера с изображением ледяных торосов и северного сияния (вероятно, чтоб ни у кого не возникло мысли о том, что в Финляндии вызревает виноград). Посреди стола стояли крупнонарезанная сырая капуста и морковь. Полковник был сыроедом, однако он не навязывал гостю свои вкусы, и это было приятной неожиданностью.

- Я-то сам за капустку, остальное все вам, - щедро сказал полковник.

Временский выпивал редко, однако густые и сладкие ликеры сомнительного происхождения он просто обожал. Он хмелел мгновенно, по прошествии часа ему становилось худо, но он умел забывать даже о близком будущем. Так что он со вкусом выпил сейчас ликеру и навалился на синтетическую закуску, лишь очень бегло и отстраненно подумав о предстоящей ему мучительной ночи.

За ужином они говорили о предметах нейтральных - об усилении терроризма за границей, о переменчивости погоды, о поступе электронных наук и незабываемом коварстве молодого грузинского вина «маджари», об исчезновении из продажи кофе (ну, и бог с ним, ничего, кроме вреда, от него), о новых замечательных течениях нашей жизни, без труда отмечаемых любым читателем газет (Временскому, не читавшему газет и не заводившему телевизора, течения эти были куда менее заметны)...

Потом полковник убрал закуску, поставил рядом с ликером еще и минеральную воду, спросил, уж не курит ли, чего доброго, Временский, получив отрицательный ответ, одобрительно кивнул и заговорил о деле.

- Вы, наверное, догадываетесь, Григорьсеменыч, о каком деле я хотел с вами посоветоваться?

- Более или менее, - скромно согласился Временский.

- Да, да... Вы угадали... Я пишу воспоминания. Так сказать, мемуары. Большая прожитая жизнь, много...

Полковник вдруг замолчал, словно он не находил слов, которые могли бы послужить введением к его мемуарам.

Внимательно переваривая пищу и чувствуя, что шпроты в железном масле первыми отзовутся сегодня в ночи, благодарный Временский попытался придти на помощь полковнику:

- Славный боевой путь, друзья-однополчане, старые товарищи, которых уже нет, самоотверженный труд врачей в тяжелых при-фронтовых...

- Нет, не совсем., - сказал полковник. - Верней, не только. Это еще... о любви. Точнее даже сказать... о женщинах.

- Да уж кому-кому, а нашим женщинам... - привычно забубнил Временский.

- Нет. Даже и не это... - смутился полковник, - у меня женщины... как женщины... Женщины, которые мне нравились. Я не боюсь этого слова - физически. Они вызывали желание... Я уверен, что все это останется между нами...

- Без сомнения.

- Так вот, - сказал полковник, - это о женщинах, которые меня волновали... Да, да... Вы удивитесь, но мне захотелось все это пережить снова... Снова прожить эту жизнь...

- Чему ж удивляться, - сказал и на самом деле немало удивленный Временский. - Это ведь сплошь и рядом в литературе...

- Вы хотите сказать, что уже есть подобные мемуары? - в свою очередь удивился полковник. - Так что это не является, как бы сказать... - перверсией?

- Нет, нет и нет, - заверил Временский. - Тем более, что перверсия - термин, скорее, медицинский, да и то весьма спорный и ветхий, а в литературе... Да вот, возьмем наугад такой знаменитый и почтенный образец литературы, как мемуары Казановы...

- Даниэль Казанова? - удивился полковник.

- Нет, нет, - Джакомо Казанова, венецианский авантюрист и женолюб...

- Ну да... У них... - полковник сник. - Но вы понимаете, конечно, что я не был каким-то там искателем приключений. Вся моя жизнь - долгая служба в армии. Я был комиссаром. Потом успешное окончание военно-фельдшерской школы, оргработа, повышение, рост, оргвыводы и снова падение - долгий, долгий и честный путь. Я был всегда на переднем крае...

- Не сомневаюсь в этом, - кивнул Временский.

- У меня бывали сомнения. В тридцать седьмом, - голос полковника вдруг упал до интимного шепота, - я не простил тем, кто погубил Берту Бебрис...

- Коминтерновка, - понимающе кивнул Временский.

- Нет, просто активистка. Она заведовала культкабинетом при московском парке культуры и отдыха. Она была предана, да, до последней капли... Какая женщина! Еврейская женщина...

- Что вы говорите? - проговорил Временский, с любопытством глядя на полковника.

Позднее, углубившись в мемуары полковника, чтение которых он начал (и вскоре кончил) тут же, в уютном кресле под торшером, в искусительном соседстве древесноопиленного ликера, Временский осознал, что сочетание «еврейская женщина» для полковника означало то же самое, что для очерстневшего современного читателя означает слово «секс-бомба». Еврейские женщины представлялись ему верхом соблазна, все в них волновало старого воина: и пушок над верхней губой, и волосатые ноги, и блестящие черные глаза, и неряшливость, и болтливость, и плоский зад, и нежность, и внезапная жестокость, и газетная начитанность, и светскость, и желание отречься от старого мира, шагая в ногу с современностью, и горестное предвкушение того, что современность на очередном этапе современного положения заметит, наконец, что они как раз - вот они, - и тогда - вай, не расхлебать горя... Набор этих вполне вероятных, хотя и сугубо необязательных черт еврейских женщин волновал полковника безмерно, но, увы, выразить это в своих мемуарах так, как выразил бы какой-нибудь Набоков или даже Платонов, полковник Агабабин, конечно, не мог (а вы смогли бы?). Полковник был сын своего времени, он всю жизнь читал газеты и журналы обязательной подписки, а для души - поздний, уже вполне софროновский, «Огонек». Это чтение и сформировало его стиль, стиль хоть и не сержантски-канцелярский, но вполне канцелярско-полковничий. Впрочем, продираясь сквозь дебри этого стиля, Временский набредал вдруг на сценки, которые ему хотелось запомнить, вырвать и унести с собой (ибо он все еще не потерял надежды написать «произведение», книгу, которая оправдает его многолетнее духовное дармоедство и скучное пенсионерское прозябание), хотелось впитать, изваять в памяти, причем именно в этом вот, полковничьем оформлении, потому что именно в этом оформлении они, эти кусочки, казались ему законченным произведением не только полковничьей (в конце концов, «полк-арт» это огромный и весьма влиятельный раздел современной русской прозы, каким же еще стилем пишут все эти Ананьевы, Ивановы, Березко, Прохановы?), но и просто человеческой литературы.

«Я вхожу в комнату, снимаю фуражку и вижу, что она лежит на двухспальной койке, еврейская женщина Софа, совершенно голая, без всякой нижней одежды. Она сказала мне: „Тима, иди же сюда, Тима“. Но ведь я коммунист».

- Маленькие шедевры, - с завистью думал Временский. - Переписать бы. Вставить бы...

Словно провидя его мысль, полковник сказал:

- Прочитаете сегодня здесь, скажете свое мнение, и все останется между нами...

- По-моему, это прекрасно! - искренне сказал Временский. - И еще... я не знаю даже, согласитесь ли вы со мной, именно это выполняет заветы большой литературы...

- Как вы понимаете, я хотел вовсе не этого... - сказал полковник, страстно желая быть правильно понятым. У него и в мыслях не было никаких литературных амбиций.

- Я понял, - сказал Временский, - вы просто хотели все пережить снова... Точно, как Казанова... Да, да, - бормотал он. - И эта сцена...

Сцена знакомства полковника с его первой женой. Она была купеческой дочкой из еще не экспроприированного уральского села. Полковник был в свои семнадцать боевым комиссаром, в кожанке, «на коню». Он въехал в село, увидел ее у ворот, втянул к себе на седло, увез. Он так и женился на ней «на коню». Брак не был удачным. Она не была приспособлена к переменам быстротекущей жизни, не читала газет и скоро утратила для него привлекательность. Вернее, он открыл в это время свой секс-тип, своих желанных. Их было много тогда, подруг по губкому, ревкому, по наркомпросу, и одна из них, на беду его, жесткая, как сам ВЧК, забрала его от купеческой дочки, женила, повела за собой по правильному пути, но довести никуда не смогла, ибо на пути ему попадались другие, еще более соблазнительные, с пушком над губой, начитанные и нежные, с волосатыми ногами, в сбитой набок юбке, что делало форму зада вообще несущественной...

«Еврейская женщина Циля, библиотекарь... Она положила на стол подшивку «Красной звезды» и сказала мне: „Тима“. И погладила мои волосы... Она сказала потом: „Я люблю твои русые, шелковистые...“»

- Я был блондин! - сказал вдруг полковник, ревниво наблюдавший за читающим Временским. И безутешно погладил свою лысую голову.

- Песнь песней! - сказал Временский. - Песнь песней!

Из дальнейших, весьма смутных описаний полковника можно было все же уразуметь, что вторая жена расправилась с мягкой Цилей как с врагом народа, обвинив ее в хранении скомпрометированных авторов. Очередная драма не охладила любящее сердце полковника. На фронте в санчасти у него было сразу шесть нежных и удивительных, интеллигентных, страдающих, любящих (конечно, еврейских) женщин-врачей. Они переносили вместе с ним все лишения и стирали свои забрызганные кровью халаты, вместе с ним радовались победам, и однажды, когда все вдруг в едином душевном порыве сдвинули стаканы со спиртным, отмечая нашу победу под Орлом или Курском («Слева сидела фармацевт Женя Школьник, дальше Рита Лейбович, замечательный хирург, которая своими руками и так далее... А напротив меня, как сейчас помню и вижу, - Леночка, Лена Шапиро...») - в этот трогательный момент дверь землянки широко распахнулась и вошла занесенная снегом вторая жена - она выбила для себя, вырвала зубами в штабе фронта назначение - сюда, к нему, в санчасть, и не кем-нибудь - комиссаром... Он боролся, как лев, за своих женщин, за врачей высокой квалификации - эта борьба стоила ему понижения в чине (ну, а врачихам его стоила намного дороже)... Жизнь шла, и вторая жена умерла совсем, впрочем, недавно, пережив всех своих соперниц... И вот остался ему блокнот с тиснением на обложке «Участнику сорок шестого армейского совещания...»

Временский дочитал до конца и сказал:

- Вы должны продолжать. Это здорово. Просто здорово. И не надо про битвы и операции. Что же касается издания...

- Ну, - скромно отмахнулся полковник. - Зачем это...

- Надо писать, - сказал Временский, - какой смысл писать то, что всем известно? А это...

* * *

Дети предавались сегодня самому мирному из занятий - они торговали. За прилавком, сооруженным из доски и двух мусорных ящиков, с достоинством восседал Пантелей, и торговое ремесло ему было к лицу: его круглая физиономия сияла довольством и важностью, красивые губы кривились в снисходительной усмешке. Он предлагал сладкий напиток в банке из-под яблочного повидла. Рецепт приготовления освежающего напитка был прост: Пантелей наливал в банку воду из чайника, бросал в нее десять кусков сахара

и долго мешал в банке ученической ручкой.

- Не густо будет? - спросил Временский озабоченно. - Все-таки «белая смерть».

- Чем больше сахару, тем вкусней, - сказал Пантелей. - Своим я по двенадцать кладу. Только растворяется, сука, медленно...

- А где сахар взял? - полюбопытствовал Временский.

- Старуха потеряла, страшная, из этих... - сказал Пантелей.

- Фаня Никитична, - уточнил Темучин.

- Что ж вы ей не вернули? - занудно спросил Временский, некогда писавший на морально-этические темы.

- Ей же вредно, - сказал Андрюша. - Белая смерть.

- Да, - подтвердил Темучин, - это был бы нетимуровский поступок.

В сущности Временскому было глубоко наплевать на старуху Цыплер. Старуха жила где-то в своей боевитой юности то ли двадцатых, то ли тридцатых годов. Она вынесла оттуда убежденность (отчего-то не поколебленную горьким опытом последующего столетия), что именно она должна возвестить миру самые ценные и самые свежие («современные») истины. Однажды она с изумлением сказала Временскому, что ее соседи-баптисты внешне производят очень культурное и даже гигиеничное (в ее устах это была высшая похвала) впечатление.

- Но ведь всему миру известно, - добавила она, - что эти религиозные фанатики жгут детей... Поверьте мне, я жила в местечке, и я помню, что эти иудаисты...

- Сионисты без прикрас, - поправил Временский.

- Кажется, тогда они еще назывались иудаисты - ребе, синагога и все прочее... - неуверенно защищалась она. - Во всяком случае, это были очень темные и несовременные люди.

В тот день Временский посвятил свое «писательское» бдение размышлению о том, что такое «современный» человек Фани Никитичны Цыплер. Конечно, он должен быть в «курсе» и всегда поддерживать курс, он должен выпускать стенгазету, подписываться на заем, получать высшее образование, он должен соблюдать гигиену, блюсти законность и при этом не быть оборванцем... Временский с ужасом подумал о том, что было бы, если бы сбылась светлая мечта Ф. Цыплер... Ну, ну, зачем пугать себя на ночь, она-таки тоже совсем не сбылась...

- Эй, ты, полней наливай, чего жулишь? - возмутился Андрюша.

- Ты бы сам и торговал, - сказал Пантелей обиженно, - все

евреи торгуют.

- А я русский, - сказал Андрюша.

- Интересное дело, - сказал Пантелей, обращаясь к сволочищу Временскому. - Отец еврей, мать еврей, а сам русский.

- Я тоже русский, - сказал Темучин. - Только у меня папа татарин.

- Поэтому такое красивое имя, да? - спросила Мика, глядя на него влюбленно.

- А ты знаешь, кто такой Темучин? - спросил белобрысый воин, зверски сузив глаза. - Это Чингиз-хан был Темучин. Он всех русских раком поставил, понял? Так мой отец говорит.

- Русских никто никогда не победил, - с достоинством сказал Пантелей.

- Да, - согласился Темучин, - поэтому я русский. Но Темучин двести лет всех раком ставил. Значит, я и русский, и Темучин.

- Если ты имеешь в виду монгольское иго, то двести пятьдесят, - уточнил Андрюша. - Но отчего же ты мне не даешь торговать, а? Пантелей? Вот дать бы тебе в нос...

«Национальная интеллигенция, - опечаленно думал Временский. - Хорошо они детей своих накручивают...»

- И чем же папа твой промышляет? - спросил он у Пантелея.

- Папа разоблачает мировой заговор евреев, - гордо сказал Пантелей.

- Он что, разведчик, что ли? - спросила Мика.

- Ты что? Он критик литературы. Доктор наук.

По-женски чувствительная Мика вспыхнула вдруг и сказала:

- Ну и пусть, ну и пусть... А у меня бабушка армянка, ее тоже Микаэла зовут, как меня. А папа у меня в цирке играет на трубе. Его все звери любят. Когда все играют, слон не кланяется, а когда мой папа начинает играть, слон сразу кланяется. Ясно тебе?

- Между прочим, евреи слона замучили, - сказал Пантелей. - Это и моя бабушка с маминой стороны признает, ей уж лучше знать - она еврейка...

Временский не сразу понял, что произошло. Он увидел только перевернутый стол, рассыпанный по асфальту сахар... Пантелей теперь хныкал, а Темучин оттаскивал Андрюшу...

Временский принял участие в установлении мира и, желая отвлечь их от решения национального вопроса, так счастливо разрешенного уже на заре века одним замечательным грузином, сказал:

- А мой вот предок назывался Бременский. Вы бременских

музыкантов помните? Так вот мой предок был из них. Угадайте, какой.

- Юноша?

- Петух?

- Нет, - скромно сказал Временский, - мой предок был осел. Вы что, не помните, как он поет?

И тут они запели все вместе песню бременских музыкантов на бессмертную музыку Г. Гладкова. И при этом они особенно старательно выпевали партию осла. И за все время исполнения этой замечательной песни никто ни разу не напомнил Временскому, что он вовсе никакой не музыкант, и не ребенок, и даже не еврей, а нормальный сволочизм (сволочизму, которому все равно скоро помирать, ему все равно, кем быть). Ах, какие это все же были приятные минуты!..

* * *

Целый вечер Временский просидел за машинкой. С тех пор, как он ушел на пенсию и перестал быть журналистом, он с неизбежностью стал писателем. Написать ему, впрочем, пока еще ничего не удалось. Сюжеты расползались при первом же к ним прикосновении, образы успевали наскучить ему вскоре после их сотворения, прославленная «работа над языком» попросту удручала. И все же первые, предшествующие таинственному «созиданию» моменты, когда он сидел над заправленным в каретку чистым листом бумаги, ему, надо признать, нравились. Пока ты не начал, ты ничего еще не испортил неловким прикосновением слова к ускользающей поверхности мысли, не отрезал пути к отступлению, к разветвлению сюжетного ствола: у тебя еще все впереди и возможности твои неограниченны. Ты можешь без труда переделать еще не рожденную повесть в драму, сценарий или даже... «Или даже в эссе», - подумалось ему вдруг. Отчего бы не написать эссе о полковничьей прозе. Откуда она взялась, как родилась на свет? Каким образом удастся ей столь настойчиво и планомерно формировать эстетические наклонности массы, что самое существование этой прозы становится всенародной потребностью. Да уж и трехмиллионных тиражей «Роман-газеты» не хватает, чтоб удовлетворить растущий спрос на полковничью прозу. И то правда, что литературные полковники не изучают спрос, они заняты другим: издают сослуживцев по штаб-квартирам, старших по званию. Но вкус-то они все-таки формируют, а вкус, в свою

очередь, порождает спрос...

Литературный опус полковника Агабабина по временам вырывался из русла полковничьей прозы: там были яркие образы, душевраздирающие сцены, был роковой секс-тип, совлекавший военачальника с правильного пути. Но если исключить все эти аномалии, стиль полковника был вполне привычен и узнаваем.

Временскому показалось заманчивым хоть приблизительно обозначить основные приемы этого стиля. Он стал одну за другой снимать с нижней полузабытой полки бог весть кем и когда занесенные к нему в дом кирпичи новейшего худлита.

По мере знакомства с ними он убеждался, что полковничья проза не только широко и добротнo осветила события гражданской и прочих войн, взаимоотношения между родами войск, между политотделом и другими отделами войсковых соединений, не только дала высокие образцы батальонного мастерства («в тот самый день, когда наши войска перешли под Москвой в контрнаступление, - под грохот разрывов он вывел роту на волжский лед и сходу, не останавливаясь, не залегая, ворвался в засугробленную и отовсюду дышавшую огнем деревушку, название которой уже выветрилось из памяти...») огромной изобразительной силы («все это прояснялось, разворачивалось и наполнялось звуками плача, объятий и наставлений, которые, раз услышав, никому и никогда не дано забыть, и наполнялось, главное, в душе неповторимым, казалось тогда, чувством расставания и утраты, которое было созвучно ему теперь»), но и перешла к освещению мирной жизни, проникая в самые потаенные ее уголки, берясь за самые тонкие материи, такие, как художественное творчество, например, не говоря уже о проблемах сельского хозяйства, индустрии и идейного воспитания народов.

Но, конечно, сильнее всего полковничья проза была в освещении насущных хозяйственных задач, о которых она писала со всей неизощренностью таланта и красочной метафоричностью речи:

«Слушая доклад Артема, брат понял, что их вчерашний разговор не пропал даром. Артем внес в доклад некоторые весьма удачные дополнения. Одобрительное оживление в зале вызвал доклад о льноводстве Легове, о рассуждениях старика относительно коммунистического общества. Очень едко высмеял Артем отдельных руководителей областных учреждений... Особенно досталось от Артема управляющему областной конторой, ведающей сбором металлического лома, без которого металлургические заводы страны испытывают крайне большие трудности».

Временский перевернул книжку и посмотрел на тираж - опять 200 тысяч. Да, это все были мастера - Бондарев, Ананьев, Марков, Анатолий Иванов, Проскурин... Другим не давалась эта замечательная легкость речи («Пекарев отдавал себе отчет в том, что он не ровня человеку, лично знавшему Ленина, ездившему, говорили, к Сталину, человеку высокой внутренней культуры и скромности, подчас даже угнетавшей окружающих, умевшему на равных общаться и с французскими писателями-коммунистами, поговорить на их родном языке, чему Пекарев в прошлом году был сам свидетель»). У других, конечно, была некая натужность, как бы передежность стиля. Она, впрочем, была общей для полковничьей прозы при ее обращении к простым переживаниям, вроде любовных или семейных. И все же классики полковничьей прозы были молодцы. Они были любимцы своего народа. Их достижения были одной из причин, по которой Временскому никогда не хотелось двинуться дальше предварительного сидения перед чистым листом, направленным в машинку...

* * *

На предмет получения продуктовых заказов Временский был прикреплен к магазину «Диета». Магазин находился в значительном отдалении от его дома, да и набор продуктов в заказе мало радовал его вкус и глаз. Большой интерес представляла для него вольная охота за съестными припасами в просторном близлежащем «Универсаме», на километровые полки которого время от времени выбрасывали странные и соблазнительные продукты. То забытую репу-турнепс, то странные вьетнамские консервы, то пакеты зеленоватых ледышек, завезенных из Народной Польши (при умелом приготовлении они начинали вдруг пахнуть цветной капустой), то пряники или сушки, то сгущенное несладкое молоко, которое избавляло его от охоты за молоком несгущенным...

По рассказам осведомленной Фани Никитичны, столичные газеты предсказывали на близкое будущее угар НЭПа и связанное с этим угаром изобилие продуктов. Если верить Фане Никитичне, терпеть оставалось еще недолго, вероятно, до ближайшей весны. Временский не верил ни Фане Никитичне, ни ее источникам информации. Он стыдился своего неверия, восхищался неистребимым Фаниным энтузиазмом и все же не верил. Честно говоря, даже самый механизм функционирования Фаниного оптимизма оставался для

него неясным. Старуха превосходила его годами этак лет на пятнадцать, всю жизнь штудировала прессу и должна была помнить хотя бы реорганизацию МТС в РТС, вдохновляющие опыты Лысенко, многообещающие торфоперегнойные горшочки, душеспасительную кукурузу, возникновение Совнархозов, лесополосы, ликвидацию сельскохозяйственных райкомов, освоение Нечерноземья, комплексные бригады и множество других разумных мероприятий, суливших торговой сети забытое изобилие «еще тех», довоенных времен. Но гражданка Цыплер честно забыла про эти глупости и с новой силой верила в бригадный подряд и всепоглощающую гласность.

- Подгядный бгигад, пгиписька... - с надеждой говорила она, перевирая все звуки на свете, и унылый Временский не мог не восхищаться ее оптимизмом. Сам он по-прежнему верил в одну лишь удачу одинокого охотника за припасами и повсюду носил за собой старенькую авоську и целлофановый пакет с надписью «ВСХНИЛЕС». Он грезил, что однажды придет в «Универсам» и увидит, как с черного хода вносят банки со сладкой сгущенкой, такой, как в войну. Будут давать только по десять банок, но он встанет два раза... А может, выбросят вдруг клюкву в сахаре...

Войдя в «Универсам» и окинув его огромное пространство опытным взглядом, он понял, что сегодня ничего заслуживающего внимания не дают. И все же был кефир (он стал горьковат, конечно, но надо привыкать). Еще были сушки с маком. Иностранцы сказали ему однажды, что эти замечательные изделия с дыркой существуют только в его стране, и этот факт (наряду с неистребимой женственностью русских женщин) помогал Временскому поддерживать в себе чувство национальной гордости великоросса.

Временский решил для начала испытать сушки на твердость, поломав одну из них через целлофановый пакет.

- Поддаются? - спросила женщина, стоявшая впереди него.

Она спросила, не поворачиваясь, ей видна была только его напряженная рука, тщетно ломающая сушку. Мелодия ее голоса показалась ему смутно и волнующе знакомой. Этот странный надлом в начале слова, общая обреченность тона (точно она раз и навсегда знает - что бы ни случилось, все к худшему). И еще это задорное сдвоенное «ц» в «поддаюцца».

Он взял пакет и стал обходить женщину, улавливая что-то бесконечно знакомое в изгибе ее спины и шеи. Зайдя с другого бока, он вскрикнул:

– Марина!

Она повернулась и, не выказывая никаких чувств, даже удивления, сказала с прежней обреченностью:

– А, это ты, Гришенька!

Он пытался урезонить себя, думая о том, что она, наверное, права в своей извечной, универсальной обреченности: ну и что же, что Марина, ну и что такого, что встретились?.. Попытки его оказались бесплодны: сердце вело себя с большой самостоятельностью, испугавшей его и взволновавшей. Оба они произносили малоосмысленные, чисто ритуальные слова, объясняя, где живут, как живут, и он с удивлением отмечал свое все нарастающее волнение. Потом он подумал, что в волнении его, может быть, нет ничего удивительного, если учесть, как давно они с ней не виделись и как много у них было общего в прошлом, даже и не просто общего, но еще и хорошего... С другой стороны, он так давно уже не волновался ни по каким персональным поводам...

– Это неподалеку, – сказала она, – на улице маршала Колгунова...

– Отчего же мы никогда... Я искал тебя в телефонной книге, через справочную и никогда...

Произнося все эти, хотя и не вовсе бессмысленные, однако не требующие участия мысли, фразы, он думал о том, что она все же изменилась, конечно, за те двенадцать лет, что они не виделись, сильно изменилась, и возраст уже и все такое (разница в возрасте оставалась у них, впрочем, прежней – четырнадцать лет), и все же она, наверное, тот самый человек, та самая женщина, к которой он был так сильно привязан (и, вероятно, не только физически). И в ее манере говорить, и в повороте головы, и даже, возможно, в ее к нему отношении должно было оставаться нечто из того многого, что соединило их когда-то, а потом столько раз сводило снова и снова... Его Марина...

Временский заметил, что они уже довольно долго стоят возле сахарно-пряничного километра «Универсама» и при этом еще ни о чем существенном не спросили друг друга, ничего друг другу не сказали. Испугавшись, что им, быть может, и нечего больше друг другу сказать, он стал заверять ее, что им непременно нужно встретиться и как можно скорее, поговорить обо всем (столько лет, столько зим, а сколько воды утекло!). Он записал для нее на листке блокнота свой телефон, а она сказала просто:

– Запиши мой тоже. Звони, когда хочешь, я одна...

Она ушла, не взяв сушики и беспрепятственно миновав очередь у

кассы, а он стоял все на том же месте, повторяя про себя ее последнюю фразу и думая о том, как взволновала бы его даже десять-пятнадцать лет тому назад подобная фраза (не встреча даже, а фраза)...

Эти размышления преследовали Временского весь долгий вечер. Впрочем, он был занят и делом. В поисках произведений, написанных чистой полковничьей прозой, он перебрал всю свою библиотеку - книги, уцелевшие от раздела с первой женой и от бегства второй, его книги (кому они останутся, боже, какая тщета и зачем он их отстоял?).

Потом он «разбирал архив» - так у него называлось это раскладывание мусорного пасьянса из черновиков, пожелтевших корректур, всех этих «вкусных кусочков» из «Лесной нови», писем благодарных читателей и даже его редких публикаций в «Литгазете»... Не то, чтоб он хотел охватить на старости всю огромность своего жизненного труда (принесшего столь ничтожную пенсию, мизерный опыт и ноль признания), нет, просто осталась эта привычка к перебиранию бумаг, это бумажное занятие, с которым и ассоциировалось слово «работа». «Работай, друг, работай... - напевал Временский. - Не убирайте ладони от лба...»

* * *

Бывали дежурства, когда поток пенсионеров не иссякал. Не то, чтобы эти люди надеялись получить в Комнате Здоровья магический совет - вряд ли они питали на этот счет какие-нибудь иллюзии. Просто они могли здесь досыта наговориться о своем здоровье, а перегруженные работой районные врачи не могли позволить им этой роскоши. И что еще существенней, они могли поговорить о себе. Уход на пенсию принес всем этим людям невосполнимое падение престижа. Всего лишь год-два (пять) назад человек был где-то кем-то, от кого что-то зависело и с кем нельзя было вовсе уж не считаться, и вдруг... Жильцы дома № 3 тоже были кем-то еще совсем недавно: один то ли завоём чего-то, то ли главным бухгалтером, другой администратором, третий, сидя за столом, учил других, как им жить и трудиться. И вот все эти люди остались без подчиненных, без власти, без аудитории, даже без свидетелей былого их авторитета. Неутолимая жажда признания и самовыражения мучила их теперь. Некоторые носили в кармане свои старые пропуска и удостоверения, предпочитали их безликим и слишком

демократичным паспортам, в которых ничто, кроме национальности (хоть это еще осталось), не могло выделить человека, провести черту между ним и остальными, прочими...

Отбывая дежурство, Временский целый день выслушивал истории из жизни театра, банно-прачечного треста, Совета министров, воинской части или вытрезвителя. При этом он размышлял над странным термином - абсурд. Театр абсурда. Литература абсурда. Если реалистическая передача всех этих прослушанных им сегодня рассказов не будет образчиком абсурда, то что же тогда такое абсурд?

Театральный администратор целый час рассказывал о склоке двух идиотов по поводу идиотской фразы из суперидиотской пьесы (в склоку вмешались в ту пору два управления, оба они вели переписку, которую администратор пересказал самым подробным образом). Оказалось, впрочем, что оба идиота умерли уже много лет назад, пьесу эту никогда и нигде не ставили, а самое главное - он забыл вообще, к чему он затеял этот часовой рассказ... Майор Павленко интимно сообщил, что в Болгарии его познакомили с замечательным (Талантище! Гигант!) скульптором, который вылепил герб Народной Республики «от такой величины, як наш дом...»

К началу вечернего мероприятия подвал катастрофически опустел. Предстояла беседа полковника Агабабина «Советы сыроеда». Похоже было, что страдающие духовной жаждой пенсионеры недооценивают и сыроедение, и советы полковника. Осталась одна Фаня Никитична Цыплер. Может быть, ей просто не хотелось идти домой и общаться с невесткой. Появившись, старуха выпустила в дежурного свой неослабевающий заряд оптимизма:

- Вы слышали, товарищ Временский, скоро можно будет свободно выезжать за границу. Так что дураки смогут ездить в свой Израиль и обратно, сколько они только захочут. Об этом пишут уже «Известия» и другие заинтересованные газеты.

Потом активистка затихла в своем углу и, вероятно, даже не заметила появления полковника Агабабина. Полковник, впрочем, тоже не обратил на нее никакого внимания.

- Пока народ соберется, - сказал он Временскому, - мы могли бы составить отчетик по итогам работы. Вам как литератору...

Временский не спорил. Он взял большой лист бумаги-миллиметровки, личный вклад полковника в их общественную канцелярию, и приступил к выполнению боевого задания.

- Так, - сказал полковник. - Пишите. Графа - по линии дыхания.

Пишите: двенадцать и пять. По линии питания - два и три десятых. По линии спорта... По линии идейности и психотерапии...

- Все понятно, кроме идейности и психотерапии, - сказал Временский.

- Это очень важная сфера нашей работы, - сказал полковник. - Упадок сил и наступление болезней особенно наглядны там, где запущена идейная работа и забыты старые идеалы. Неважно какие. Если ты сталинист, будь таковым, отзовист - будь отзовистом, даже, если угодно, морганистом, но ничто так не травмирует пожилого человека, как разочарование в идеалах и ревизионизм. Поэтому для сохранения здоровья очень важно укоренение в старых идеалах и даже, если угодно, предрассудках. Вы, наверное, заметили, что перед каждым заседанием у нас исполняются старые песни, даже, по возможности, со старыми текстами, например, гимн...

- Это гениально, - сказал Временский. - Так что у нас по итогам года?

- Умерло жильцов трое, - сказал полковник раздумчиво. - Но вот как тут будем показывать итоги работы? Дайте мне фамилии усопших... Ага! Вот что характерно! - воскликнул он. - Из троих двое никогда не были членами Группы Здоровья и даже не пользовались нашей консультацией...

- Так и покажем, это характерно, - согласился Временский. - Из троих двое. Вам не пора ли начинать беседу?

- Публики нет, - сказал полковник. - Вы вот посоветуйте мне пока, что делать. Я продолжаю свои мемуары, но вторая жена (еще при своей жизни, конечно) обнаружила и буквально уничтожила весь мой фотоархив.

- Фотографии еврейских женщин?

- Да, да... Теперь у меня перед глазами... Но расплываются, понимаете?

- Вот... - прошептал Временский. - Фаня Никитична. Попросите у нее фотографии ее юности. Она ведь тоже была, наверное, активистка, товарищ Цыплер...

- Это идея, - сказал полковник. - А под каким соусом?

- Под соусом воспоминаний - о героических женщинах бурного времени... Кстати, она, вероятно, пришла на вашу беседу.

- Вы предполагаете?

- Можно у нее спросить.

- У вас есть ко мне вопросы по сыроедению, Фаня Никитична?

- вежливо, почти ласково спросил полковник.

- Да, я как раз кое-что хотела спросить... Во-первых, какой сыр всех полезнее? Во - вторых, где вы вообще достаете сыр?

- Видите ли, сыроедение...

Полковник извинился перед Временским и ушел в угол к старухе Цыплер. А Временский пошел домой, потому что в тот вечер ему обещала звонить Марина.

* * *

Уже две недели, как они вели долгие, осторожные переговоры по телефону. Временский утешал себя тем, что оба они боятся все испортить неосторожностью, то, что для них обоих было сейчас так важно. Внешне, казалось, ничто не мешает им встретиться: она была одна, почти все время, он был одинок, как перст. Он только улыбался, вспоминая, как им приходилось изыскивать место для встречи - и в пору его бездомности, и в пору его первого брака, и даже в пору второго. Теперь у каждого из них было по отдельной квартире, и им уже некого было опасаться. Марина никогда не была его женой, однако она пережила с ним обеих его жен, и он думал сейчас, что, может, она и была главной его любовью...

Да, она изменилась, конечно... У него было впечатление, что черты ее словно округлились, стерлись. Однако что-то осталось от прежнего. Голос, прежде всего. Временский ждал ее звонка и думал о ее голосе, о женском голосе вообще. Вероятно, это очень важная компонента женского соблазна - голос. Ее голос... Вообще, голоса женщин, которые волновали его... Все утро он вспоминал, где он их слышал и как. Ночью в районной гостиничке, мало приспособленной для сложностей любви - тот умоляющий голос... Девичий голос в брезентовой палатке неподалеку от берега... Голоса в общежитии текстилькомбината, где он ночевал во время командировок... У Лидочки Нерезовой нет своего голоса... Голос Марины... Ее голос...

Она пришла к нему в пятницу, и они долго выясняли за чаем, почему они все-таки не поженились, ни в первый, ни во второй раз. «Это была такая глупость», - убежденно повторяли оба. Каждый раз им мешала какая-нибудь глупость.

Мало-помалу они припомнили все детали этих глупостей. Деталей было много. То он убежал от нее в Крым с какой-то красоткой, то у нее начался роман с сослуживцем. В заключение им пришлось признать, что детали были существенные.

Она, кажется, могла бы таить на него обиду, но обиды у нее не

было; он даже не знал, чему это приписать - ее добродушную или ее равнодушную. Вот этому нынешнему ее недоверчивому равнодушной.

Ее разочарованность его тревожила - он убеждал ее и себя, что они еще полны чувств и энтузиазма. Полночь застала их в самом разгаре дискуссии.

Она взглянула на часы и хихикнула (боже, какой знакомый смешок):

- В это время я обычно ложусь.

- Ну, и ложись, кто тебе мешает? - сказал он. - Ты что, никогда не спала у меня?

- Можно раздеваться? - спросила она.

- Конечно. Можешь даже принять душ.

Она приняла душ, и они легли рядом...

Она была та самая и в то же время совсем другая. Он вспомнил, что каждый раз, когда она возвращалась к нему в прежние времена, она бывала другой. По существу, это всякий раз был роман с другой женщиной. Но с женщиной, с которой тебя связывает общее прошлое, общие воспоминания, у которой есть на тебя права и которая знает, чем тебя привлечь. Она и теперь еще сохранила - и эти права, и это знание. Но, конечно, она была уже не та - двенадцать лет для женщины в такую пору, и такие двенадцать лет...

Она рассказала, что ей пришлось тяжело работать, что у нее были долги, и до брака, и после брака. Он сочувственно гладил ее шелковистую пополневшую спину.

- Ну, а теперь? - спросил он.

- Полегче, - сказала она. - Однако жизнь есть жизнь. А ты что, ты хотел мне помочь из твоих ста двадцати?

- Ста тридцати, - сказал Временский. - Иногда я, впрочем, еще кое-что стряпаю. Редко, но мне хватает...

- У тебя хорошо, - кивнула она вежливо.

В нем проснулось желание, и она была с ним нежной и бережной - как в те далекие времена. Да, она все еще была хороша. Он усомнился в том, что он еще был хорош, но она его подбодрила и похвалила. Все же ему чудился в ней избыток вежливости и равнодушия...

Остаток ночи он провел, как обычно, - в прогулках по комнате, в случайном чтении. Под утро он уснул и проснулся, услышав перезвон посуды. Она прибрала у него на кухне и даже чисто вымыла раковину - в этом было уже что-то новое и лихо самоотверженное.

Позднее она ушла.

В тот вечер он отдыхал на любимой скамейке близ подстанции. Шевелиться ему не хотелось, однако он знал, что надо вставать, надо идти и звонить Марине. Может быть, он пойдет навестить ее. А может, она захочет зайти сама. Одно из двух...

Дети в тот вечер играли в теплоход. Темучин был капитаном, а Пантелей боцманом. Андрюша мечтал быть штурманом, но он был назначен старшим механиком. Мики в тот вечер не было, зато была какая-то хорошенькая Тата, утверждавшая, что она юнга. Пароход потонул в конце вечера, и дети разошлись по домам. Временский и не заметил, как их сменили подростки. Они были поглупей, потому что играть им ни во что не хотелось, говорить они ни о чем не могли, а только могли без конца задирать девушек, знакомиться с ними, ссориться, сговариваться, уходить, приходить... Шел неистовый кобеляж, кадрез или как там еще его называли сейчас. Слова, вероятно, были совсем другие. Временский услышал, что один из молодых людей «снял телку», и подумал, что это, наверное, оно самое.

Накал их страстей и желаний утомил его, и он вдруг понял, отчего им с Мариной пришлось так долго перезваниваться прежде, чем они встретились. Никакого такого страха у них не было, неправда, просто у них не доставало желания. Желания их угасли давно, и возбуждение, охватившее его при первой встрече в «Универсаме», тоже мало-помалу сошло на нет. Сейчас ему хотелось только сидеть дома, за машинкой или за кухонным столом; можно было и подежурить в ненужной Комнате Здоровья (именно потому, что она ему не нужна и оттого не предъявляет никаких претензий на его чувства).

Удрученный этим открытием, он поднялся наверх и услышал телефонный звонок. Звонила Марина. Она просила отложить сегодняшнее свидание, просто перенести его на другой день. Нет, нет, ничего такого не случилось, просто она устала и хотела бы сегодня пораньше лечь спать.

- Мы взяли слишком крутой темп, - сказала она, посмеиваясь.

Он возражал поначалу, потом согласился с ней и пожелал ей спокойной ночи. И, повесив трубку, вдруг почувствовал необычайное облегчение. Он с нежностью подумал, что она умница. Она взяла на себя смелость, инициативу, отрицательную инициативу. В данном случае положительную.

Он лениво протянул руку и взял с полки очередной том пол-

ковничьей прозы. Какой-то Колесников. Автор пятнадцати книг, осчастлививших четыре миллиона русских читателей. Поглядим, мон колонель, поглядим...

* * *

Даже чучхе и корейские достижения не смогли его усыпить в тот вечер. Он оделся, спустился вниз на лифте и вышел во двор. Пенсионеры еще беседовали на лавочке у подъезда, обсуждая, где лучше и плодотворнее можно отдыхать.

- Самое лучшее - это в Мятине, - говорил с нажимом слабенький голос. - Природа замечательная - это раз, снабжение деревенскими продуктами первой свежести среди населения и ежедневная доставка газет - три, есть телефон, откуда можно соединиться с Москвой, - это уже четыре...

- А я вот, знаете, отдыхал еще перед войной где-то в тех самых местах. Так вот, хозяин у меня был молодой такой, симпатичный парень, отвозил меня всегда на рыбалку... И что-то всегда такое рассказывал, острый паренек, знаете. И рассказывает мне, знаете ли, анекдот. Про пятилетку, сами знаете. Я уж не помню, может, он был и смешной. Но такой, что, понимаете ли, по головке не погладят... Потом я уехал, знаете ли, в Москву, но все это как-то в памяти у меня осталось. Чувствую - нехорошо. Такие вещи нельзя рассказывать. Скажет он, например, кому-нибудь, что я это слышал, тоже нехорошо. Сел я на поезд и прямо туда, сперва в их райцентр. Зашел куда надо, говорю, что вот так и так, молодой специалист хозяйства, но такое вот рассказывает, не могу даже повторить, однако... А там мне и говорят: благодарим вас за проявленную бдительность, но мы сейчас как раз этим всем вплотную занимаемся, так что он, может, уже и сидит, этот ваш парень, а если еще нет, то займемся. Так что вы возвращайтесь в столицу, спокойно себе трудитесь, спасибо от лица... Острое было время... Незабываемое. Боевая пора. Так вы думаете, это все же другое Мятино? Может, и другое, все может быть...

- Когда мы жили еще на Басманной...

Временский усмехнулся. Почти все рассказы начинались с подобной фразы: дом № 3 был сравнительно новый, и большая, а также лучшая часть жизни этих людей прошла где-то еще - на Басманной, на Сретенке, в Неопалимовском или в Банном. Там все знали всех, там помнили, кто был кем до войны, в войну, в 30-е

годы и даже в боевые 20-е. Там помнили твою первую жену и первую тещу. Знали, кто кого посадил, а кто хоть чуточку помогал в беде... Здесь - другое дело. Здесь можно было выдать себя за кого угодно, хоть за маршала Жукова. Они были здесь люди без корней, как эмигранты, могли наврать о себе с три короба, и доверия не заслуживал никто. Тем сильнее была жажда рассказать о себе...

- Вы знали Козина? - спросил бывший администратор. - Так вот, я работал еще с Козиным. А Роза Багланова, а Майя Кристалинская, а Ружена Сикора, помните - «Клеш и тельняшка, как вы хороши!» Никто уже не помнит. Но хотя бы Лаци Олаха вы помните? Я ему сделал такой номер в гостинице в Бердянске, что он не мог забыть. А Мария Донская мне говорила, что, Матвей Ароныч, мой номер зависит от вашего номера. Это она так и сказала животом. Потому что это был такой ее номер - говорить животом. Это называется чревовещатель...

От асфальта тянуло жаром и вонью. Временский подумал, что на балконе ему будет все же легче дышать, и пошел домой. У лифта он еще слышал, как старики говорили о Нерезове. Бывший райздрав женился на молоденькой. Совсем-совсем молоденькой. Лет на тридцать пять его моложе. На лимитчице.

- Теперь он ее пропишет - и баста, - сказал какой-то бдительный старик.

- Однако хорошенькая. Кудряшечки такие. И попочка. Весьма и весьма хорошенькая... - сладострастно сказал второй старик и добавил безутешно: - Что ж поделаешь? Ничего не поделаешь.

«Нет, нет, ничего не поделаешь», - подумал Временский, нажимая кнопку лифта.

* * *

Нерезов был легок на помине. Он словно бы поджидал Временского у лифта на этаже. Дверь в его квартиру была распахнута, и оттуда доносились лихие всплески рок-музыки. «Вот она откуда эта музыка садит чуть не месяц, - сообразил Временский. - Из гнездышка молодоженов. Музыка молодых. Музыка тонких. Спасу нет от нее никакого».

- Заходи, дорогой, - сказал Нерезов, - посиди у меня с молодежью. А то я здесь от нашего поколения один, как Херст.

Временский подумал, что они с Нерезовым и впрямь, наверное, одноклассники, едва-едва перевалили за рубеж пенсии...

В квартире Нерезова царил молодежный шабаш. Музыка орала во всю мощь прославленной японской аппаратуры. Глухих в компании не было, но так требовала молодежная мода - или на всю катушку, или уж ничего.

Молодые плясали очень спортивно. Даже красиво плясали - если не слишком долго смотреть: все же несколько однообразно получалось для многочасового прыгания. Впрочем, сами танцующие не замечали этого: они взмокли от усилий и, вероятно, казались себе еще более умелыми и спортивными, чем были на самом деле.

Временский с Нерезовым встали в уголок. Чтоб их не зашибли ненароком.

- Моя Людочка танцует. Во дает! - сказал Нерезов не то с гордостью, не то с обидой.

- Нам так пройтись кружочек и гляди - инфаркт, - сказал Временский.

- Я ничего, я учусь, - сказал Нерезов неуверенно. - Еще, правда, не научился. Медленно дело идет. А я сейчас, погоди... Видел, какой я магнитофон японский купил?

Нерезов осторожно пробрался к магнитофону и нажал на кнопку. Музыка оборвалась. Стало почти тихо. Почти хорошо. Временский понял, что раздражали его, пожалуй, не танцы. Раздражала музыка - боже, что за шум! Да какие тут могут возникнуть эмоции, кроме чисто спортивных? А ведь танцы - это же пролог, это же...

Нерезов нащупал спасительную кассету, сунул ее в щель японцу. Полилось томительное танго: «Ай тач е лыпс энд ол эт уанс...» Ах, аргентинское танго...

Временский и в молодости был танцор никудышный, но танго ему все же доводилось танцевать. «Белое танго, девушки приглашают юношей». Вот тут ему, бывало, и пофартит.

Он видел, как Нерезов стрелой бросился в тот угол, где мельтешила его Людочка, вырвал ее из мельтешни, из груды однополых джинсов и повел в танце, держась прямо и надменно. Она повиновалась без охоты - кроме них, больше никто сейчас не пошел танцевать. Нерезов упорствовал. Они были вдвоем посреди комнаты, как на эстраде, и показать Нерезову было, в сущности, нечего: два шага, приставка, правый поворот... И никакого выпендрежа, никакой особенной грации.

Временский безболезненно расстался с надеждой, что его сейчас пригласит на танец какая-нибудь «лялька» или »телка». Как всегда бывало на танцах, у него создалось впечатление, что мужчин здесь

больше, чем девушек, так что он с готовностью снял свою кандидатуру. К тому же вид танцующего Нерезова отбил у него всякую охоту к самодеятельности. Нерезов выглядел смешно в костюм-тройке и при галстукe среди безрукавок, распахнутых рубаш и потертых джинсов. Да и двигался он, надо сказать, довольно смешно. Когда же один озорник, точно прожектор, навел на танцующих свет настольной лампы (сходство с эстрадным номером стало полным), Временский содрогнулся. Зрелище было непристойным: жеваная, морщинистая шея райздрави рядом с незначительным, бессмысленным, но таким розовым Людиным личиком, обтянутым свежей кожей...

Временскому стало страшно за бывшего райздрави: вот пойдет он в разгар веселья куда-нибудь на балкон или в кухню и обнаружит там свою законную со спущенными трусиками... Нет, нет, такого Временский не желал даже этому малосимпатичному интригану-райздрави. Да и вообще...

Временский удалился потихоньку, не прощаясь, не благодаря за гостеприимство и преодолевая соблазн стащить какую-нибудь существенную деталь из орущего японского монстра, чтоб он заткнулся, узкоглазый. Операция была, конечно, неосуществима в многолюдстве Нерезовской квартиры. К тому же Временский вовремя вспомнил, что японская техника бьет наповал. Верняк. Бедный наш бард! Поог Галич!

* * *

Дежурство по Комнате прошло спокойно. Вероятно, самых назойливых пенсионеров уже вывезли на дачу или положили в больницу. Три долгожительницы судачили на скамейке у самого подъезда, и через открытое окно подвала к Временскому доносилось каждое их слово. Так он узнавал последние новости из мира телевидения. Например, он узнал, что по телевизору показали Сашу Красного. Этот Саша (на самом деле у него были какие-то нормальные еврейские имя и фамилия, но он предпочел быть Красным, да еще Сашей) писал стихи, прямо-таки графоманские стихи, и вообще у него не было никаких положительных качеств, кроме тяжкого возраста. Возраст его буквально потряс немолодое руководство телевидения и даже Союз писателей: этот Саша ухитрился дожить до ста четырех лет. Возраст его вселял надежду: так, может, и мы так. Возраст Саши вселял оптимизм: что войны, что чума -

вот ведь пережил Саша все драмы общенародного значения и вдобавок еще какие-то личные. К тому же он был еще еврей и, надо сказать, еврей премерзкий, это тебе не Ширвиндт, не Высоцкий, не Розенберг, не Костя Райкин, не Жванецкий, не Жуховицкий, не Грегори Пек, не С. Синьоре. Даже не И. Кобзон. Надежда, которую вселяло выживание Саши Красного, была такой умиротворяющей, что завистливые писатели совершенно безвозмездно (даже не прочитав его писанины) приняли Сашу в свой Союз. Теперь Саша разъезжал по творческим клубам и показывал себя людям - вот он я, я еще жив. А надо сказать, что к началу революции я был уже довольно немолодой человек. Так вот, я и сейчас... Это все-таки было замечательное зрелище. Перед зрелищем такой живучести примирялись все литературные и национальные страсти. Никто словно бы не замечал даже, что Саша еврей. Господи, доживите вы сами до этих лет, тогда, может, вы заметите, и этот Саша станет вам каким-нибудь конкурентом, но сейчас... Нам с вами, слава богу, не сто лет, вам еще только семьдесят, а мне и вовсе шестьдесят пять, так что, еврей не еврей...

- Наш еще тоже ничего, полковник... - сказала одна из старух.
- Восемьдесят ему, кажется? А как бегают!
- Ему больше, - заверила другая. - Это очень здоровый человек!
- Ого-го, нам бы его здоровье!
- Это же самый здоровый человек на свете.

«Вот секрет популярности нашего здравпрезидента, - подумал Временский. - И с каждым десятилетием авторитет его будет расти... «Лет до ста расти...»

- Я была тоже ничего себе... - сказала старуха, которую изредка выкатывали к подъезду в кресле на колесах. - И я была такая всю жизнь щепетильная, о-ей, и ложечку за собой помою, и никому со мной никакого труда, но когда уже начинаешь ходить под себя и буквально ничего не можешь поделывать, то какой же остается выход? Немедленно умереть. Но почему-то хочется умирать медленно, и врач мне говорит, что вы это сможете, потому что у вас замечательное сердце, мне бы такое сердце... Он говорит, и при этом он сам хватается за сердце и хочет открыть форточку, как будто из-за сердца, но я же понимаю, что такое ему не нравится, потому что у меня в комнате уже понемножечку пахнет тем-сем... И я ему говорю, что нельзя форточку, потому что я все-таки больная и могу простудиться, кроме того, вы же знаете, что у нас в доме нет форток, а надо открывать все окно, это же как-никак современный дом... Я

это к тому, что зачем, скажите, укреплять сердце? Чтобы оно потом не давало тебе честно умереть, так, как ты жила, а чтоб ты ходила под себя, пока вся твоя семья не полезет на стенку, и сын разведется, и внуки не захотят больше взять из твоих рук конфетку, потому что для этого надо войти в твою комнату и подойти к твоей постели, а кто это может, ассенизатор?..

Временский вдруг обнаружил, что он не один в подвале. Блестящие, чисто промытые глаза глядели на него из угла. Временский насчитал четыре пары глаз. Самые блестящие и черные принадлежали Мике. Пронзительные, с прищуром - Темучину. Темные на выкате - Андрюше. Светлые, то восторженные, то презрительные, то хитрые - Пантелею.

- Да, тут была бы отличная машина, - сказал Андрюша.

- Какая машина? - удивился Временский.

- Машинное отделение корабля, - пояснил Андрюша, и Временский вспомнил, что они теперь играют в корабль.

- Да, как же, - спохватился он. - Машина... А ведь правда - везде трубы, краники. Если бы еще их покрасить поярче... Мне ведь пришлось видеть машинное отделение на «Ермаке», на «Красине» и даже на атомном ледоколе.

- А что это здесь? - сказал Темучин.

Временский впервые поднял голову к потолку и увидел остатки перегородок, трубы, вентили, краны.

- Вероятно, они хотели тут оборудовать душ для рабочих, - сказал он. - Потом бросили эту затею.

- А ну - ка, проверь соединение, - сказал Темучин, и Андрюша сорвался выполнять приказание, понятное с полуслова.

- Когда ты уедешь, я буду капитан, - сказал Пантелей.

- Андрюха мой помощник, - сказал Темучин. - Он грамотней тебя.

- Капитан должен быть русский, - сурово сказал Пантелей.

- Он тебе рыло начистит, - пообещал Темучин.

- Я сильнее, - неуверенно возразил Пантелей.

- Зато он псих, - уважительно сказала Мика.

Появился Андрей. Он делал им какие-то таинственные знаки.

- Есть идея, - сказал он, наконец.

Исчезли блестящие глаза. Скрылись веселые плуты со своими идеями. Осталась безыдейная Комната Здоровья для нездоровых людей. Временскому стало грустно. И он ушел, не досидев до конца. Ушел, опасаясь за собственное душевное здоровье. Ключ он спрятал

в условленном месте, под батареей.

Когда он подходил к подъезду, ему показалось, что дети выбежали из подвала. Где они прятались, интересно? А может, это ему все показалось...

* * *

Неожиданный звонок в дверь вывел Временского из равновесия. Кто может звонить ему и зачем? Очень странно. И хорошо ли это?

...Думал ли он, что доживет до такого возраста, когда простой звонок в дверь станет досадной неожиданностью? Он шел к двери и при этом думал, что человек, который стоит за дверью, уже заметил, наверно, как он шаркает шлепанцами. Идиотский предмет - шлепанцы. Отчего бы дома не ходить, скажем, в кедах, не красоваться в упругих кроссовках. Как полковник...

За дверью стояла нерезовская Люда.

- Что - нибудь случилось? - спросил Временский.

- Ничего... А что должно случиться? А - а - а, почему я пришла? У вас нет... - она задумалась, хихикнула. - Ничего у вас нет. Просто мой спит после обеда. Он всегда спит после обеда очень крепко, но по телефону звонить, видите ли, нельзя. И пойти некуда. Дождь... И вообще. Я думаю, дай зайду...

«Да, правда, у нее попка, - подумал Временский. - И даже мордашка... Но что это все меняет? Видите, мы дожили - ни попка, ни мордашка ничего не меняют. Ну, а Марина? Отчего же тогда Марина? Марина - это вместилище воспоминаний. Сексуальных и прочих...»

- Говорят, вы писатель, - сказала Люда. - Это правда?

У Временского не хватило мужества ответить на этот щекотливый вопрос отрицательно. Собственно, он не решался ответить на него отрицательно даже самому себе, и притом в самые мрачные минуты жизни. С другой стороны, у него не было никаких оснований для того, чтобы ответить на этот вопрос положительно. Он понимал, что даже счастливые наши потомки не смогут ответить на него положительно, ибо он ничего не оставит потомству. Никаких книг, кроме сберкнижки на триста рублей. И еще кучу макулатуры, кстати, кому ее завещать? Марине? Дворнику?..

Временский почувствовал непривычное и в данную минуту очень неуместное прикосновение маленькой и бесцеремонной руки.

- Вы что, уже не возбуждаетесь? - спросила она. - А мой только

и делает, что возбуждается. Как только не надоест? Солидный же человек, все-таки, чем-то там заведовал. А может, врет? Может, он ничем таким не заведовал? Такой, простите, дурак... А вы вот «Аквариум» любите? Нет? Ну, что вы - такой балдеж... У меня друг есть один, так у него все ансамбли собраны, какие хотите записи. Он мне обещал переписать все, если приду... Но я же человек несвободный, верно?

- Верно, - сказал Временский.

- Я пошла, - сказала она. - У вас тоже тоска.

- И это верно, - сказал он, провожая ее до выхода.

- Странно, - сказала она, еще держась за ручку двери. - Он ничего не понимает. И вы, писатель, тоже ничего не понимаете. А зачем же вы столько жили?

- А, собственно говоря, какие вопросы... - начал Временский.

- Не возникай! - сказала она. И исчезла.

«Визит иностранки, - подумал он, пытаясь прогнать раздражение. - Ей, видите ли, неинтересно. А сама она?.. Вот Темучин, Пантелей - это действительно интересные люди, а здесь...»

Раздражение не проходило. Она была права, наверно, эта лялька. Мухи тут у вас дохнут от смертной тоски. И, действительно, я ничего не понимаю в таких, как она. Другое поколение. Иностранка... «Не возникай!»

* * *

Марина пригласила его в гости. Она была у него уже два раза, это было неплохо, но теперь подошла его очередь нанести ей визит. Он поймал себя на том, что его не слишком интересует, как она живет. Мало, что ли, он видел этих горделиво-бедных квартир одиноких москвичек и разведенных провинциалок: кое-как прибрано перед приходом гостя, разбросаны игрушки, сам ребенок томится у соседей или отправлен на день к бабушке... Умывание. Ванная.

- Шампунь на полке, можешь взять и этот, и тот, у меня целых три сорта: у меня страсть к косметике... - Потом уж с меньшим задором. - Половина полочки уходит на шампунь.

Другая половина полочки на кофточку, целая на джинсы, и еще одна на французские сапоги, как удастся им выживать на то, что останется? Экономическое чудо, чудо выживания! Кто объяснит ему, как выживает женщина с окладом сто двадцать рублей в месяц, если она купила сапоги за сто тридцать? Может, им дарят? Со-

мнительно. Где они, эти тароватые сторублевые дарильщики? Ну, потратят пятерку, ну, десятку...

Впрочем, Временскому не приводилось бывать в богатом обществе. Он даже не знал, щедры наши тайные богачи или они тоже хотят проскочить на халяву, как беднота. В конце концов, демографические показатели в нашей стране по-прежнему не в пользу женщин...

Во время своего последнего посещения Марина рассказывала ему, каким способом ей удавалось подрабатывать. Он нежно держал ее руку, и сердце у него ныло от сострадания. Уроки английского - шесть уроков в неделю, восемь уроков в неделю, плюс ведь работа. Плюс перепечатка на машинке. Плюс случайные переводы. Она пыталась шить, сидеть с детьми, убирать контору ЖСК... Чтобы выжить. Или чтоб было, как у людей...

Он вспомнил: ей всегда хотелось, чтоб было, как у людей, разве можно винить ее за это? Нормальная женщина - ей хотелось иметь все, что имеют другие нормальные женщины. Иметь мужа (куда он, кстати, девался?), иметь ребенка, иметь мебель... Он, Временский, тоже был отчасти виноват, что она не имеет всего, что имеют другие женщины. Он и еще другие, такие же, как он, готовые улететь при первой возможности, вылететь навстречу призраку свободы, манящему их на горизонте... Ища защиты от этих мыслей, он вспомнил полковника Агабабина, его путь от купеческой дочки к комиссарше, его путь к освобождению на восьмом десятке лет, блокнот с тиснением на обложке...

Улица маршала Колгунова отличалась от прочих улиц микрорайона только фамилией маршала. На улицах прочих маршалов дома были точь-в-точь такие же. И квартирка у Марины была не слишком оригинальная, во всяком случае она не обнаруживала никаких признаков индивидуальности (того, к чему юная Марина тяготела при их первом знакомстве). Нет, она не производила впечатления убожества и нужды, к которым он был готов. В обстановке квартиры явно было тяготение к добропорядочности и даже - как он отметил, чуть-чуть осмотревшись, - к некоторой роскоши. «Стенка» во всю стену, то ли финская, то ли румынская, даже с баром. Что ж, она получила то, к чему стремилась, компенсировала себе многие неудачи, это ее право... Он нежно поцеловал ее в щеку и прошел за нею на кухню, где она уже накрывала на стол. Скромное угощение, почти такое же, как у него. Есть какие-то, впрочем, инородные продукты, каких не бывает в «Универсаме»:

колбаса из закрытого распределителя, консервы в ненаших банках, не те конфеты. Временский усмехнулся, подумал, что по содержанию холодильника можно будет изучать географию и социальную структуру ее общественных и любовных связей.

Но, в сущности, он не ожидал увидеть у нее дома ничего интересного. Зато он надеялся, что ее собственная, привычная для нее постель сделает ее менее равнодушной, чуть более заинтересованной. Нет, конечно, чего там, он вовсе не преувеличивал своей нынешней привлекательности, и все же...

Разговор за столом тек мирно. Они вспомнили друг друга, забытую манеру речи. Они восстановили легкость общения, которую он так ценил когда-то. В то же время он с горечью отметил, что она поскучнела. Она реже шутила, больше не придумывала словечек, на которые была такая мастерица в былые годы.

За чаем пришло желание. Он пошел за ней в комнату, мешал ей складывать покрывало, обстоятельно свивать гнездо уюта... Ну да, все же она сохранила и нежность, и мягкость тела. Да, утратила гибкость, свой редкостный темперамент. Зато появились богатство и зрелость форм, к которым он так тянулся в юности и которые все плотнее окружали его в последние годы, загоняя в угол постелей. Возраст. Изобилие. Преобладание сладкой и мучной пищи...

Все-таки ему было с ней хорошо. Хорошо от сознания, что это она, Марина, родное ему существо... И какая-то была в этом почти семейная чистота...

Он откинулся, наконец, на подушку и подумал, что сможет теперь уснуть. Минут на десять. Потом он проснется, у него будет ныть сердце. От этого не уйти...

- Хочешь, я включу телевизор? - спросила она.

- Упаси боже! - сказал он и тут же пожалел о своих словах: наверно, она привыкла к телевизору и отвыкла от разговоров. И правильно - что пользы в словах? Если б еще и телевизор умел молчать.

- А что это такое под телевизором?

- Это видео. Хочешь? У меня есть здесь пяток фильмов. Старые, но, говорят, вполне...

Ему отчего-то стало худо. То ли его десять минут уже истекли. То ли это ее «видео». А может, и это «говорят». Теперь он разглядел, что мордатый, темный телевизор тоже был не наш - «Акаи». В конце концов, это не его дело - не он покупал и не он будет смотреть из постели бесплатное мельканье бледных теней. Сколько же может

стоять видеоманитофон? Он знал, что эту технику покупают, в основном, торгаши и воры. Или грузины. Может, у нее был грузин. Или у нее был вор. В конце концов, это ее дело. Где он сам был все это время? Явился. Явился под занавес. Во всяком случае, под свой...

Он понял, что она говорит про что-то забавное. Она даже смеялась. Ну, да, у нее были какие-то дурацкие неудачи с резиной.

- Ты не умеешь, Гриша, доставать резину? - спросила она.

- Резинки?

- У тебя одно на уме... Резину для машины. Меня в этом году обманули.

Ну да, еще у нее была машина. А на что вообще покупают машины в нашей стране? Он прожил долгую жизнь, так и не разгадав для себя это экономическое чудо - при окладе даже в триста, при стоимости машины в семь тысяч, даже если откладывать по сто рублей в месяц (ну, а возможно ли откладывать так много? Да и многие ли получают триста?). Итак, у нее была машина. Что еще у нее было? Кажется, гараж. Было еще что-то запасное, какие-то запчасти, очень дорогие, однако не было резины, все ясно... Ну, и какое его дело? Она же не просила, чтобы он купил ей машину (пусть и попросила бы, на что, на сто двадцать?). Она не просила его ни о чем. Он напоил ее чаем, теперь она напоила его чаем, и она лежит рядом с ним - сомнительное, скорей всего, удовольствие лежать рядом с ним. Да она и не делала вид, что умирает от восторга (когда-то она умирала, особенно в тот первый раз, но то ж первый!). Ее, вообще, мало это, наверное, занимает сейчас. Есть в мире реальные вещи. Вот все эти «стенки», эти механические новшества, эта машина...

- Для нее ж надо так тяжело... для машины, - сказал он, наконец.

- Да, - согласилась она. - А что делать? Продать - самое легкое. Потом не купишь. А тут, глядишь, выведу когда-нибудь за город... Резину куплю - и выведу.

Он кивал, тер левую руку. Ну, да, она купит резину, заменит там что-то внутри, прикупит еще что-то и выедет за город, в Архангельское. Потом даст еще двести уроков английского, перепечатает по ночам две тыщи страниц на машинке...

Ему стало вдруг нестерпимо грустно. Стыдно за себя и грустно за нее. Тем стыднее, что не было никакой реальной причины для грусти.

- Я знаю, что все распрекрасно, и нету для грусти причин... -

промычал он.

- Я помню, ты пел это, - сказала она. - Ну, да, Окуджава. Ты просто сходил с ума. Я уже давно не слушаю.

- Я тоже, - сказал он. - Я тоже...

И вдруг добавил стыдливо:

- Однако я бы хотел еще кое-что написать сегодня...

- Такси вызвать? - пошутила она: от ее дома до «Универсама» было всего метров триста.

- Пока еще ковыляю, - сказал он.

* * *

Он обошел «Универсам» и присел на скамейку в сквере. Было еще совсем рано. Он вспомнил, что когда-то он возвращался со свиданий ранним утром.

- Теперь тоже рано... - он усмехнулся. И вдруг вскрикнул от боли. Колото в левом боку. Оно самое... Слабость охватила его. Слабость и страх. Может, это и есть конец. А может, еще ничего? Может, тот самый микроинфаркт, за которым следует другой, пошире...

Временский расплылся по скамейке. Втек в нее. Может, его уже нет больше. Что ж... Вот так раствориться в воздухе, деревьях, без муки... Одна только унижительная слабость.

Жарко. Томительная жара... Теперь бы водички со льдом. Или... как там эта штука называлась в Италии? Ледышки с сиропом. Гранита? Ты сейчас не в Италии. Зато у нас лучшее в мире метро. И лучшее в мире мороженое. Возле метро.

Пацаны на воображаемых мотоциклах проезжали мимо его скамейки. Один из них спешил, сказал:

- Я лучше пересяду на лошадь.

- Дорогой всадник... - сказал Временский слабо.

- Вы мне?

- Да я тебе, юный джигит... - он попытался улыбнуться. Вид у него был жалкий. - Тебе, мой шевалье. Вот рупь. Слетай на твоём коне в метро. Купи мороженое. Мне за одиннадцать копеек. На остальные девяносто экю тебе и всем гонщикам... Держи...

Пацан ускакал. Может, он уже не вернется. Однако все же становится легче. Отчего же я никогда не скакал на коне? И не ездил на мотоцикле? Такая была бы прекрасная смерть...

Не тужи. И без транспорта ты прибудешь на станцию. Неужто

прибудешь первым из Группы Здоровья? На двадцать лет обогнав старейшину. Но разве это случается по нашему графику? Есть Главный Диспетчер. Он один знает... Прости меня, Боже...

Обращение Временского было дилетантским, как и все в наше дилетантское время. Ознакомившись с верованиями по «Справочнику атеиста», он выбрал религию Христа, поскольку Христос подвергался в «Справочнике» особенно злобным нападкам. Временский, может, выбрал бы из этих же соображений «юдаизм без прикрас», но там возникали сложности с кошерной пищей. И не было Нагорной Проповеди... Из всех молитв он за все эти годы сумел выучить одну - «Отче наш». Впрочем, две молитвы он сочинил для собственного пользования.

«И отпусти нам долги наши...», - повторял он. Все долги, все, о боже, как много их, бедные мои родители, и мои глупые жены, и эта нищая девочка с телевидео...

Господи, так ясно, что уходим мы голые, такие же, как пришли... И весь этот мусор - наше жилье, одежда, наши книги, бумаги, голос, волосы и глаза... Ничего, ничего...

Он вспомнил кадр из документального фильма. Террористы в борьбе за светлое будущее взорвали бедняцкий магазин в Париже: какие-то сумки, тряпье, туфельки, деньги, нога, пакеты, кровь... Наверно, это и было их будущее. Зачем-то его называли светлым. Ну, да, ведь была вспышка огня, был взрыв, был свет безумия...

Господи, прости нам всем... И отпусти нам долги наши...

Всадник с мороженым не вернулся. Может, дорогой на него напали мотоциклисты. Но Временскому не хотелось мороженого. Он сам доплелся до дому...

* * *

На четвертый день от пугающего происшествия в сквере осталось только воспоминание. Воспоминание о пережитом страхе. Отзвуки страха. Горький вкус во рту.

Но, в общем, он уже был на ногах.

К нему приезжала Марина. Она хотела поставить ему горчичники. Она хлопотала, и ему было стыдно за тогдашние мысли. За мысли, которые и сейчас не покинули его насовсем.

- Я сразу увидела, что тебе как-то не так, - сказала она, - стала звонить, а тебя нет... Отчего ж ты ушел?

- Я хотел помереть прилично, никому не причиняя хлопот...

- Прилично - это значит в своей постели, в окружении близких...

Я б тебя окружила. Чай, не чужие...

В голосе ее, впрочем, не было убежденности.

В конце той же недели в подвале проходило вечернее заседание Группы Здоровья. Временский счел, что заседание это достаточно актуально, чтобы он его посетил. Он подошел к подвалу с небольшим опозданием. Изнутри уже доносился голос полковника Агабабина:

- Читаем это интервью профессора канцерогенной лаборатории из города Монпелье, и что же мы при этом фактически обнаруживаем? Точно то, что планомерно проводила наша Комната Здоровья за истекший период. Жиры. Это раз. Смолы - два. Сахар. Ничего жареного. И поменьше мороженого...

Временский улыбнулся воспоминанию о всаднике. Темучин вышел из тени, сказал:

- Вы можете взять с собой зонтик. Вот. Японский. Очень хороший. У него только одна спица погнулась.

- А на кой мне, pardon, зонтик? - спросил Временский. - Это рыбе нужен зонтик, а не ослу, ослы ведь непромокаемы.

- Не хочет - не надо, - сказал Пантелей.

- Возьмите, - протянула Мика. - Вам же лучше будет.

- Ого! - сказал Временский. - Весь экипаж в сборе. Счастливого плавания! А я и так опаздываю на большой курултай.

- Пусть, - сказал Андрюша. - А вы идите сюда.

Стараясь не производить шума, Временский присел на краешек стула.

- Осложняется вопрос с картошкой, - сказал полковник. - Французский профессор утверждает, что сама по себе картошка, без жиров и без жарки, в плане накопления не представляет опасности...

- Значит, вопрос как ставится: есть нам картошку или не есть? - спросил майор Поваленко. - Это ведь исконная наша, так сказать, русская еда...

- Сами анализируйте, - сказал полковник Агабабин. - Если взять с точки зрения...

Погас свет. Без света в подвале, хотя бы и в присутствии двух бывалых воинов, стало вдруг жутковато.

- Ой! - сказал чей-то голос. - Мокро.

- Вам мокро, - склочно произнесла в темноте Фаня Никитична.

- А мне, значит, не мокро, если прямо, извините, льет на голову.

Временский вдруг вспомнил про зонтик и усмехнулся.

- Это шутка, товарищи... - начал он. Но тут отчаянно завизжал

Нерезов: - Спасайтесь! Потоп!

- Все по местам! - крикнул полковник. - Не поддавайтесь панике!

У кого есть спички? Первыми мы эвакуируем женщин и детей.

- Спички отсырели, - сказал Поваленко.

- Нащупал дверь, - сказал Временский. - Я около двери.

- Остается узнать, где вы...

Раздался вдруг треск и глухой стон.

- Скамейка упала, - сказала Фаня Никитична. - И, кажется, товарищ полковник тоже упал.

- Я принесу фонарь, - сказал Временский, выбираясь наощупь из подвала. В темноте он слышал, как хихикают дети, но ему было сейчас не до сведения счетов.

Когда он вернулся с фонарем, женщины уже эвакуировались. Детей и след простыл. Они с Поваленко помогли вынести полковника. «Скорая помощь» уже ждала у подъезда.

Кривясь от боли, полковник махнул им рукой.

- Если это шейка бедра, - сказал он, - я отбегался.

Машина тронулась.

- Если это перелом шейки бедра, - сказал Нерезов, - то он вообще отпрыгался.

Потом он наклонился к Временскому и сказал:

- Вы знаете, она приходит домой так поздно, так поздно...

- Люда?

- Ну, да. Между нами.

- На рассвете?

- Даже иногда позже. Вот сейчас я уже начинаю ее ждать...

- Ожидание - это все-таки жизнь, - сказал Временский. - И боль тоже.

- Еще какая боль.

* * *

Смерть полковника Агабабина во время операции потрясла все пенсионное население дома № 3.

- Это был такой здоровый человек! - выразила общее мнение Фаня Никитична. - Где у него могут храниться мои фотографии? Я надеюсь, их не положат в гроб...

- Да, здоровье, конечно, вещь приятная, но полезно ли оно?

- Вот именно, возьмите мою тетку: всю жизнь она была больная, и пожалуйста - всех пережила.

- А я... Вы знаете меня - я никогда не чувствую себя здоровой.

Но некоторые люди всю жизнь так живут, без здоровья, и даже находят себе в этом удовольствие.

- Здоровье его погубило, - сказал майор Поваленко. - И все же это был боевой командир, участник Великой Отечественной войны, кавалер орденов...

Поваленко как бы репетировал боевые поминки.

- Если уж такие люди умирают, то что нам говорить, - скорбно повторял пенсионер из шестидесяти четвертой квартиры, давно утративший здоровье и больше сорока лет лечившийся от астмы.

Им удалось отыскать внучатую племянницу, которой были вручены скромные пожитки полковника. Его библиотека, впрочем, перешла по завещанию в Комнату Здоровья, которая к тому времени еще не окончательно просохла. Временскому удалось при этом изъять мемуары полковника, а также фотографии Фани Никитичны, свидетельствовавшие о том, что в молодости пенсионерка Цыплер обладала всеми соблазнами, характерными для еврейской женщины.

Временский догадывался, конечно, о причинах катастрофы и ее виновниках. Однако он понимал также, что никто всерьез не покушался на жизнь полковника. Детская проказа была не более жестокой, чем прочие деяния малолетних ангелов. Можно ли было предвидеть, что она кончится так печально?

В день похорон к подъезду был подан специальный автобус. Как ни странно, Группу Похорон (по существу, идентичную на сей раз Группе Здоровья) возглавляла Фаня Никитична, а вовсе не Поваленко и не бывший райздрав Нерезов.

Поваленко появился на своем балконе лишь в момент отбытия автобуса и открыл с балкона стрельбу из именного оружия. Конечно, это было для него рискованно, но он не мог проводить в последний пусть боевого полковника без залпов прощального салюта.

Нерезов все эти дни не появлялся на люди, и после отхода автобуса Временский (который уклонился от участия в похоронах с той же ненавязчивостью, с которой обычно уклонялся от групповой пробежки) навестил своего соседа.

Нерезов сидел на кухне один перед початой бутылкой дорогого (того самого, который некогда именовался дешевым) портвейна.

- Выпьете? - пригласил он.

- Нет, нет, - сказал Временский. - Я ведь очень редко. Вот у покойного полковника был однажды финский ликер...

- Да-да, нет его больше. Нет человека, - сказал Нерезов. - Потом

он кивнул в угол. - И Людки тоже нет. И нас не будет.

- Ушла насовсем?

Нерезов кивнул.

- Взяла магнитофон, - он помолчал. Потом добавил с непонятной гордостью. - Другие подарки не взяла.

Вероятно, Нерезов хотел, чтобы Временский удивился Людкиному бескорыстию и ее лихости, признал, что она все-таки была замечательная девушка и все это было не напрасно. Но Временский молчал.

- Может, оно и легче, - сказал наконец Временский. Он не знал, чем утешают оставшихся в живых. - Вы втянетесь в работу, возглавите Группу Здоровья.

- Нет уж, нет, - сказал Нерезов. - Такая, знаете, раскрылась...

Нерезов не мог подыскать слово, чтоб описать то, что раскрылось перед ним, однако Временский понял, что перед райздравом раскрылась бездна, которая была и страшнее, и бездоннее, чем бездна Людкиной подлости, чем бездна его старческого тщеславия... Смерть...

Они сидели молча, портвейн быстро убывал в бутылке, и Нерезов становился все печальнее, все отстраненнее. Временский покинул его, и Нерезов даже не шевельнулся за столом.

У подъезда стояла машина с надписью «Перевозка мебели». Какие-то пьяные люди в спецовках выносили шкаф, безбожно стуча им об углы и перила, сшибая штукатурку...

Пантелей и заплаканная Мика переминались у подъезда.

- Ну, что вы еще натворили? - спросил Временский.

- Темучин... - сказала Мика. - Он переезжает на другую квартиру.

- Теперь я буду главный, - сказал Пантелей и грозно прищурился, подражая Темучину.

- Андрюшка тебе кой-чего начистит, - сказала Мика. - Он бешеный.

- А старого сволочизма увезли? - спросил Пантелей, желая переменить тему.

- Да, - сказал Временский. - Он тоже... Тоже переехал на другую квартиру. Вот и все.

- Значит, ничего не изменится? - спросил Пантелей.

- Нет. Наверное, ничего, - сказал Временский. - Или почти ничего.

ДРУГАЯ ПОПЫТКА

1

Прозаическое введение

Силы действительно оставляют,
но скорее не тело, а душу.
Впрочем, дела это нисколько не меняет,
просто я трушу,
опасаюсь одиночества, равно и многолюдья,
то есть дальнейшей жизни,
вскрика дурацкого – А судьи
кто? – памяти об отчизне,
давшей язык и отнявшей речь.

Вызвать бы, обучиться
не плакать, когда последняя голова с плеч
долгой, укреплять организм, как йоги,
и, что бы там ни случится, –
передать приказ мозга душе:
отрастить голову и выпрямить ноги,
как, помнится из истории, поступал министр Фуше.

Попытаемся быть осмотрительными в выборе слов,
смотрите сами:
/сосредоточьтесь и будьте бдительны/
слова – единственное, что еще оставляет иллюзии,
и, не разрушая основ,
слова становятся незамутненными снами,
без приставалы-гипноза и обманки классической музыки.

Так что попробуем, пожалуй, размышлять;
расчетливо и не торопясь
располагать слова по цвету и по значению,
находить единственно возможную между ними связь,
словом, заниматься медленным стихосложением,
а не описывать правду жизни и грязь.

Попробуем /вчерне/ исключить домашние мотивы:
ни слова мести тем, кого когда-то любил.
/Только ли в прошлом? а теперь, а еще.../
и станем записывать, как предлагал, расчетливо и неторопливо,
отсеивая сомнительные «страсть» и «пыл»
и не выставляя счет.

6 октября 1991

2

Явление пионерки

Что-то сдвинулось, что-то щелкнуло,
что-то кончилось, остановилось.
Пионерка с дурацкой челкой
в моей комнате объявилась.

Приседает она, куражится,
знаки делает, изумляет.
И такое в ней вдруг покажется,
что, конечно, так не бывает.

Только как же не быть такому,
если розовая, живая
статуэтка – награда ревкома
и тоска моя сторожевая.

Так в моем д а л е к о сионистском,
что простерлось от можа до можа,
прижилась пионерка-горнистка
и колдует она, и тревожит.

19 сентября 1991

Птица

Далекая птица кричит в синеве,
 далекая, глупая, злая.
 Мой пост затерялся в высокой траве,
 и, толстую книгу листая
 о гадах и птицах, жуках и траве,
 разнежился я и ищу в синеве
 далекую, глупую птицу –
 не курицу, а девицу,
 горбатую, злую, о синих зрачках,
 приспущенных крыльях, коротких руках,
 наколка на бедрах, цыгарка в зубах.
 Пускай накудахчет, накличет
 судьбу мою глупую, птичью,
 без птицы прекрасной, а с люлькой в дому.
 Я книгу листаю – слова не пойму.

25 сентября 1991

4

Баллада о сумасшедшем

«Люди идут по свету...»

Песня

Жизнь городских сумасшедших
 мне не дает покоя.
 Откуда они берутся,
 что же они такое?

Если смотреть в корень,
 а не смотреть прямо, –
 они на свет выползают
 из прорвы разума, ямы,

в которой ненастным утром
звезда в косяке гуляет,
в которой никто не умеет
понять, чего он желает.

Это занятная тема
стоит страниц в романе.
Вот глава небольшая
о стебанутом Сане.

В городе, где на иголку
девять бесов садится,
десятый скользит, не может –
негде ему поместиться,

так вот, в этом городе белом,
где смерть на рождение похожа,
десятый бес на иголке,
конечно, рассестись не может.

В нем-то наш Саня вещей
яблочко тычет прохожим.
Взгляд у него зловещий,
струпья на белой коже.

Птицы думать садятся
к нему на сутулые плечи,
сны ему дивные снятся,
ночью укрыться нечем.

Не гонит его Назаров,
Федотов глядит кротко,
Володя Тарасов с базара
его угощает водкой.

Казалось, чего бы лучше,
зачем бы я в дверь ломился?
Случился ужасный случай:
блаженный Саня влюбился,

не в бабочку, Божию пчелку,
каемочку на тарелке –
Саня пытается счастья
в немолодой еврейке.

Мертвых котят и мышек
он ей под двери приносит.
Саня любит еврейку –
она его не выносит.

Не подпускает ночью
Саню к заветной спальне.
Он дико в ответ хохочет,
что для него нормально.

Обиженный и сердитый,
strupья с себя сдирает.
Саня идет по свету,
а почему – не знает.

28 сентября 1991

5

Романс с прожектором

Закат сгорал.
На полосе прибрежной
в луче – волны кипело молоко.
И было так легко и безнадежно,
так безнадежно было и легко.

И если бы он не был безутешен,
и если бы она еще была –
они б играли в косточки черешен
и чай с вареньем пили до света.

23 сентября 1991

Все разделивши пополам,
высматриваю по углам,
в глаза заглядываю – пусто.
Темнеет синь чужих зрачков,
светляк сверкнет – и был таков.
И память вытравило дустом.

Как будто не было войны,
когда почти что треть страны
страну бросает на недели.
Твой телефон кричал и гас,
их школьники пускались в пляс,
все думали – когда же газ,
и офицеры в пол смотрели.

– Как мне суметь, любимый мой,
пускай хоть книзу головой,
а все ж на кромке удержаться? –
Все брошено коту под хвост,
осмыслен взгляд, далек и прост –
не позвонить и не прижаться.

И хоть скачи на сотни верст,
как там, давно, где месяц врос
в державный мир пустого звука –
все перерезаны пути,
не сохранить и не спасти,
а промотать, продуть, профукать.

Так, промотав наследство, сын,
стоймя, дурак, стоит один –
свобода трезвая – богатство.
А я прилягу налегке
и водки выпью в холодке
за равенство и – что там, братство?

24 сентября 1991

Искушение свободой

Так отчетливо кличет свобода –
 что с ней делать, куда ее деть?
 То ль с балкона смотреть на природу,
 то ль без голоса тихо запеть,

то ли свечи зажечь. Одиноко
 сгорбить плечи в заемном дому
 и фальшиво из раннего Блока
 отраженью читать своему,

то ль под простенький опус барочный,
 замеревши на четверть часа,
 так прицельно, уверенно, точно
 вдруг под мышкою почесать –

и заплакать под сладкую ноту,
 и прощенья у снимка просить,
 и, не думая, по блокноту,
 собеседника пригласить.

Это сладкое слово свобода –
 никому, ничего, никогда!
 А в окошке звезда небосвода,
 и кухонная каплет вода,

и ненужная книга на стуле,
 и несвежая роза.

Рефрен:

– обманули, как есть обманули –
 в этом вкрадчивом ужасе стен.

8 октября 1991

* * *

*«Я жизнь люблю и умереть боюсь...»**Арсений Тарковский.*

Я умереть хочу
и жить боюсь,
и все же из последних сил
лечу - сь
вдохнуть глоток, потом еще один,
как будто по инерции. Мне мил
да вот хотя бы этот господин,
шагающий со сломанным зонтом,
такой живой, а может быть, фантом.

И этот город нервной белизны,
где все случилось и случится вновь,
где чудных литер, рвущихся, резных
вечнозеленый, тайный хоровод
плетет венок еще нечетких слов,
которым назначение - любовь,
которых книга - эхо, небосвод.
Здесь девочка бездомная, сестра,
сумевши ненароком подменить
слова и эхо, отвечает - нет.

И эта, Станиславского, игра
раскручивает леску, провод, нить,
которым ключ – «конечно» и «пора»,
которых смысл – вспомнить и убить
понятия «назавтра» и «вчера».
– Чего-то ждешь? – спросил.
– Конечно. Жить...

1 октября 1991

Послесловие

Не окончится ничего, ничего,
 никогда не остановится вал
 записи голоса твоего –
 и мгновенные вспышки, когда тебя целовал.

Улыбка и боль изменят топографию морщин на щеке,
 рисунок вен вздует и перепишет рука,
 но останется царской наградой матовый след на руке
 от школьного – помнишь? – из давних стихов – мелка.

Вот так все и устроится быть.
 Можно подретушировать деталь:
 реальность не стала обманом, просто изменился контекст.
 Главное – не чтобы вовсе не захотеть забыть,
 а стариковски всхлипнуть: мне ничего не жаль,
 решительно ничего, кроме нескольких частных мест
 из многословной попытки
 тебя продолжать любить.

5 августа 1991

КНИГОТОВАРИЩЕСТВО „МОСКВА - ИЕРУСАЛИМ“

Тель-Авив 61440, п/я 44050, тел. 03-394525

предлагает

ДАВИД ТАКСЕР. Иск (роман-воспоминание). Худ.
 В. Богуславский.

Реалистическое по фактам и одновременно детективное
 по сюжету произведение, посвященное судьбе молодого
 офицера советских оккупационных сил в Германии, полюбившего молодую немку и пытавшегося бежать с ней на
 Запад.

ВЕЛИКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕТРОВА

Однажды Петров читал краткий орфографический словарь и увидел слово «гонобобель». Слово ему понравилось, хотя значения его он не знал. Представился Петрову заморский овощ с высоким султаном красных листьев. Петров был человеком меланхолического склада, делал зарядку раз в четыре дня, не курил и к здоровью своему относился бережно. Он с удовольствием читал упорядоченные книги вроде телефонных справочников и словарей; справочники восхищали его всезнанием, а словари умиляли уверенностью. Если у Петрова спрашивали, как пишется какое-нибудь непростое слово, он долго морщился, а потом неуверенно предлагал несколько вариантов. И вот – гонобобель. Почему-то оказалось, что на гонобобель похожа вся его жизнь. Переполненный троллейбус – гонобобель, очереди за продуктами – гонобобель, у соседа запой – опять гонобобель. Конечно, жизнь была намного отчетливее, намного реальнее экзотического иностранного слова, и проголодавшись, Петров не думал о гонобобеле, а желал пищи и горячего чаю, но насытившись, снова понимал, что бытие кромешно, а потому – гонобобель.

Самая сложная из эмоциональных операций, наверное, – это определение своего отношения. Многие люди благополучно умирают, так и не узнав, как они относились к венецианским дожам или китайским танкам. Многие умирают, не зная толком, как они относились к собственной жизни, к тем, кто пойдет в траурной процессии, к чужим успехам и дальним странам. Передавать ощущения и эмоции словами – достаточно сложная задача, чтобы многие из живущих даже не брались за ее разрешение. Они живут – вот и все. И если бытие заставляет человека определить словом свое отношение к действительности, он чаще всего пользуется словами «люблю» и «ненавижу», «хорошо» и «плохо» и, мечась меж ними, определяет свое отношение к любому явлению, касающемуся лично его. Но даже самая тяжкая словесная оценка своего бытия не всегда заставляет человека прекратить его, и из этого можно выхватить предположение, что очень многие оценки недостаточно

искренни либо неистинны, что в конечном счете одно и то же. Так и определение Петрова, «гонобобель», ничуть не хуже любого другого. «Гонобобель» – вот и все. Было в этом слове нечто мудрое, скрытое от посторонних лап, тайное, постыдное и хлопотное, как гонорей; одинокое, как бобыль; крохотное, твердое, но готовое быстро прорасти, будто боб; и солидное, спесивое, даже величавое, как набоб. А жизнь Петрова? Разве не была она тайной, постыдной и хлопотной, крохотной и одинокой, твердой и внешне солидной, спесивой, величавой, даже и замкнутой, но вместе с тем готовой быстро прорасти? Так чем же она не гонобобель?

Через два дня после великого своего осознания Петров почувствовал, что жизнь его похожа не только на гонобобель. Все же некоторые радости в ней определено были. Удавалось ему и сладко выспаться иногда, и вставить десяток умных слов в дружеской беседе, за что Петров себя уважал, чувствуя, что если он и говорит мало, то зато иногда вполне толково, удавалось ему и насладиться женским телом, и со вкусом и удовольствием за столом посидеть. Но все радости приходили намного реже, чем Петров желал. Каждый из нас может вспомнить пережитые радости, но вряд ли эти воспоминания удовлетворят ежедневный голод или наполнят жизнь сокровенным смыслом. Определение жизни Петрова нуждалось в расширении хотя бы потому, что, несмотря на любые определения, жизнь охватывала Петрова со всех сторон, не оставляя ему ни малейшего промежутка для немедленного счастья. Интеллект Петрова, не развитый за повседневной ненадобностью, но все же склонный к математичности, к логике, подсказывал ему, что если дать жизни верное, точное и полное определение, то далее можно будет вычислить, как к ней относиться и как поступать каждый день в ситуациях мучительного выбора, которые тогда можно будет разрешать по определению. И на ум Петрову пришло еще одно слово, созвучное излюбленному гонобобелю, но имеющее не дозволенный цензурой смысл и означающее: «использованный в результате полового акта». Для небоящихся я приведу его. Это слово «клепанный». Клепанный гонобобель. Из продовольственного магазина выходя, где со времени его открытия за тридцать восемь лет ни разу не продавалось баночного пива, понял Петров, что гонобобель именно клепанный и никакой другой. Клепанный, потому что бутылочного пива в магазине тоже не было очень давно, а была очередь, ожидающая подачи колбасы стоимостью по три часа работы Петрова за килограмм. Клепанный, потому что ненавистная толпа состояла

из соплеменников Петрова, рожденных в результате полового акта как первородного греха, и не было среди них рожденных иначе. «Воззрите на птицы небесные, - захотелось закричать Петрову, - и летите отсюда на клепаный гонобобель». Но он не закричал, опасаясь, что люди примут его за сумасшедшего и избыют.

Так пришло к Петрову понимание жизни. Да, она такова, именно такова. Именем названный бес должен явиться или исчезнуть, но изменение это всегда разительно ярко и контрастно, а, стало быть, жизнь переменится. Но как же теперь вычислить по этому определению значение жизни во всех ее проявлениях, во всех функциях ее? Обещал себе Петров подумать об этом непременно на досуге. От долгого мышления уставал мозг, и Петрова клонило в сон и скуку. Но итог чувств, определение свое он просмаковал еще не раз. Клепаный гонобобель. Красиво. Конечно, Нобелевский комитет назовет его великим определением Петрова. Удивительно лишь, что люди вокруг, видящие то же самое каждый день, не чувствуют по-петровски и не могут правильно определить свою жизнь. «Ну, во-первых, не все читают орфографический словарь, - скромно подумал Петров, - а во-вторых...» Во-вторых, скажем правду, пусть сладкую, но правду, нечего ее стесняться - не всем дано. Дар стихосложения или живописи, мастерство машинистки или мясника, талант торговца или воина выпадает не каждому. Так и дар божественной интуиции достается лишь людям незаметным, но интересным, одиноким, избранным. И пусть накрепко позабыт бином Ньютона, ненужный при скудных подсчетах наличных и долгов, пусть место в обществе соответствует скромному рождению от нежеланного зачатия, - Петров знает главное, он понял суть вещества жизни, в центр невидимой мишени попал. Клепаный гонобобель!

Прошло еще несколько дней, и восторг Петрова от удачного определения понемногу угас. Как все, что нельзя съесть, надеть или использовать иным образом, определение выглядело совершенно бесполезным в упорной борьбе за существование. Практические же выводы из него следовали самые неутешительные. В клепаном гонобобеле могут быть только клепаные, краденые, унылые радости; клепаный гонобобель напрочь лишен доступного чувствам смысла, клепаный гонобобель не подчиняется Богу, он не был сотворен среди плодов земных и не содержит божественного дыхания. Силам же inferнальным также не находится простора в эксcrementальном гонобобеле, он попросту мелок для дьявола,

этот печальный плод. Интерес, вдохновение, познание истины – ничто в гонобобеле, он закрыт и темен, долог и безвкусен. Когда Петров вечером возвращался домой и видел огромные дома, горящие каждым окном, – и значит, семьи собрались вокруг учителя своего – телевизора, – ему хотелось плакать и петь. «О, сколько нас! – думал Петров, переживая восхитительное чувство единения со всем народом, спрятанным в освещенных квартирах. – Мы все семечки одного плода. Мы глушим друг друга, но прорастаем детьми, наследующими наши огороды». И понимал Петров, что он всего лишь болван, достаточный для труда, но дальше думать уставал и стеснялся. Возможно, где-то существовала жизнь, отличная от жизни Петрова, прищученной великим его определением. Возможно, эта жизнь была красива и беспечна, удобна и счастлива, но Петров не видал ее и представить себе ее не мог. Разве что в красивых зарубежных фильмах можно было увидеть нечто подобное, во вкусных киносказках, где одежда каждого нищего изящно сшита из благородных материалов. В стране Петрова в транспорте утром и вечером толкались пожилые сердитые Золушки, не обученные менюэту. Каждая из них пожизненно верила в свою счастливую судьбу, но твердо знала, что судьба безнадежна. И вера их, и печальное знание делали воздух вокруг их тел тяжелым и густым. А Петров, надышавшись злобными флюидами в толпе, чувствовал тошноту, будто гонобобеля нажрался. Сын, внук и правнук наемных рабочих, Петров не знал, является ли постоянный вкус гонобобеля во рту наследственной чертой, вроде длинного подбородка или дворянского носа с горбинкой, или это вкус приходит в результате собственного наемного бытия, но исследовать это у Петрова не было ни возможности, ни умения. И придя к страшному определению своему, он не переменялся, не стал выдающимся оратором, служащим у правящих раздатчиков благ, либо мастером, удовлетворяющим чужие дорогостоящие потребности. Он остался тем же Петровым, что и был; Петровым, определившим свою жизнь двумя бранными словами. Конечно, в тайнике души своей Петров не верил словам, даже определяющим жизнь. Иначе принятые сердцем слова убили бы его однажды ночью, а в следующем перерождении душа его упала бы в тело собаки, дерева или князя. Но нет – он не верил никаким словам, даже своим. И заставив себя забыть их, он жил еще долго, и дни его разворачивались в точном соответствии с великим определением Петрова. Изгнанные же мозгом слова не ушли навсегда, и на ближайшем пикнике с водкой, устроенном

коллегами Петрова непосредственно на рабочих местах, он, приняв второй стаканчик и протерев глаза, нарек сидящего справа от себя товарища клепаным гонобобелем, на что тот чрезвычайно обиделся и полез в драку. Но выпитая водка лишила удары точности, а затем вмешались другие участники пикника и утихомирили, а после и искренне примирили дерущихся.

К ЧИТАТЕЛЯМ И АВТОРАМ КОНТИНЕНТА

В связи с финансовыми и организационными трудностями редакция нашего журнала вынуждена окончательно перебазироваться в Москву.

Начиная с № 72-го Главным редактором «Континента» становится известный отечественный критик и литературовед Игорь Виноградов.

В. Е. Максимов берет на себя обязанности Издателя журнала.
Временный адрес московской редакции:

119034, Москва, ул. Рылеева, д. 23, кв. 59.

Из-за переезда «Континента» в Москву мы вынуждены ликвидировать свой склад, где скопилось некоторое, **весьма ограниченное** количество разрозненных номеров журнала с № 2-ого по № 65-ый.

В связи с этим Редакция устраивает распродажу этих номеров по минимальной цене: в США – 2 ам. доллара, в Германии – 3 н. марки, во Франции – 10 ф. франков, во всех остальных странах – в эквивалентном соответствии.

Пересылка за счет заказчика.

Редакция «Континента»

Наш адрес: KONTINENT 16, rue Lauriston 75116 PARIS, FRANCE

КОНЦЕРТ ДЛЯ МЯСОРУБКИ С ОРКЕСТРОМ

– А зачем мне все это надо? – Надо...

Из талмудической дискуссии

«Пробудись!» - слышу я со всех сторон.

Но глаза не желают открываться, а в мозгу поселились какие-то нефтяные шейхи на болоте.

С самого начала все идет вкривь и вкось, без нажима приближая миг, когда нужно делать ручкой, окончательно упустив главное, ради чего меня сюда заслали.

Стол - деревянное существо на четырех ногах, мясорубка - прожорливое металлическое устройство, я - тот, кто здесь и сейчас говорит «я». Сказать «я не существую» - все равно, что сказать «я лгу» или «я молчу». Слова свидетельствуют против самих себя. Но если я через секунду буду молчать, через два дня - лгать, то, может, через сколько - то лет не буду существовать?

А все же - существую ли я сейчас? Темное дело.

Туман стоит над землей, змеи ползут по ложбинам, и собаки лают вдали.

Начинался день, люди открывали глаза, удивляясь, что все еще живы, хотя давно уже не имеют на это права, и солнце осторожным движением просовывало лучи в стыдливую зелень микрорайона. Люди бродили по квартирам и аллеям, выпадая в осадок на троллейбусных остановках и заряжаясь живительной энергией от кожаной солидности портфелей. Наш герой влез в троллейбус, вместе с пассажирами наощупь искавший выход из микрорайона в широкое пространство, предоставленное нам для жизни. Наконец, выход был найден, машина устремилась вниз по горке, и путешественники всплыли к потолку салона, лишившись вида за окном: лозунга «работать надо, а не пятки чесать», ржавой трубы, районного концлагеря... Но внизу ждал их город - рай туриста, город, построенный по заказу начальства столетней и двухстолетней давности, безусловно, несколько более культурного и порядочного, чем нынешнее, и местные жители, гуляя по улицам, уважали себя, бормоча

при этом слово «духовность». Не то - наш герой: был он настолько худ, что на больших площадях пространство колыхало его, как ветер колышет камыш, а среди домов с колоннами и кариатидами что-то сжимало ему виски. Среди всех старых и новых зданий интересовало его только одно - место, куда следовало подать прошение, если очень уж хотелось взбунтоваться и быть заклеянным позором. Он прошел мимо торжественно - враждебного привратника и направился к человеку в погонах, к которому впервые появился несколько месяцев назад, нахально произнеся: «Хочу уехать в другое место, там, надеюсь, будет мне лучше». - «Фамилия?» - спросил человек, интонацией заноса нашего героя в невидимый черный список... Вот и сейчас он пришел сюда, к этому самому человеку, заготовив в голове (правда, без намерения произнести) прекрасный пассаж о праве покинуть даже свою страну, а тем более - чужую, и уж давно - чужую, без достаточных оснований притворяющуюся своей. Но тот поднял на него усталые глаза и произнес: «Вам разрешение».

Например, чему это подобно?

Один царь, будучи еще ребенком, слышал от пастухов мелодию. Прошли годы, он вырос из детства, женился, и вся ерунда взрослой царской жизни заполнила его душу. Но как-то раз, недосмотрев за собой, царь вдруг припомнил, что было детство, и была мелодия. Что же то за мелодия - он не мог вспомнить, потому что душа его безнадежно была забита прошедшими годами.

Тогда царь призвал к себе музыкантов и приказал играть все известные им мелодии - пастушеские и другие. Так он и сидел целыми днями, музыканты играли, а он слушал и приговаривал: «Не то - о!»

Нос его при этом чувствовал запах плесени, а уста, привыкшие к царским яствам, вспоминали один лишь вкус картошки.

Вы помните, сударыня, нашу мясорубку?

Ей было столько же лет, сколько и Вам, и однажды я нежно и бестактно назвал ее старушечкой, на что Вы обиделись, приняв на свой счет. Ржавая она была, как советский строй, и упрямая, как еврейский народ. Мясо застревало между лопастями, и я чувствовал, с какой болью увязают в нем ее челюсти. Куски бывшей курицы или коровы тоже кричали от боли, но вопля их не было слышно. То, что потом шло в пищу, проходило прежде очищающую школу страдания. Единоборство с мясом укрепляло мускулы, и мы говорили: «Крути котлеты - станешь атлетом».

А здесь у меня нет мясорубки. Как-то не нужна.

В этой квартире на стене висел плакат, призывающий кого-то для неясной цели отпустить чей-то народ. Старшие бродили по комнатам, прикидывали, когда Черноморск станет вольным городом, а садясь за стол, писали письма, где пытались беседовать со щукой о демократии. Юный Н. Н. зато интересовался более серьезными вещами и приставал к проходящим, говоря: «Вот я вам псалом прочту, это такой кайф!» Никогда не забуду я его слов: «Вчера со мной случилось очень приятное чудо». Чудо состояло, кажется, в том, что старшие в субботу пошли что-то покупать, но магазин оказался закрыт, и они вернулись домой без греха. Теперь я понимаю, что жил в стране чудес.

Зато на праздники там вкусны были рыбные котлеты, и еврейский музыкант старательно общался с трубой, воссоздавая запрещенный танец «семь-сорок». Юный Н. Н. поднимался из-за стола и произносил: «Давайте поговорим, а потом поедем».

Зачем я обращаюсь к Вам, сударыня? Зачем вообще обращаются к женщинам по всякому поводу? Ведь и там, откуда мы уехали, простонародье едва ли не каждое слово посвящает неведомой Распутнице, речью своей творя ханаанский культ плодородия, и воздух сотрясается от множества немыслимых совокуплений. Глокая Куздра, богиня, штеко бодланувшая Бокра и даже на расстоянии кудрячащая меня, сына Бокрова, поистине ты правительница того края, где важен не смысл, но форма, не корень, но приставка и окончание, где, сколько я себя помню, гармонически уживались покупка из-под прилавка и чтение между строк, а там, где положено быть вещам, смыслам, текстам, торжественно помещались речь Генсека, паутина и частичка в томате. О Владычица, в неизъяснимой своей глокости заставляющая меня говорить на языке водки и снега, тюрьмы и дворца, на языке лучшей в мире юкагирской классики с существительным «человекооленеубийство» и глаголом «двигаться от задней стенки яранги к передней»! Не правда ли, судьба рабов твоих раз и навсегда записана в шаманских чередованиях гласных и согласных, в глагольных приставках, образующих совершенный вид с произвольностью приговора «тройки», в словах, вполне обходящихся без корней, заменяемых знаками универсальной сексуально-агрессивной символики, так что мир превращается в огромный бардак, где бесчинствуют пьяные солдаты?

Я всегда мечтал о языке, относящемся к русскому, как идиш к немецкому.

Он играл в поддавки.

Сперва с военными и штатскими, афишируя перед ними сокровенное, интимное желание, до поры до времени хранимое в грудной клетке где-то поблизости от пищеварительного тракта, желание неприличное и возмутительное, как сепулька без жены, и возбуждающее, как номер журнала «Плейбой». Профессионал, отец семейства, порядочный человек превратился в назойливого эксгибициониста, вместе с кучкой себе подобных докучавшего милиционерам, делегатам съездов, академикам, писателям, мореплавателям и сантехникам. К счастью или к несчастью, все поименованные не дали ему слишком долго играть в эту игру, и началась новая.

Подобно большинству отъезжавших в мое время, наш герой на несколько недель превратился в Остапа Бендера, заработавшего миллион на продаже Отечества и домашнего хозяйства. Он играл в поддавки с официантами, грузчиками и таксистами, раздавая им казначейские билеты, про которые лживо сказано, будто они обеспечены всем достоянием Союза ССР, и билеты Государственного банка, обеспеченные сокровищами Али Бабы. Он, прежде судорожно пытавшийся удержать испаряющиеся деньги, теперь стремился, чтобы их поскорее у него забрали, по возможности дав что-то взамен. Но перед рестораном все равно стояла очередь, а такси два часа везло его к дому через зимний город, а то и вовсе не находилось.

Автомобильные гудки плыли в тумане, таком густом, что можно было продавать вразлив в гастрономическом магазине, и наш герой, выйдя из дому, осторожно переставлял ноги по остекленелой земле и размахивал чемоданчиком, словно танцуя какой-то новый танец. Входя в метро, он слабел от теплого воздуха, но преодолевал себя, проскакивал через турникет, не ожидая, покуда тот щелкнет голодной пастью, и доверял свое тело пищеводу эскалатора. Подземные ветры мотали его из конца в конец огромного города, сталкивая с грузчиком Сашей, на каждую новую мысль отзывавшимся словом «стольник», и наш герой без сожаления отдавал стольную, столичную эту бумажку; с друзьями, отказавшими ему в понимании, но не в чашке чая с лимоном; с дядькой Шапиро из Трускавца, уезжавшим в обиду на власть, что отобрала у него самогонку; наконец, с низкорослым, щетинистым рабочим, зачарованным тайнами народа Израиля и говорившим герою: «Что это вы, еврей, с собой столько полочек везете? Или там дефицит какой?»

И вот однажды он ехал в такси, включено было радио, диктор

рассказывал о своих предках, произошедших где-то на Русской равнине, и наш герой подумал: «Очень приятно, что вы произошли, а у меня завтра вылет».

...А потом меня заморозили в холодильнике и отправили в Багдад...

Молодой Д. Ф. сидит на диване со старшим Ф., играет на гитаре и поет:

И я шел вдоль рядов закрытых дверей,
По стенам темнели обои,
Мне казалось, что только один я еврей,
Ну, а все остальные - гои...

Еще раз:

Мне казалось, что только один я еврей,
Ну, а все остальные – гои.

И дальше:

Мне казалось, что только один я хорош,
И мечты мои были хрупки:
Мне хотелось купить в магазине нож,
А в продаже - одни мясорубки...

Еще раз:

Мне хотелось купить в магазине нож,
А в продаже – одни мясорубки.

И наконец:

И закрытые двери до края земли,
А вдали пространство светлело,
И я точно знал - в этой светлой дали
На меня заведено дело...

Еще раз:

И я точно знал - в этой светлой дали
На меня заведено дело.

Старший Ф. какое-то время сидит молча, потом ухмыляется и произносит:

«Восторгаясь и зверея, я открыл в себе еврея».

Входит юный Н. Н. в черной шапочке, оглядывает присутствующих и спрашивает:

«Как жисть?»

...А потом меня закатали в консервную банку и послали в Калькутту...

Заря только-только занималась над Ближним Востоком, а

пожилой хмурый дворник Абу Саид уже подметал пешеходную зону Ришон-ле-Циона. Маневрируя со своей тележкой между скамейками, он вспоминал одну давнюю историю, случившуюся в их деревне еще при иорданской власти, и параллельно в каком-то другом отсеке мозга жаловался самому себе на безденежье, постигшее его семью в последние месяцы. Одновременно его племянник Муса ворочался на кровати в одноэтажном бетонном доме напротив мечети в деревне Азун, что в десяти минутах езды от Кфар-Сабы, вспоминая, как вчера вечером запустил камнем в краснобокий автобус с золотым трехзначием «Эгед» над передним стеклом, как загремел камень по обшивке автобуса и как сам он благословил давшего длинные ноги некоторым существам. Зато Эли Марциано из Мигдаль-ха-Эмека на постели не ворочался, хотя и мычал; ему снился банковский минус, извивающийся, как змея. Супруга его Мирьям, урожденная Леви, спала без сновидений.

В это время Шауль Табачник из Рамат-ха-Шарона мерз в чине сержанта на ночном дежурстве к северо-востоку от Кирыт-Шмона, а в кибуце Эйн-Шемер иностранный доброволец Витторио Вольта в полудреме вспоминал родную Болонью и родительский дом в старой части города неподалеку от знаменитых «Двух башен». В Нетании в то же время Саша Цейтлин сидел на диванчике, держась рукою за челюсть, и думал, откуда взять деньги на зубного врача.

Ну, а на иерусалимской улице Пророков уже разлеплял глаза Менахем Кишневассер, благодаря кого-то, что вот вернул ему душу очередной раз, а ведь мог бы и не вернуть. Тем же был занят Леви-Ицхак Фукс из Бней-Брака и еще некоторые люди в Кирыт-Малахи, Цфате и Иерусалиме.

В этот момент в Тель-Авиве неподалеку от Аялонского скоростного шоссе в огромную лужу, оставшуюся от вчерашнего дождя, въехало такси Нисима Азулая (Грета Рубин решила съездить к родственникам в Детройт, и Нисим направлялся к ней по вызову). Шофер крепче вцепился в руль и пробормотал страшное арабское ругательство, означавшее в переводе: «О лоно блудницы!» Тут над его головой проплыл самолет, в котором сидел наш герой, впервые глядевший сверху на ночной Тель-Авив.

...А потом меня пропустили через мясорубку и выпихнули в конец жизни...

Юный Н. Н. говорил:

«Главное – знать Божью волю. Знать, чего Он хочет, и выполнять».

(Что такое художник? Человек, берущий нужные краски и кладущий в нужное место...)

Царю Саулу вот было приказано уничтожить целый народ. Не уничтожил, уклонился. Последствия известны.

Меня всегда поражало, как юный Н. Н. в любом случае ухитрялся разыскать очередного раввина, заехавшего в наши края якобы для осмотра достопримечательностей, и получить нужные сведения. Ну, а сейчас с этим делом стало вообще просто...

Право же, ошибки царя Саула ему не угрожают!

...Сперва приснился комментарий Раши к Солженицыну – почему-то на французском языке.

Потом на улице Ибн-Гвириоль поставили плюшевое кресло, в него уселась Алла Пугачева и начала соблазнять. «Эх-ма, учинанс!» – произнес кто-то над головой.

Встал, подошел к окну.

Во дворе томился воздух, принесенный ветром из аравийской пустыни, ветром – террористом и диверсантом, не признающим границ и сводящим людей с ума.

Серые, хриплые огни освещали двор и чужие автомобили.

Жуткая вещь.

Учинанс.

В те дни танец «семь-сорок» и правда был запрещен. В газетах за весь год он был упомянут лишь раз, причем в контексте неуважительном: пропить под «семь-сорок». В соответствующих науках такое явление называется *haraх legomena*. Рассказывают о некоторых молодых людях, в сочинском ресторане пытавшихся заказать сионистский этот танец, но оркестранты не соглашались ни за какие деньги и лишь после долгих уговоров исполнили «фрейлехс», вдобавок начиненный мелодиями советских композиторов. Все это я сообщаю специально для будущего историка в pendant к газетной информации. Другой источник, более достоверный, поведал автору, как на гастролях в Одессе в каком-то кафе попытался сыграть «семь-сорок» на скрипке. Тут же к нему (источнику) подошел местный начальник по культуре и сказал: «А в нас этохо нельзя ихрать» (фонограмму высказывания я потерял при очередном переезде, но вы можете догадаться, как оно звучало...). Что касается нас, то мы себе позволяли «семь-сорок», как новый репатриант – превышенный банковский минус, позволяли по необходимости и относительной безнаказанности. Тем не менее, у других людей телефон время от времени отключался просто так, а у нас – с какими-то

сатанинскими хрипами, под окнами во время наших сборищ стояли подозрительные машины, а таксист, отвозивший меня домой, только что не подмигивал.

Я обманул Вас, сударыня!

Мой герой Д. Ф. никогда не умел играть на гитаре, а я и сейчас не умею. Иначе написал бы, изобразил, как Д. Ф. держит рукою гитару за гриф (грифель?), а другой рукой (левой? правой?) перебирает серебряные струны... Хочу писать только о том, что знаю, хотя не всегда удастся. Мой герой в детстве был хилым еврейским мальчиком, я, кажется, тоже, и в школе меня угнетали хулиганы. По всем канонам мне надо было возмутиться, пойти в кружок какой-нибудь национально-освободительной борьбы, накачать там мускулы, показать на деле, кто чего стоит, и остаться атлетом на всю жизнь. Но я настолько не ощущал своих обидчиков существами, сравнимыми с собой, что отвергал такую возможность как занудливую революционную пропаганду и спешил попасть в дом, чтобы усестись за чтение книг, ни у одного нормального человека моего возраста не вызывающих интереса. Во мне пропал ешиботник, худой и бородатый, смотрящий на мир ошалелыми глазами и всем его благам предпочитающий разбор актуального вопроса о порядке храмовых жертвоприношений. Поэтому здесь меня не раздражают те, кому положено раздражать всякого приезжего и местного человека, но и одним из таких мне уже не стать (иначе давно стал бы). Для этого я слишком вырос из детства, идеи Любавичского ребе и других гениев современности безнадежно забивают мои внутренние фильтры, отчего у меня склонность к бронхитам. Что с возу упало – то пропало, и стать другим для меня сейчас так же трудно, как...

...и по ночам мне не дает уснуть
Тот край, где кошки серы, ночи белы,
Где в моде то Растрелли, то расстрелы,
И я глотаю собственный свой крик
И говорю, что это все от скуки...
Любовно изнасиловав язык,
Поэт идет в санузел вымыть руки.

КОММЕНТАРИЙ: без комментариев.

- Откуда мы это знаем..? - Как это откуда?
(Вавилонский Талмуд, Саннхедрин, лист 68б)

СВЯТОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ

Мнится мне, что мы привезли с собой старость, болезни, а здешние люди не старятся. Мы привезли родителей — умирать, а здешние не видно, чтоб умирали. Мы разорили мир наших старших, и это хуже, чем собственный наш разоренный мир. Зато теперь, воспарив и зависнув, как персонажи Шагала, — в неисчерпаемом зное этой страны — можем святить разоренное и отводить ему вечность.

Со многим в себе надо смириться, не геройствовать зря. Но есть задачи столь же насущные, сколь и святые. Можно служить и совершенствовать службу. Можно служить своим близким, их памяти. Если однажды это пришло на ум, нельзя пренебрегать этой подсказкой. Нужно вслушиваться в себя, это дело первой серьезности. То, что нам говорит — голос неотменимый, и если мы по рассеянности и нерадивости забываем о нем, нужно вернуться и впредь не спешить, двигаться медленно — или остановиться совсем, чтобы окинуть взором себя, от самых начал. И самые эти начала — родители, наши предтечи.

Родители святы не потому, что они дали жизнь, и не потому, что они праведны, — не праведны, да и дело не в том. Родители потому святы, что дали нам связь с первоосновами: любовью, поэзией, милосердием. Они смутно ходят еще молодыми тенями в первом свете моего сознания и после — всюду сопровождают меня. Собственно, они вечны в космосе моей жизни, и потому над ними веют мои благословения, и между нами завет любви.

О том, что предстоит расставание, я помнил всегда и готовился к нему исподволь. Эта моя подготовка не пропала бесследно: мысль, по форме своей отрицающая, имела в себе положительную основу. Я привык останавливать время (свое, разумеется, а не то, что, как солнце в небе, остановил Иисус Навин). Возвращаясь домой вечером и видя профиль отца в окне кухни (он часто готовил мне ужин), я бессловесно молился. Этот профиль и остановлен мною навеки в этом окне по известному дальнему адресу, остановлен еще тогда, когда все было текуче, когда святости, как мог-

ло показаться, мешало каждодневное существование моего дорогого отца. Я тогда уже знал, что наш мелкий быт превращается в сущее и насущное бытие, в неотменимую жизнь, пренебрегающую инфарктами, старостью, глупостью волевых решений. Это был мой оплот: я выходил оттуда и стремился туда.

Все обстоятельства жизни я поделил бы условно надвое. В одной части — те, что мы создаем себе сами. Это выбор профессии, это женитьба и все, что затем из нее вытекает (даже и дети), ну и другое в этом же роде. В поле таких обстоятельств играют сомнения, гордость, упрямство, азарт, любопытство, скука и проч., проч. В другой части то, что нам дано изначально, и это порядок куда более высокого свойства. С первого взгляда можно решить, что именно наоборот, что избранное выше природного, так как участие воли — это вмешательство высших начал. Но когда дашь себе труд поразмыслить над малостью волевых деяний — в сравнении с царством природы, тогда примешь другой порядок вещей. И когда дашь себе труд разобраться в себе, то увидишь, как мало значит рассудок и как много — чувство. А дальше все свяжется с тайной рождения и первых начал и с догадкой, что это ты тот человек, что был извергнут из рая.

Благодарение Богу, есть музыка и поэзия, берегущие нашу духовность и выражающие ее. Когда говорят о религии, то я не знаю, что это такое. Полагающее закон предание, в лучшем случае — метаязык, то бишь инструмент, а инструмент не дает в ощущении самой вещи, она — производное, она как бы не стоит труда, и речь не о ней. Она не берется в расчет. Но она-то именно явна, непереводаима, самодостаточна и не требует доказательств. Можно ли спорить с романсом Чайковского, Рахманинова? "Благодарю вас, леса" или "Сирень" суть создания живого духа, и они на той высоте горней, откуда открывается вечность. И когда ты дитя, музыка объемлет тебя без опосредования, как плацента и как родительская любовь.

Родители обитают в таинственной светотени левитановской осени, в запахе снега и прочих вещах, постигнутых в самом начале.

И если еще подумаешь о себе, о своей памяти, и коснешься довременного, бывшего до тебя, то и это пройдет через них. Личное, то есть подлинное чувство истории они транслировали тебе, отдавая себя: крупницы их жизни оторваны этим потоком, чтобы осесть в тебе, войти в твой состав. И в этом родители не умрут, пока жив ты.

А когда они немощны, ты берешь на себя это бремя — порой

сетуя, но в минуты покоя отчетливо понимая, какое благо тебе дано. Потому что обязанность делать для них — твое благо. Быть может, из самых больших. И надо себе пожелать эти заботы на долгие годы.

На новой земле родители съезжились, сократились. История, прежде несомая гордо, померкла и потонула в тускнеющей глубине глаз: не раз и не два новая жизнь отменила смешную прежнюю гордость, критерии, ранги, заслуги. Им уже нечем крыть, только-то и всего, что они старики, это и все. Они робко тянутся к нам, свидетелям их человеческой стати, но мы не имеем ни сил, ни достоинства, чтобы восстановить их в правах — хотя бы в своем закутке, хотя бы в семье. Мы сами не верим в эти права, по крайней мере, не знаем, к чему их приложить. Мы не умеем связать прошлое с настоящим и отрекаемся от себя — где ж набраться нам сил и ума, чтобы спасти стариков? И когда они тихо уходят от нас, в наступившем безмолвии веет сквозняк — пустой такой ветерок, прежде почти незнакомый. Это покров их любви истончился над нами.

В обычном раскладе жизни они умирают раньше и дают нам еще одно отношение — отношение к смерти. Прежде страшная и отвратительная, смерть через них придвигается к нам вплотную — и не холодом дышит, а тайной надежды. Там, где теперь наши родные, не страшно, там свято и как бы тепло: они теперь там. Это перемещение жизни, ее распространение. Над телом родного человека перерождаешься навсегда и открываешься вечному миру. Нет больше ни жизни, ни смерти, есть что-то другое, вбирающее и прежнюю жизнь, и прежнюю смерть. Что это? Я не знаю.

Так ведь и с нашим переселением в эту страну: уже мы не прежние, какими были в той жизни, но кто мы в этой — без своего прошлого? И вправду, как будто зависли, парим. Что, если на этом парении и подсчет миг последний? Какими предстанем перед лицом того, кто всему дает меру? Помните, Гамлет не хочет убить Клавдия в момент молитвы: не хочет, чтоб тот предстал перед высшим судом не погрязшим в грехе, а чистым. Стало быть, верит в "дискретность" нашего бытия: будто на всяком срезе мы являем свою полноту. Хороша полнота зависшего человека...

А может, и хороша. Может, когда нет ни спеси, ни шор, ни собственности, когда вырваны корни — может, тогда мы и хороши в свою полную меру. И тогда остается одна только первопричинная связь, и она названа.

Да будут благословенны родители.

СТИХИ

Дома ложились спать, зевая,
Устав от выюг и холодов,
А у последнего трамвая
Звезда упала с проводов.

Он просто шел неосторожно,
Чуть покачнулся - и беда,
Но что появится звезда -
Представить было невозможно.

Она лежала и светилась
Средь навалившихся снегов,
Собою нам являя милость
Трамваем ведавших богов.

Но кто-то по делам спешил,
Был путь его упрям и гладок,
Он вдруг увидел непорядок -
И наступил, и потушил.

Но не заметили вокруг,
Прильнув к мерцающим экранам,
Что стал неправильным и странным
Земных огней привычный круг.

И лишь трамваю долго снилось,
Как, обрывая провода,
Летела все и все светилась
Неосторожная звезда.

Шереметьево

Шереметьево. Дальние страны
Непривычно горят на табло.
Мы свои потрясения и раны
К самолету несем под крыло.

Может, эта железная птица
Нас утешит отныне и впредь.
Чемоданы. Таможня. Граница.
Вот и все. Вот и надо лететь.

Бесконечно мгновение длится,
Повисают в пространстве слова.
Нас дождем провожает столица.
Вот и все. Оставайся, Москва.

Вот и все, и не нужно сердиться,
Край разбитых дорог и берез.
Это ливень нам вымочил лица,
Это капли дождя, а не слез.

Это просто беда и усталость,
Эхо гулкое древних обид.
Вот и все, что меж нами осталось.
Вот и все, что меж нами болит.

* * *

А я кричу почти из забытья,
Почти из измерения иного,
Почти из сна кричу, в котором я,
Лишь ночь придет, оказываюсь снова.

Во сне моем - печальные снега,
Чуть слышный плеск старинного парома,
Прозрачный лес, речные берега
И горький запах смерти и погрома.

Во сне моем - июльская гроза,
И бесконечный путь средь бездорожья,
И скрипки плач, и детские глаза,
И тот огонь, в котором искра божья.

Пусть светит он средь бед и суеты
Необъяснимо и неотделимо,
И в такт ему мерцает с высоты
Библейская звезда Иерусалима.

* * *

Мы - беженцы, мы - погорельцы,
Наш путь потерялся во мгле.
Поэты, артисты, умельцы, -
Кому мы нужны на Земле?

Не знаем ни края, ни срока,
Не ведаем, что впереди,
И вечная тайна Востока
Занозой засела в груди.

Когда безъязыко и немо
Мы смотрим в небесную синь -
Молчит иудейское небо
Над вечным молчаньем пустынь.

Мы вырваны с корнем, и все же
Так хочется верить, что нас,
Великий неведомый Боже,
Не просто ты вывел, а спас,

Что в этой земле не случайно
Останутся наши следы,
И смутная вечная тайна
Не станет знаменьем беды.

СТИХИ

Ну не юродствуй Слово будет ждать
во всех предметах стихнет притаится
уйдет в себя Что толку убеждать
бумагу в том что я похож на птицу
на облако на сердце из камней
иль на верблюда Гамлету не спится

Ведь не поверит Все же горячусь
белеет нос и прыгает косица
Вот вот скажу «О птица-тройка Русь»
и остается встать и удавиться
Бесстрашным гоголем прищелкнуть языком
который мне уже не пригодится

* * *

«Впустую все» мне шепчут целый день
прохожие дома автомобили
Я забываю их они меня забыли
И взгляд туманится и пропадает день
по кабакам Пустая голова
похожа на талантливый рисунок
И как Юдифь с брезгливостью несу я
раскрытый рот и мертвые слова.

* * *

Проснувшись я подумал о тебе
Был нежен день и снег лениво падал
и ровный свет был сам себе наградой
за ясность тихую в умолкшем ноябре
Теперь зима В себя уходит день

Наглеет время прожитое даром
стуча в висках и шепчет что-то с жаром
все о тебе родная дребедень
Наверно лишний я в своей судьбе
Уже темнеет День вслепую выпит
Бесцельным сердцем к простыням прилипнуть
и засыпая вспомнить о тебе.

КНИГОТОВАРИЩЕСТВО „МОСКВА - ИЕРУСАЛИМ“

Тель-Авив 61440, п/я 44050, тел. 03-394525

предлагает

ЗАГАДКИ ЕВРЕЙСКОЙ ИСТОРИИ (сборник) 250 стр.
Нерешенные загадки, странные факты и увлекательные гипотезы – таков спектр тем этого первого в своем роде сборника, в центре которого – первый перевод на русский язык знаменитой книги З. Фрейда «Моисей и монотеизм» и первое на русском языке изложение всемирно-известных книг И. Великовского.

ЕВРЕИ И ЕВРЕЙСТВО (сборник) 180 стр.
Сборник оригинальных (А. Волин, А. Воронель, М. Каганская, И. Рубин и др.) и переводных (М. Бубер, А.-И. Гешель, Э. Фромм, А. Штайнзальц) работ, вскрывающих уникальность и смысл еврейской истории и национального характера.

АЛЕКСАНДР ВОРОНЕЛЬ. Трепет забот иудейских.
Изд. второе, исправленное. 207 стр.
Художественно-философская проза, запечатлевшая опыт духовной биографии еврейского интеллигента из России, его размышления об особенностях еврейского национального характера, о связи и противостоянии русской и еврейской истории, о судьбах русского еврейства.

СТИХИ

Спасительна всякая вера,
Хотя бы всему вопреки...
Уж если мы знаем Гомера,
То пламя слабее строки,

Но рукописи горят,
Горят, как и прежде горели,
В колодках идут менестрели,
Поднявши ладони лопат,

Идут по планете зеленой,
От голода странно легки,
Увенчаны звонкой короной
Проклятой сибирской мошки.

* * *

Удачливость - невидимый порок,
Он внутрь себя мешает обратиться,
Успеха золотая колесница
Летит вперед, не ведая дорог!

В душе гремит один и тот же марш,
А голос сострадания неслышим...
Хвала переплывающим Ламанш
И слава всем, его не переплывшим!

* * *

Никто не вправе нас винить
В том, что не вышли мы в герои,

Что за чугунную горою
Надир смещается в зенит.

Ложится мысль на полотно,
И так тревожно отчего - то,
Что безопасность и свобода
Не есть понятие одно.

* * *

Когда судьба покатится назад,
Когда тоска охватит горло туго,
Когда не знаешь сам – кого спасти,
Любимую, надежду или друга,

Когда отшелестят календари
И темнота пойдет перед глазами,
И принесешь ты все, что сотворил,
Тому, кто раньше был неосязаем,

То разлепляя губы, словно струп
Срывая с кожи розовой и голой,
Он тихо спросит: «Темен ты иль глуп?»
И так захочется ответить: «Молод».

КНИГОТОВАРИЩЕСТВО „МОСКВА - ИЕРУСАЛИМ“

Тель-Авив 61440, п/я 44050, тел. 03-394525

предлагает

АДИН ШТАЙНЗАЛЬЦ. Контуры Талмуда (популярный очерк; пер. с иврита). 244 стр.

Созданный выдающимся религиозным философом современности и фактически первый за столетие на русском языке рассказ о сущности и особенностях Талмуда – этой энциклопедии еврейской мудрости.

ЛЕДИ Л.
(роман)

*Перевод с английского
Нины Воронель и Татьяны Карелиной*

Глава 1

Окно было открыто. Букет тюльпанов и роз, такой яркий на фоне прозрачной синевы летнего неба, напомнил ей Матисса - даже опавшие желтые лепестки были причудливо рассыпаны по подоконнику в предвидении вечной жизни на холсте. Леди Л. всегда терпеть не могла желтый цвет - любопытно, кто бы мог поставить этот букет в вазу китайского фарфора? Еще недавно ни один букет в доме не мог попасть в вазу без ее одобрения. А теперь она составила и отрешилась от многих прежних земных пристрастий. Когда-то ее сады как в Англии, так и в Италии были не менее знамениты, чем ее красота. Впрочем, все это было давным-давно.

Она сидела, откинувшись на спинку кресла, подложив под голову специальную подушечку, с которой не расставалась последние тридцать лет. Ей нравилась изысканная вышивка наволочки, изображавшая трогательное единение разнообразных страшилищ под мирной сенью ветвей райского сада. Рука ее опиралась на трость. Взгляд был устремлен за окно, туда, где над розовыми кустами, над кронами старых каштанов купол летнего павильона вырисовывался на умеренно-голубом фоне английского неба, белые перышки облачков на котором выглядели точь-в-точь как платья ее внучек - в полном согласии с последней модой и хорошим тоном. Ох, уж это английское небо, такое сдержанное и церемонное! Даже в дождь и грозу ему не хватало драматизма, оно всегда было склонно вести себя прилично. Это небо очень подходило вежливым англичанам, их благовоспитанным детям, их хорошим манерам. Впрочем, теперь это было уже неважно. Важно было только, чтобы это небо, бледное и неназойливое, как можно дольше оставалось тут, над куполом

летнего павильона. Павильон был построен в мавританском стиле, и потому воскрешал в ее памяти Босфор и Золотой Рог, нежно ею любимые когда-то. Она часто сожалела, что не Делакруа расписал стены павильона. Только его вдохновенная романтическая манера была бы здесь уместна.

«Боюсь, я так и не излечилась от романтизма», - подумала она. И опять улыбнулась, почти весело, сине-золотому куполу, взлетающему в небо над кронами старых каштанов, но глаза ее были полны слез. Как она состарилась! Сегодня ей исполнилось восемьдесят лет. Ее тонкие нервные губы еще хранили печать юности. Она всегда славилась своим блистательным остроумием, но и это было ей теперь все равно, потому что не для кого стало стараться, блистать и острить. Молодые люди все еще охотно болтали с ней и смотрели на нее с восхищением, - по крайней мере, те из них, которые еще интересовались женщинами. Но в наш век вряд ли осталось много мужчин, которые действительно интересовались женщинами.

Свет летнего дня, играя, скользил по ее лицу и стирал старческие морщины. Летний свет всегда был милостив к ее лицу - они были старые друзья. Зато ей самой собственное лицо стало противно, оно раздражало ее и портило настроение. Она понимала, что теперь она стала «очаровательной старой леди», и это было непереносимо: мало того, что столько лет ей приходилось выполнять все, что положено выполнять леди, теперь еще предстояло привыкать к этому обидному эпитету «старая». В ее сознании как-то не укладывалось, что ей уже восемьдесят лет, что старость настигла и ее. И хоть она знала, что ее лучистые черные глаза, ее точеный нос - который светская хроника называла обычно «аристократическим» - ее длинная шея, совершенная в своем лебедином изгибе, все еще привлекали внимание живописцев, она понимала, что в ней не осталось ничего, кроме стиля, а стиль может вдохновить только художника, но не любовника. «Господи, ничего от меня не осталось, - подумала она, - одни осколки - *des restes*».

Она все еще продолжала думать по-французски, хоть прожила в Англии пятьдесят пять лет.

Направо за окном она видела парадный подъезд своего дома с его тяжелыми колоннами и пологими ступенями, которые спускались вниз к газону, как волны серой лавы. Она никогда не любила этот дом и никогда не могла переделать его на новый лад. «Невозможно переделать то, что построил Ванбрук», - подумала она.

К дому медленно подкатил «роллс-ройс», из него вышел ее старший внук Джеймс, как всегда чинный и самодовольный. Леди Л. следила с неприязнью, как он восходил по ступеням со своим неизменным портфелем подмышкой. Джеймс был президентом Английского Банка, и так он и выглядел - президентом банка.

Она ненавидела портфели, президентов банков, семейные торжества и пышные дни рождения, но, конечно, всего этого нельзя было избежать, это было частью ее мести. Взгляд ее снова скользнул по кронам каштановых деревьев. «Так тебе и надо, - подумала она и погрозила тростью в сторону золотого купола. - Твой сын - нынешний герцог Глендейл. Твой старший внук Джеймс - президент Английского Банка, а если тебе и этого мало, что ж, пожалуйста: другой твой внук, Роналд - министр, третий, Антони, скоро будет епископом, а самый младший - Ричард, наименее успешный - все же дослужился до чина полковника, а ведь армию ты ненавидел больше всего, кроме, разумеется, полиции и богачей. Да, - подумала она, - ты получил по заслугам».

Из гостиной доносились их голоса, они все уже собрались там и поджидали ее со своим отвратным именинным тортом, удивляясь, почему она ушла так внезапно и что так долго делает тут одна. Откуда им знать, что она тут не одна. Что она вообще никогда не бывает одна. Она бросила последний взгляд на золотой купол павильона и поднялась из кресла - она терпеть не могла долгих прощаний. Она все еще сохранила пружинистый шаг и могла гулять часами, медленно, конечно, не так, как когда-то, в былые годы, когда могла без усталости порхать от одного чуда света к другому, не переставая радоваться, восхищаться, удивляться и любить. Но у нее всегда было сильное чувство долга, и с тех пор, как она вышла замуж, она честно соблюдала все правила игры, так что выбора не было - день рождения полагалось отмечать, пусть даже восьмидесятый. Она подумала, что это не слишком тактично с их стороны, так назойливо напоминать ей о ее восьмидесятилетиях, но у кого теперь есть чувство такта?

Пора было идти в гостиную, где ее внуки и правнуки собрались, чтобы поздравить ее. Она ни к кому из них не питала слишком сильной привязанности, кроме младшего, совсем еще юного - он был такой черноглазый и красивый, его она любила. Остальных она просто терпела. Ее сын редко бывал в Англии. «Надо наслаждаться этим миром, пока он еще достаточно продажный», - написал он ей в своей последней открытке из Персии. Все ее друзья умирали

молодыми. Гастон, ее любимый повар, позволил себе умереть, не дотянув до шестидесяти семи. Она подумала, что люди сейчас уходят из жизни слишком рано. Да не только люди, животные тоже. Она мысленно перебрала длинную вереницу любимцев, которых она пережила, - собак, кошек, птиц - их было много, больше сотни. Жизнь животных была слишком коротка, она давно уже отказалась от этой блажи - любить животное, потом терять его и оплакивать. Она отказалась от всех, кроме Старого Дурака.

Она распахнула двери и вошла в Зеленую гостиную - так ее называли и сейчас, хоть она не была зеленой уже сорок лет, с тех пор, как ее обтянули золотистым шелком и обставили бело-золотой мебелью в стиле Людовика XIV. Самой светлой и всепрощающей улыбкой без тени упрека - хоть она сбежала от их именинного стола больше, чем на час, - ее встретил, конечно, Перси, которого она всегда мысленно называла Старым Дураком. Она часто чувствовала, что в своей безмерной преданности он заходит чересчур далеко, - это было так эгоистично с его стороны. Старый Дурак, или, как другие называли его, сэр Перси Родинер, поэт-лауреат, умудрился пережить всех остальных ее любимцев, о чем она порой тайно сожалела. С возрастом он, увы, не становился умнее. Когда он поднялся ей навстречу, с чашкой в руке, с золотой цепочкой от часов, выходящей по полосатым брюкам, с белой гривой, выходящей над белым крахмальным воротничком, он напомнил ей другого юношу, которого она знавала много лет назад, - Ллойд Джорджа. Впрочем, тот бывал остроумен и дерзок, чего нельзя сказать о милом Дураке. Старый Перси был, пожалуй, единственный из знакомых ей писателей, кто всегда и во всем оставался абсолютно порядочным. Наверно, поэтому он никогда не написал ничего путного. Но самое смешное - более всего его прославил книга любовных сонетов, хоть уму непостижимо, что можно знать о любви, оставаясь при том безупречным джентльменом. Если б у него хоть были черные глаза, временами вспыхивающие недобрыми искрами, она, пожалуй, могла бы простить его английскую чопорность. Но глаза у сэра Перси были безнадежно голубые. И все же она привыкла к его неизменному присутствию. Если ей было грустно или тошно, она всегда могла мучить и дразнить его, и от этого на душе становилось веселей. Его жизнь оказалась гораздо дольше жизни всех ее любимых кошек, собак и птиц, и теперь, когда он стал такой старый, одинокий и бестолковый, в ней проснулась материнская потребность защищать и утешать его. Ему ведь было

уже почти семьдесят.

Улыбаясь напряженно-насмешливо, она пересекла гостиную и приняла чашку из чьих-то рук. Вся ее семейка была в сборе, и выглядело это отвратно. Она никак не могла поверить до конца, что все они произошли от нее, что это она произвела их всех на свет, и что без нее не было бы ни одного из этих двадцати, собравшихся вокруг именинного стола. Конечно, она не была полностью ответственна за них за всех, ведь она родила всего-навсего одного сына. Разглядывая их с любопытством, она отхлебнула глоток горячего чаю, и ей стало даже весело. Ведь не часто за одним столом можно собрать такое множество серьезных, ответственных и важных людей. Какое удовольствие было бы все-все им рассказать, думала она, прихлебывая чай; вот было бы здорово наблюдать, как искажутся их лица, когда весь их благоустроенный мир полетит к чертям. Она глядела на их серьезные лица, на их элегантные одежды, на хрупкие чашечки, из которых они пили чай, она слушала их пристойные вежливые голоса и тихо улыбалась, так как громкий смех был бы неуместен в этой бело-золотой гостиной. Ее месть была полной и завершенной, она выполнила в точности все, что задумала, и теперь было несущественно, что и как она сделает в будущем. Она могла бы даже завести себе любовника, если б этого хотела.

Она плотнее закутала плечи пестрой индийской шалью. Она любила кашемировые шали, а может, она просто любила, чтобы что-то касалось ее плеч. Поразительно, какими одинокими могут с годами стать плечи! В конце концов, ты и вовсе перестаешь ощущать их своими, словно они принадлежат кому-то другому, кто забыл их у тебя. Нельзя оставлять женщину надолго наедине с ее одинокими плечами, вдруг подумала она. Но, впрочем, жалость к себе не была ей свойственна, жалеть себя было так не по-парижски, а она была истинная парижанка и только парижанка.

Она заметила, что Перси стоит рядом с ней и о чем-то ее умоляет.

- Такая прекрасная жизнь, - прочитал он. - Такая возвышенная и благородная во всех отношениях. Вы должны, вы обязательно должны позволить мне написать вашу биографию. Это будет моя лучшая книга - быть может, единственная, которая переживет меня.

Это была одна из его любимых тем: он или умолял ее позволить ему написать ее биографию, или просил ее выйти за него замуж, что было с его стороны изрядной дерзостью, учитывая, какой он стал старый и жалкий. Она еще раз окинула его придиричьим взглядом, - господи, ну и развалина! Просто страшно подумать,

что с человеком делает время!

- Посмотрим, может, я и позволю вам когда-нибудь написать мою биографию, - сказала она. - Не сейчас, а попозже, когда я постарею. Сейчас мне всего лишь восемьдесят, так что наберитесь терпения.

Она закурила папиросу. Она любила курить. Она никогда не затягивалась, просто ей нравилось курить на людях - она никак не могла привыкнуть, что теперь никто ее за это не осудит. Дети окружили ее с подарками и поздравлениями, и ей, как и в прошлые годы, пришлось притворно благодарить и ахать от восторга. Она никогда по-настоящему не любила детей, а тот факт, что некоторым из них было уже под сорок, дела не улучшал. Детям положено оставаться в детской, а если их уже невозможно там удержать, им следует собираться в других местах, подходящих для их детских игр, - в банках, в парламентах, в военных штабах. А не то будут морочить голову и приставать с дурацкими вопросами - насчет ее здоровья, например, которое было гораздо лучше, чем у них у всех. Или занудно обсуждать свои проблемы, не стоящие выеденного яйца, - налоги, деньги, выборы. Нынешние мужчины не стеснялись говорить о деньгах при дамах, что раньше было бы просто немыслимо. А если не о деньгах, так о политике, обсуждая разных политических деятелей и даже называя их по именам. В ее время в ее кругу политических деятелей даже не упоминали, их просто не замечали. И не приглашали - только очень немногим удавалось проникнуть в приличное общество. А теперь даже американца могут пригласить к обеду. В дни ее юности, когда был жив ее первый муж, американцев вообще не было - их тогда еще не открыли.

Нет, дети были совершенно невыносимы! Один только младший правнук был ей по вкусу - такие прелестные черные глаза! Она любила посадить его к себе на колени и играть с ним, так чтобы эти черные глаза были обращены к ней, а она бы глядела в них и вспоминала... К черту, хватит, что толку в этих воспоминаниях!

Ей приготовили почетное кресло под портретом ее покойного мужа и пригласили фотографа. Можно не сомневаться, что завтра эта фотография появится в «Иллюстрированных лондонских новостях». Она была когда-то первой красавицей Европы, и имя ее было из самых знатных. Она знала безошибочно, как следует сидеть в этом старинном кресле - одна рука опирается на трость, на губах улыбка, величественная и нежная, идеальная прабабушка, окруженная внуками и правнуками, под собственным портретом в

молодости кисти Болдини - так, чтобы завтра каждый уважающий себя англичанин, разглядывая эту фотографию в своем клубе, почувствовал, что славное прошлое Англии еще не ушло безвозвратно. Она присмотрелась к фотографу, и он ей не понравился - этакий дурно воспитанный юноша. Он весь извивался от благоговения перед ней, он был почтителен до неприличия - он заставлял ее почувствовать свой возраст. Она сидела, величественно откинувшись в кресле, стараясь выглядеть такой, какой все они хотели ее видеть: прославленной, неподражаемой Леди Л. И, конечно, как обычно, ее выдавала улыбка. Ее знаменитая улыбка, которую пытались запечатлеть Саржан, Жак-Эмиль Бланш и Болдини. В ее улыбке таился намек на жестокость, но никто из художников не решился этот намек заметить - им слишком хорошо платили за ее портреты.

Что ж, порой она бывала беспощадна, однажды ей даже пришлось быть беспощадной до конца. Но ведь она была девушкой из просто-народья, *femme du peuple*, и не понимала любви без жестокости и насилия. Она никогда не была влюблена в джентльмена, и ей не пришлось встретить джентльмена, способного на жестокость и насилие в любви. Все они были либо размазни, либо зануды. Ей, конечно, попадались английские мерзавцы, но они были кто угодно - пьяницы, игроки, но только не бабники.

Наконец, ее сфотографировали, все поднялись с мест и в гостиной повис разноголосый праздничный гул. Ей подали еще одну чашку свежесваренного чая - это было единственное, что англичане умели делать толком.

Она сидела и смотрела на их серьезные лица, склонившиеся над чайными чашками, слушала их сдержанные голоса, произносившие вежливые банальности, и улыбка ее становилась все шаловливей, она с трудом удерживалась от смеха. Она просто умирала от желания все им рассказать. Вот был бы скандал! Увидеть их лица, искаженные недоверием, ужасом и стыдом. Но, конечно, она этого не сделает - ни к чему разрушать их надежное благополучие. Да и ей от этого никакой пользы, ей уже ни от чего не будет никакой пользы. Тем более, что они ни в чем перед ней не провинились - они выполнили все, что она задумала, достигли всего, чего она хотела.

И тут она услышала, как Джимми сказал что-то о летнем павильоне. И добавил:

- Там собираются строить новое шоссе, так что придется его снести.

- Глупости! - заявила она безапелляционно. - Я не позволю снести павильон.

- Но, бабушка, - возразил Джимми, - от нас ничего не зависит. Закон есть закон.

Значит, придется изменить закон, и все. Что, они не знакомы с полезными людьми, которые могут нажать на нужные пружины? К чему они ей вообще рассказывают об этом? Разве она не объясняла им тысячу раз, что павильон имеет для нее особое значение - она хранит там самые дорогие ее сердцу вещи. Ей необходимо ходить туда каждый день и сидеть там часами, наедине с ее воспоминаниями, наедине с ее прошлым. Но впервые с тех пор, как они завели речь о павильоне, ей не удалось прекратить этот разговор. Они настаивали, что выхода нет, что павильон придется снести и от парка отказаться. И тут она испугалась по-настоящему. Рука ее так задрожала, что пришлось поставить на стол чашку с недопитым чаем.

- Такого не может быть, - пробормотала она, запинаясь, - всегда что-нибудь можно придумать. Например, поговорить с премьер-министром?

Она оборвала себя на полуслове. Она вдруг сообразила, что прошло то время, когда ее влиятельные друзья заседали в правительствах и заправляли миром, когда любое ее слово выполнялось непререкаемо и любая ее проблема могла быть решена в одном из ее загородных поместий за обедом. Она пережила свой мир - она была еще жива, а он ушел в небытие. Она вдруг растерялась и почувствовала себя очень старой, но и старость уже не могла защитить ее, и старость теперь перестали уважать. Если уж ей придется отказаться от павильона, то и от жизни отказаться будет нетрудно - стоит ли жить в полном одиночестве? Жить в одиночестве она все равно не сможет. Но она не намерена ни о чем их умолять, ничего им объяснять. Да они и не поймут, они так напичканы условностями и правилами хорошего тона, что они могут знать о любви и о страсти? Ей просто надо хорошенько все это обдумать - неужто же нет никакого выхода? Леди Л. плотнее закуталась в шаль, резко встала с кресла и, не промолвив ни слова, быстро вышла из гостиной. Они остались там, озадаченные и огорченные ее внезапным бегством, она ясно представила себе, как они говорят друг другу: «Она становится слишком эксцентричной... Это понятно, она ведь такая старая...»

Старый Дурак, конечно, побежал за ней - он всегда бегал за ней, если только она специально не просила его оставить ее в покое. Он семенил следом, все еще держа в руке чашку с недопитым чаем, и утешал ее на ходу так отчаянно и влюбленно, что она остановилась на миг и улыбнулась ему сквозь слезы, застилавшие ей глаза. Она знала, что каждая ее улыбка была для него событием - он мог бы пересчитать их все по пальцам, так редко это бывало. Что ж, его можно пожалеть: он любил ее уже пятьдесят лет, такой срок нельзя сбросить со счетов. И при этом он был такой закоренелый сноб! Она вовсе не была уверена, что ему следует сказать правду - его старое сердце может не вынести потрясения, но другого выхода она не видела: она нуждалась в его помощи. Надо было действовать, и действовать быстро. Она не могла допустить, чтобы рабочие, которые явятся сносить павильон, вышвырнули оттуда все, что дорого ее сердцу. Кроме того, тем и хорош был Старый Дурак, что никогда не подводил ее.

- Дорогая моя...

- Бога ради, Перси, поставьте эту чашку. У вас руки дрожат, я не могу вынести это дребезжание, - она помолчала и придиричиво оглядела его. - У вас и коленки дрожат. Ей-богу, Перси, после стольких лет в приличном обществе вы так и не научились бесчувственности.

- А вы бы хотели плакать у меня на глазах, и чтоб мне было все равно? - обиделся поэт-лауреат. - Но в чем все-таки дело?

- Это связано с павильоном, но детям я не могу ничего рассказать. С них станет даже вызвать полицию. Не то, чтоб меня это очень пугало. Мне уже так скучно жить, что скандал мог бы меня поразвлечь немного. Но у меня в павильоне хранятся кое-какие ценности, которые я должна спасти во что бы то ни стало. И вы обязаны мне помочь. Кроме того - это история великой любви, и мне необходимо ее кому-нибудь рассказать, так почему бы не вам? Ведь вы умудрились написать тома любовных сонетов, так что вам не вредно узнать хоть что-нибудь о любви.

Дурак был совершенно подавлен. Он плелся за ней с поникшей головой, теребя на ходу цепочку своих часов и бормоча какие-то нелепые извинения. Они прошли через зал Буше и зал Фрагонара, спустились по лестнице и через зал Тьеполо - Тьеполо она особенно любила, - направились к южному входу. Она знала, что Перси

любил, чтобы она его обижала. Как и все плохие поэты, Перси обожал страдать. Вот уже пятьдесят лет он наслаждался трагедией неразделенной любви, и тот факт, что его избранница была одной из самых красивых женщин его времени, да еще вдобавок одной из самых знатных, придавал этой любви оттенок социального достижения. Его любовь должна была оставаться сугубо платонической, и, если бы хоть однажды она вздумала броситься ему на шею, он бы сбежал в страхе куда-нибудь подальше, например, в Швейцарию.

В павильоне она хранила самые разные предметы - беспородную мебель, дешевые картины, фаянсовые сервизы, и, когда ее спрашивали, как она, со вкусом которой считались лучшие картинные галереи мира, могла находить удовольствие в коллекционировании всякого хлама, она отвечала ясно и кратко: все эти вещи много значат для ее души. И вот теперь у нее хотят отобрать ее павильон, снести его стены и сравнять его с землей, чтобы ей некуда было больше приходить и проводить долгие часы в обществе любимых предметов. Она была полна решимости не уступать павильон без борьбы, и ей нужна была помощь Перси. А если павильон не удастся отстоять, что ж, помощь Дурака ей тем более понадобится: он, хоть и изрядно состарился, но все еще был достаточно силен, чтобы вынести оттуда кое-что, чего она никому больше не могла доверить. Так или иначе придется все ему рассказать. Другого выхода не было. Улыбка на миг скользнула по ее губам и осветила ее темные глаза. Это, пожалуй, будет даже забавно - рассказать ему все. Он придет в такой ужас!

- Перси, вам придется подготовиться к большой неожиданности!

Он семенил рядом с нею, нервно и испуганно подрагивая щекой. Он хорошо знал, что она непредсказуема. Его порой удивляли некоторые ее словечки, совершенно неуместные в устах столь знатной и благородной дамы, некоторые ее жесты, прямо-таки фривольные, - приходилось только диву даваться, откуда она могла их узнать, где научилась смеяться так несдержанно и вульгарно, именно вульгарно, другого слова и не подобрать. Впрочем, она всегда была склонна к эксцентричности, и, кроме того, она ведь была родом из Франции, а это многое может объяснить.

- О чем вы, дорогая?

- Это страшный, страшный секрет. Я даже не уверена, переживете ли вы то, что сейчас услышите. Как у вас с давлением?

- Я как раз недавно сделал все анализы... у сэра Хартли...

Поэт-лауреат был явно испуган. Никогда нельзя было знать на-

перед, какую шутку она приготовила на этот раз. Глаза его за стеклами очков выражали мольбу и отчаяние.

- Я прошу вас, мой милый, постарайтесь понять. Конечно, вы - джентльмен, но ведь вы - и поэт тоже...

- Диана, я уверен, что вы никогда не могли бы поступить безнравственно. Я знаю вас уже пятьдесят лет, и за эти годы я убедился, что любой ваш поступок делал честь вам, вашему покойному супругу и вашему славному имени.

Она затрясла головой, не желая слушать эту чушь. Это ж надо, этаким напыщенный старый болван! В былые времена его глупость так не бросалась в глаза, он был слишком хорош собой. Она всегда любила красивых мужчин и многое им прощала. Она даже старалась не замечать их идиотизма. Но, когда они начинали стареть и от их красоты не оставалось ничего, кроме отвислых подбородков, пористых носов и усталых глаз, их интеллект становился существенным. Какая жалость, что Перси такой плохой писатель! Ах, если бы он мог рассказать, воспеть, обессмертить - но нет, он был слишком хорошо воспитан, слишком уважал приличия, чтобы написать об истинной страсти. Ведь истинная страсть пылает слишком жарко, она обжигает и слепит, она корчится от восторга и боли, чтобы в конце концов взорваться, круша и калеча все вокруг. Она глянула на него уголком глаза. Нет, ни его пышная серебряная грива, ни его высокий благородный лоб над прозрачно-голубыми глазами не могли скрыть полного отсутствия воображения, без которого никакой поэт не может достичь величия. Но все же хоть какое-то представление о ее истории он мог бы передать, хоть тень ее отбросить на листья, хоть отсвет угасшего пламени.

Она внезапно остановилась и приложила платок к глазам.

- Если б вы были не англичанин, а, скажем, француз, или итальянец, или кто-нибудь еще, - пробормотала она сквозь слезы, - тогда вам, быть может, удалось бы об этом написать. Но вы все же постарайтесь, Перси, постарайтесь!

Его голубые глаза смотрели виновато и умоляюще. Ради нее он готов был на все. Если б он мог, он тут же превратился бы в итальянца или француза, а ведь, Бог тому свидетель, он их всех терпеть не мог, на дух не принимал. Он пытался что-то сказать, но не мог найти нужных слов. Она улыбнулась сквозь слезы и нежно погладила его рукав.

И начала говорить. Павильон был совсем недалеко, не более полумили, если идти по каштановой аллее. Но она предпочитала

извилистую узкую тропку, исчезающую среди густых зарослей сирени и азалий, среди высоких спутанных трав и колючих кустов, которые она бережно охраняла от всех поползновений садовника. Ему было категорически запрещено касаться джунглей, окружающих эту тропку, так что порой та зарастала травой и ветви сплетались над ней, преграждая путь. Из множества великолепных садов, которыми она владела, этот взъерошенный лесной закоулок был ей милее всех. Но, конечно, было бы немыслимо тащить Старого Дурака по этой тропке, и она повела его по каштановой аллее. Солнце пригревало, и деревья отбрасывали на гравий перистые тени. Листья были еще совсем по-весеннему зелены, и лишь в тех местах, где их касалось солнце, становился заметен золотистый налет наступающей зрелости. Все это - чайные розы, удачно названные «Английский полдень», поскольку они всегда сохраняли приличную дистанцию на ухоженных клумбах и благоухали ровно в меру, соответственно их имени; мраморные статуи застенчивых нимф и наивных амуров, которые выглядели бы в детской более уместно, чем в будуаре; плавная линия холмов, резво сбегающих от зелени газона к синеве моря, - было ей так знакомо и привычно, что уже не задевало, не угнетало душу чрезмерной стройностью и завершенностью. Только пара черных лебедей, плавно скользящих по зеркальной глади пруда, вызвала у нее, как всегда, толчок крови к сердцу и нежную улыбку.

Глава 3

Аннет Боден родилась на Рю де Ляппе, что само по себе уже было чудом, ибо район, где находилась Рю де Ляппе, вовсе не подходил для деторождения. Первый политический урок в ее жизни был преподан ей в раннем детстве ее отцом, крепким коренастым типографским рабочим, который сидел на ее кровати и пьяно твердил, что единственное, ради чего стоит жить и умереть, - это Свобода, Равенство и Братство. В результате она почти с пеленок возненавидела само звучание этих слов, не столько потому, что они доходили до нее всегда в облаке винного перегара, сколько потому, что за отцом регулярно приходили полицейские, ибо, полностью поработанный Свободой, Равенством и Братством, он стал членом кружка анархистов и тайно печатал их листовки и брошюры на типографском станке своего хозяина. В этом уже тогда сказались

одна из основных черт характера Аннет - вместо того, чтобы возненавидеть полицейских, которые уводили ее отца, она возненавидела эти три слова: они представлялись ей чем-то вроде вина, которым отец наливался в невероятных количествах, проявляя и в этом неуюмную страстность своей натуры. Каждый раз, когда два усатых жандарма являлись за отцом, она бежала к матери, как всегда согнутой над корытом со стиркой во дворе, и кричала:

- Свобода и Равенство опять пришли за папой, а Братство, наверно, пьяное в канаве валяется!

Когда отец был трезв, он был мрачен и жаловался на печальное состояние человечества. Он мог часами говорить о том, как хорошо было бы убить префекта парижской полиции или Папу Римского, и как в результате счастливого избавления от этих монстров весь мир бы вздохнул свободно. Еще он обожал распространяться о радостях свободной любви и проклинать брак, как типично буржуазное рабство, сексуальное и психологическое, ибо, поскольку все люди - братья, они должны по-братски делить между собой всех женщин, не предъявляя исключительные права на одну из них под предлогом супружества. «Брак - воровство, - объявлял он, - он ничем не лучше любой другой формы частной собственности». Но чаще всего он сидел понурившись, тупо глядя в одну точку и теребя свою бородку а-ля Наполеон Третий, и лицо его выражало страстную тоску по чему-то недостижимому, что всегда оказывалось в конце концов бутылкой.

Мать Аннет была прачка, она стояла по шестнадцать часов в день, согнувшись над корытом в маленьком сарайчике во дворе, стирая простыни для некоторых определенных заведений на Рю де Ляппе - для тех из них, которые снисходили до того, чтобы снабжать простынями свою клиентуру. В их районе власть полиции кончалась с заходом солнца. По ночам она переходила к босьям, что, впрочем, не останавливало элегантных господ в цилиндрах и фраках, в плащах на шелковой подкладке и с тросточками, отделанными слоновой костью. Напротив, именно вульгарность этого дна жизни привлекала в его темные опасные закоулки истинных любителей острых ощущений и искателей приключений садо-мазохистского толка. Тех, кто жаждал испытать пронзительный самоубийственный восторг рукопашной схватки, у каждого фонаря поджидала здесь группа босяков, кто с шарфом, завязанным бантом у горла, кто с цветком в зубах; к услугам других, склонных к менее рискованным радостям, всегда наготове были размалеванные девицы в высоких шнурован-

ных башмаках, с утра до ночи подпиравшие невзрачные стены Рю де Ляппе.

Пестрый спектакль, повседневно разыгрывавшийся на Рю де Ляппе, был для Аннет обычной рутиной, и она с ранних лет привыкла не обращать на него внимания. Едва научившись ходить, она стала помогать матери стирать, что и воспитало в ней страстную ненависть к физическому труду. Отец время от времени занимался ее образованием, и потому уже в восемь лет она выучила на память «Основные принципы анархизма». В том нежном возрасте, когда другие дети читали басни Лафонтена, она декламировала наизусть страстные призывы ко всеобщему разрушению, к великой радости и гордости своего полупьяного папочки, который часами слушал ее, блаженно затягиваясь вонючим дымом дешевой папиросы. Он мог подолгу восторженно воспевать неотъемлемое право личности на неограниченную свободу, в то время, как мать с рассвета до тьмы горбила спину над корытом с грязным бельем. Иногда месье Боден приводил домой своих дружков и они с жаром обсуждали, какой хороший урок был бы дан паразитическому обществу, если бы им удалось взорвать бомбу в здании парламента. Аннет было бы куда легче оценить благородство их устремлений, если бы они хоть раз соизволили спуститься во двор, чтобы помочь матери выкручивать белье. В какой-то период особую ненависть отца и его дружков вызвал немец по имени Карл Маркс, который призывал уничтожить частную собственность с тем, чтобы все отдать государству. Они грозно потрясали кулаками и пьяно стучали по столу, утверждая, что Маркс - преступник более страшный, чем даже Папа Римский, ибо для них государство, как любая форма организации общества, и было истинным источником всякого зла. Они уверяли друг друга, что этот подонок Маркс будет первым кандидатом на расстрел в тот светлый день, когда свобода победит.

Наверное, от того, что она часами выслушивала отцовские речи, пока ее мать загоняла себя в гроб непосильным трудом - мать умерла от чахотки, когда Аннет еще не было тринадцати, - в душе ее развилась исключительно трезвая склонность к практицизму, порой граничащая с цинизмом и остро приправленная ненавистью к тем высоким словам и возвышенным чувствам, которые проповедовал отец своим пьяным надтреснутым тенором, называя их благороднейшей эманацией человеческой души. Она рано заметила, что тело гораздо важнее души: именно тело страдает, болеет, требует удовлетворения и, умирая, обращается в прах. И если душе

при этом дана привилегия жить вечно, то не стоит из-за нее слишком волноваться - когда у тебя сильное здоровое тело, твоя душа позаботится о себе сама.

После смерти матери отец даже не усомнился, что Аннет возьмет стирку на себя. Так она и сделала поначалу, в благодарность за что отец, которого она таким образом кормила и поила, постоянно объяснял ей, как все проблемы будут решены, когда человечество уничтожит семью и когда личность, освобожденная от всяческого гнета, обретет, наконец, полную, ничем не ограниченную свободу, подобную той, какой наслаждаются дикие звери, вольно живущие в заповедных лесах. Она стояла, склонясь над гладильной доской, слушала его дрожащий от возбуждения голос, видела слезы восторга в его затуманенных винными парами глазах, и в ней крепла решимость. Она знала, что есть способ заработка куда более легкий, чем стирка чужих простыней, и хоть ей уже тогда были очевидны его трудности и опасности, у нее не было иного выхода - она как-то не верила в возможность светлого будущего, обещанного ее отцом и его друзьями.

Она не сразу решилась на этот отчаянный шаг, но отец, словно нарочно, сам подталкивал ее. Месье Боден часто заходил в комнату дочери с бутылкой зеленого абсента в руке, и, после нескольких глотков прямо из горлышка, начинал глубоко вздыхать и жалобно пялится на Аннет свои мутные глаза, которые от постоянного вдохновения вылезли из орбит и торчали наружу, как глаза тараканов, кишевших у них на кухне. После чего обычно произносил страстную речь, в которой разоблачал семью как аппарат угнетения человека человеком и призывал порвать буржуазные путы, сковывающие детей и родителей. Аннет не очень-то слушала его речи - она так уставала за день, что то и дело засыпала под их переливы. Но со временем его нападки на семью принимали все более определенную форму. Месье Боден все ближе и ближе подходил к дочери, пытаясь объяснить жестами, что за путы он предлагал порвать, когда призывал отцов и дочерей обрести истинную свободу от буржуазных условностей. Когда Аннет вдруг поняла, какие именно возвышенные идеалы анархизма отец хочет утвердить в собственной семье, онахватила его скалкой по голове, и он убрался к себе, ворча, причитая и проклиная дочь за то, что она стала рабой буржуазной морали.

Аннет очень скоро убедилась, что ей не под силу управляться с ежедневным ворохом грязного белья - ей не хватало ни выносли-

вости матери, ни ее преданности семье.

Когда ей исполнилось пятнадцать, она уже успела обдумать свое положение спокойно и всесторонне, руководствуясь жестким французским здравым смыслом, который не покидал ее даже в самые отчаянные минуты ее жизни. Она исчерпала все попытки найти какую-нибудь работу в других районах Парижа. Она пыталась устроиться продавщицей, официанткой, помощницей парикмахера, но очень скоро обнаружила, что всюду ей пришлось бы переспать с кем-нибудь, чтобы получить работу или чтобы ее удержать. Она была слишком хороша собой, чтобы надеяться, что ее оставят в покое. И тогда она решила, что лучше уж начать жизнь на панели, чем кончить ее там. Раз приняв решение, она приступила к делу со свойственным ей практичным хладнокровием - ее первый клиент был скорее удивлен, чем обрадован. Она стала регулярно приводить клиентов в свое убогое жилище, и отец переживал их свидания в соседней комнате, изо всех сил стараясь делать вид, что ему непонятно, откуда она берет деньги, чтобы платить за квартиру, еду, одежду, а порой и за бутылку абсента. Но когда он с упорством маньяка начал снова и снова возвращаться к идее изменения отношений между отцами и дочерьми, она попросту вышвырнула его из дому.

Через пару месяцев после этого разбухший труп месье Бодена с ножом в спине выловили в грязно-бурых водах Сены. Знакомые поговаривали, что он служил в парижской полиции провокатором, регулярно представляя властям доносы на своих друзей-анархистов. Когда Аннет вызвали в полицейский участок для опознания трупа, она вскользь глянула на вздутое лицо, все еще хранившее выражение оскорбленного достоинства, и, обернувшись к двум усатым жандармам, которых в детстве называла Свободой и Равенством, вынула из сумочки три монеты по пять франков, дала каждому из них по одной, а третью бросила на стол.

- Это отдайте Братству! - сказала она и ушла.

Леди Л. остановилась у пруда и, вынув из кармана несколько кусков хлеба - она всегда носила с собой хлеб для птиц, а также орешки для белок, - наклонилась над водой и стала бросать крошки двум черным лебедям, которые, завидев ее, царственно заскользили по воде ей навстречу. Сэр Перси Родинер терпеливо ждал, заложив руки за спину. Лицо его выражало легкий упрек. Он даже зашел так далеко, что осмелился высказать вслух свое недовольство.

- Дорогая Диана, - изрек он, - какое отношение эти недостойные, я бы даже сказал отвратительные личности могут иметь к летнему павильону и вообще к вам? И почему вам понадобилось мне о них рассказывать? К тому же, я не могу себе представить, откуда вам вообще известно о существовании таких людей и обстоятельств.

Леди Л., казалось, не слышала, всецело поглощенная кормлением лебедей. Во всех своих садах она держала пары черных лебедей, и ей никогда не надоедало ими любоваться. Мир был полон красоты, которой она восхищалась, но, пожалуй, черных лебедей можно было назвать ее любимцами.

- Аннет была необычайно хороша собой, - сказала она со вздохом, стряхнув с ладони последнюю хлебную крошку. - И она это знала. Когда она гляделась в зеркало, она всегда предчувствовала, что мир ляжет к ее ногам, как послушный пес. Ведь в те времена еще существовал мир, который мог лечь к чьим-то ногам... Что ж, всему свое время. Да, она была исключительно красивая девушка. Я могу сказать это без всякого тщеславия, ведь это было так давно... Ровно шестьдесят пять лет тому назад. Так давно, будто это была вовсе не я, а кто-то другой....

В мгновение ока поэт-лауреат окаменел и превратился в статую. Вокруг пруда и на клумбах стояли другие статуи: купидоны и нимфы, Аполлоны и Паны, играющие на флейтах, так что бедный Перси стал просто неотличим от них. Его нижняя губа отвисла, обнажая искусственные зубы, а глаза под благородным лбом приняли обиженное и уязвленное выражение. Леди Л. созерцала его с заметным удовлетворением. Ведь Старый Дурак всегда мечтал, что его статуя, изваянная одним из членов Королевского Общества и увенчанная лаврами, будет стоять на какой-нибудь людной площади. Вот он почти и достиг исполнения своей мечты. Разве что выражение лица было не совсем таким, какое он хотел бы увековечить, но ведь нельзя иметь все, чего ты хочешь.

- Только, ради Бога, дорогой Перси, никаких сердечных приступов, - сказала она, - это было бы слишком хлопотно. А то вы выглядите точно, как мой китайский пудель перед тем, как егохватила кондрашка. И нечего переживать - все это было так давно, что все грехи уже смыты временем. Так что успокойтесь.

Впервые в жизни благовоспитанный поэт-лауреат устроил настоящий скандал:

- Черт побери, Диана, - заорал он, - не хотите же вы сказать,

что вы и эта гнусная девчонка - одно и то же лицо... Это черт знает что! Я просто отказываюсь этому верить! Вам всегда нравился дерзкий эпатаж, но это уже переходит все границы... Конечно, я не сомневаюсь, что эта выдумка - не более, чем очередная ваша шалость, но она безнравственна. Я отказываюсь вас слушать,

- Тише, тише, Перси, пойдете со мной в павильон, у меня там припрятана бутылка коньяка. Вам необходимо выпить. Ну, скажите, зачем бы мне понадобилось выдумывать такое? Моя жизнь куда интересней любой волшебной сказки. Ну, конечно, я - Аннет, то есть я была когда-то Аннет, красоты неопишуемой, поверьте. А кроме того, все это произошло за границей, так что это вообще неважно.

Но сэра Перси не так-то легко было унять.

- К черту, к черту, к черту! - вопил он. - Вы всегда плохо со мной обращались, но теперь мое терпение кончилось, и вам больше не удастся мной помыкать! В конце концов, у меня тоже есть гордость. Я любил вас всю жизнь, и я имею право защищать объект моей любви, тогда как вы не имеете права повергать его во прах.

Леди Л. замахнулась на него тростью.

- Не будьте таким напыщенным идиотом, Перси. Никто ведь не узнает об этом ни в одном из ваших аристократических клубов. И вам все равно придется дослушать мою историю, потому что мне нужна ваша помощь. Если вы не хотите мне верить на слово, я покажу вам вещественное доказательство. Оно тут, совсем рядом, в павильоне. О Боже, как ты допустил, что мужчины теперь стали такими чистюлями? В свое время я знавала настоящих мужчин, они не падали в обморок из-за пустяков. Вы же сами умоляли меня позволить вам написать мою биографию. А теперь, когда я решилась рассказать вам хоть что-то о себе, вы устраиваете непотребную истерику. Нет, нет, Перси, вам пора научиться понимать женщин. Знаете, я иногда подозреваю, что вы все еще девственник.

Поэт-лауреат медленно вставил монокль в правый глаз.

- Я бы попросил вас, Диана...

- Ладно, ладно, пойдете. Попробуйте представить себе, что я рассказываю о ком-то другом. Можете мне не верить, если не хотите. Но вы все равно должны мне помочь.

Как-то вечером, когда Аннет поджидала клиентов на улице, к ней подошел молодой апаши Рене ла Вальсе, худенький низкорослый блондин, который был связным между блатными Рю де Ляппе и

полицией. Даже в темноте Аннет узнала Рене по его хриплому дыханию. Он был болен туберкулезом, что, впрочем, не мешало ему быть лучшим танцором в округе.

- Пошли скорей, Аннет, тебя хочет видеть мосье Лекер, - позвал он.

Она замерла на секунду, прижимая руку к груди, словно пыталась умиротворить внезапно рванувшееся сердце: она сразу поняла, что это был зов судьбы, которого она давно ждала.

Альфонс Лекер был самым шикарным сутенером Парижа. Он давно уже не стоял на улице, считая клиентов своих девиц. Будучи преуспевающим владельцем отеля особого назначения со своими каретами и лошадьми, он мог позволить себе роскошь крупно играть и проигрывать, а также вести дела двух-трех известных боксеров, что открывало ему двери в салоны английских лордов и молодых шалопаев из французской знати. Полиции он не боялся, так как мог шантажировать не только самого шефа полиции, но и некоторых членов правительства. Он был крепко сбит и широк в плечах. Его тугие щеки кирпичного цвета делились надвое черной полосой густых усов, параллельной густым мохнатым бровям, затенявшим странные сверкающие глаза, зрачки и радужки которых сливались в единую мерцающую черноту. Одетый с эксцентричной щеголеватостью в коричневый цилиндр, в клетчатый черно-коричневый костюм и красный жилет, Лекер поджидал Аннет на углу - в мерцающем полусвете фонаря переливались рубины и бриллианты колец на его пальцах, поблескивала тяжелая золотая цепь на красном поле его жилета и вспыхивал кончик его неизменной сигары.

Рядом с ним стоял его неразлучный спутник, маленький - ровно вдвое меньше его - ирландский жокей по имени Сэппер. На его узком печальном лице под жокейской фуражкой застыло выражение вечной обиды и горького упрека миру. Его голова была навечно свернута набок, и шею он мог повернуть только вместе со всем телом. Когда-то он был самым знаменитым жокеем Англии и сломал себе шею в Париже, пытаясь добыть хозяину Гран При дю Буа. Тут-то его и подобрал Альфонс Лекер. Сэппер ответил Лекеру бесконечной собачьей преданностью, и вскоре они стали неразлучны. Сейчас они оба стояли под фонарем на углу, разглядывая приближающуюся Аннет.

Только много лет спустя Аннет узнала, почему подручные Альфонса Лекера решили обратить его внимание на новую девушку, вышедшую на поиски клиентов на Рю де Ляппе. Дело было не

только в ее исключительной красоте. В Париже было полно красоток, так что выбрать среди них кандидатку было вовсе нетрудно. Но для той цели, которую поставил себе Лекер, одной красоты было недостаточно. Тут требовался быстрый ум, способность учиться и запоминать, изящество манер и благородная осанка, а главное - смелость и честолюбие. К тому времени в карьере самого Альфонса Лекера произошли резкие и неожиданные перемены. Достигнув власти и богатства, он вдруг ощутил, что все это уже не радует его. Десять лет успеха в преступном мире внушили ему уверенность в своем превосходстве над ординарными людьми, и он решил, что рожден быть вождем, повелителем масс, но просто не знает, как применить свои исключительные качества. Не будучи ни в коей мере человеком интеллигентным, не прочитав ни единой книги, он стал мечтать о какой-нибудь высшей цели, которая придала бы смысл его жизни. Время работало на него: в восьмидесятых годах прошлого века без труда нашлись люди, которые охотно объяснили ему, что он стал преступником вовсе не ради наживы, а ради спасения человечества от оков буржуазного общества, ибо в глубине души он, сам того не зная, всегда был анархистом.

Одним из этих людей оказался молодой анархист по имени Арман Дени.

Арман Дени был единственным сыном почтенной состоятельной семьи из города Ренн. В ранней юности ему сулили блестящую карьеру священника. По окончании школы иезуитов он поступил в парижскую семинарию, но тут пылкая вера вдруг покинула его, внезапно уступив место страстной решимости не ждать утешения в будущей жизни, а добиться справедливости в этой. Когда-то, будучи фанатично религиозным юношей, он надеялся найти свободу духа на небесах, теперь же требовал свободы для тела и ума тут, на грешной земле.

Он бродил по Парижу голодный, одинокий, сжигаемый жаждой немедленно приступить к перестройке мира. Житейский прибой, естественно, вскоре принес его в беднейшие кварталы Парижа, где ему было легче прятаться от полиции и заводить друзей. Он быстро сошелся с уголовниками, которых считал жертвами режима, врагами общества и своими истинными союзниками. Они кормили, поили и одевали его, и, похлопывая его по плечу, снисходительно слушали, как он жарко доказывал, что они вовсе не преступники, а разочарованные идеалисты, которые выбрали скользкий путь преступления как единственно доступный способ борьбы против разлагающего

души буржуазного общества. Хотя они никогда не принимали его речь всерьез, все же им было приятно слышать, что каждый карманный вор ставил перед собой благородные цели, каждый сутенер, сам того не зная, был в душе мятежником, а каждая проститутка - жертвой социальных условий.

Альфонс Лекер был зачарован страстным красноречием Армана. Он ходил из кабака в кабак в поисках Армана и часами слушал его горячие разглагольствования, сидя за дальним столиком с неизменной сигарой в зубах. Жокей Сэппер сидел рядом с ним, его голова кренилась набок на стебле вывихнутой шеи, на длинном лице застыла вечная печаль.

Арман Дени заметил, что приобрел могущественного поклонника, но постарался не подать виду, что его это радует. Он твердо решил дожидаться, пока Лекер созреет - ему было нужно, чтобы тот не только слушал, но и слушался. Арману было тогда всего двадцать шесть лет. Он уже опубликовал к тому времени свою «Эпоху революций». Несколько раз его уже отправляли в тюрьму за подрывные речи в общественных местах и за распространение литературы, подстрекающей к мятежу.

Несмотря на веру в силу слова, Арман считал, что слов недостаточно. Может быть, именно потому, что по природе он был мечтатель, он стал человеком действия. Неизвестно, лично ли он застрелил в 1880 году знаменитого комиссара парижской полиции месье Антуана, но убийство это было приписано ему, в результате чего он стал изгоем и в преступном мире. Тут-то молодой человек и решил обратиться за помощью к Альфонсу Лекеру.

Далеко за полночь Арман отправился на свидание с ним в игорный дом. Заведением, которое принадлежало Лекеру, заправляла рыжекудрая, горбоносая, густо напудренная баронесса де Шамисс. Баронесса вышла к Арману, поглядела на него сквозь лорнет в черепаховой оправе и, горделиво закинув аристократическую голову, провела его в пустой игорный зал, куда вскоре вошел Лекер, перекатывая на ладони только что выигранные золотые луидоры; Арман Дени заговорил пылко и страстно: он знал, к кому обращался, и знал, что надо сказать.

- Пришло время, когда вы должны показать себя в полный рост. Многие все еще считают вас обыкновенным сутенером, не догадываясь, что вы выбрали преступный путь, ибо у вас не было другого способа вступить в бой с обществом, которое вы презираете. Но скоро ваше имя будет на устах миллионов: простые люди всего

мира признают в вас современного Робин Гуда, врага богатых, защитника бедных.

Альфонс Лекер стоял, гоня золотые луидоры по зеленому сукну стола. От слов Дени румянец вспыхнул на его мясистых щеках: он давно уже убедил себя, что его низкие поступки были продиктованы высокими побуждениями. Живи он позже, он, наверное, стал бы фашистом, как подручный Гитлера, уголовник Хорст Вессель, или как итальянский дуче Бенито Муссолини, которому в молодости были по душе идеи анархистов.

В ту ночь Арман Дени приобрел верного друга и сообщника. Лекер начал неизменно появляться на собраниях парижской «ячейки». Грузный, широкоплечий, элегантно одетый, он взбирался по узкой лестнице на какой-нибудь захламленный чердак и молча слушал очередного тщедушного седовласого профессора химии, который вдохновенно объяснял, как изготовить бомбу на кухне или взорвать многоэтажный дом, умело продырявив баллон с газом.

Члены этой ячейки составляли странную смесь: уличный шарманщик, который никогда не расставался со своей дрессированной обезьянкой; профессор литературы, который обучал благородных девиц в самом знаменитом парижском лицее; молодой рабочий, который через несколько лет взорвал бомбу в зале парламента. Чаще всего Лекер, одобрительно кивая, молча слушал речи этих людей, но иногда он нарушал молчание и просил слова. Показывая на своего неизменного спутника, жокея со свернутой шеей, он говорил:

- Поглядите на этого человека, друзья мои! Он сломал себе шею, верно служа английскому лорду, и когда он больше не мог участвовать в скачках, тот вышвырнул его на улицу, как собаку. Так что в сердце у него горит только одно желание - подложить бомбу под парижский ипподром и взорвать ко всем чертям с полдюжины знатных лордов.

В апреле 1891 года на ипподроме дю Буа взорвалась бомба, осколками которой были ранены три владельца лошадей и один жокей. В ревущей от ужаса толпе никто не обратил внимания на печального кривошеего человечка, который украдкой выскользнул из-под града сорванных вихрем взрыва серых цилиндров и ушел, прихватив на память один из них. В то время Альфонса Лекера и его крошечного сообщника считали просто нарушителями закона с хорошими связями, так что они остались вне подозрений. Согласись Лекер скромно оставаться за спиной Армана Дени, он бы так

и закончил свои дни в безопасности. Но ненасытное «Я» выталкивало его на авансцену, так что он все чаще говорил о себе как о вдохновенном вожде грядущей революции. В результате чего полиция больше не могла смотреть на его деятельность сквозь пальцы.

Лекеру следовало бы понять, что игра его проиграна. Но он как ни в чем не бывало гулял по бульвару Парижа в сопровождении верного Сэппера или катался в желтом шарабане по дорожкам Булонского леса. И только Арману Дени удалось, наконец, уговорить его покинуть Францию.

К тому времени убежищем для анархистов разных стран стала Швейцария. Арман знал, что они относились к нему враждебно, и потому решил действовать самостоятельно, вербуй людей, разделяющих не только его взгляды, но и программу действий. Чтобы сохранить независимость и осуществить свои честолюбивые планы, ему нужны были деньги, много денег. И опять же лучшего места, чем Швейцария, для этого было не сыскать. Ибо она служила богачам игорным домом. Именно тут европейская знать любила со вкусом прожигать жизнь. План Армана был прост. Совершить серию хорошо подготовленных ограблений и на эти деньги поставить несколько спектаклей с убийством коронованных особ, которые съехались сюда со всех концов Европы. Он понимал, что выполнить это будет нелегко: понадобится точная информация от человека, который знает, кто есть кто. Надо было найти помощника из их же среды. Арман Дени обдумывал свой план с присущей ему тщательностью, заглядывая далеко вперед. Он решил - козырной картой в этом деле станет молодая прелестница с манерами леди и живым умом, готовая слушаться его во всем.

С этой целью Аннет и послали прямо с панели к Лекеру, а тот без лишних слов отвел ее в известное заведение на Рю де Ферси, чтобы представить Арману Дени.

У сэра Перси потемнело в глазах. Ему захотелось сесть. На счастье садовая скамья оказалась всего в нескольких шагах от него - правда, даже их он одолел с трудом. Лицо его выражало смущение, замешательство и такой испуг, что леди Л. пожалела его. Она не ожидала, что он примет все это так близко к сердцу. Она опустилась рядом и снова успокаивающе похлопала его по руке, но он как-то затравленно глянул на нее и отодвинулся.

- Ну, ну, дорогой, - уговаривала она. - Вы же под охраной го-

сударства, - она старалась найти сглаживающие, умиротворяющие слова. - Успокойтесь, Перси, голубчик, - пела она. - Все в порядке. Англия всегда останется Англией. Здесь вы в безопасности.

Поэт-лауреат принял высокомерный вид.

- Вынужден просить вас, Диана, не путать в это дело Англию, - надменно сказал он.

Взгляд его был устремлен вперед, на лице спорили между собой огорчение и страх. Голова слегка тряслась, на лбу выступили капельки пота. Он вынул из кармана носовой платок, развернул его - у Старого Дурака платки были самые большие во всем Западном Хемпшире - и провел по бровям.

- Полагаю, вы опять дали волю вашему проклятому чувству юмора, - произнес он дрожащим голосом. - Не верю, чтобы в вашем рассказе была хоть доля правды. Не верю! Благородство вашего происхождения ни у кого не вызывает сомнений. Все это выдумки! Вы - урожденная мадемуазель де Буасеринье. Один из ваших предков сражался в битве при Креси...

- Да, да, бумаги эти нам было нелегко состряпать, - заметила леди Л. - Особенно важно было, чтобы эта причастность моих предков к битве при Креси выглядела убедительно. Месье Пупа, главный государственный каллиграф, уж постарался, а после Арман еще приложил к этому руку с помощью химии. Вот была потеха.

Сэр Перси открыл было рот, однако не сумел выдать из себя ни слова. Лишь снова ухватился за платок и приложил его ко лбу.

Вечер стоял теплый, мягкий, с едва уловимым сладковатым запахом сирени. С лужайки донесся смех и голоса детей, играющих в крокет.

Публичный дом на Рю де Ферси в этот поздний час обычно был уже закрыт для посетителей. Там задержались лишь три девицы в высоких ботинках на шнуровке, в остальном же более или менее полураздетые. Мучными от пудры лицами они тупо уставились в спину мужчины, сидевшего у пианино. Тогда Аннет еще было невдомек, что она оказалась свидетельницей одного из причудливых «подвигов» Армана Дени, которые принесли ему особую славу. Ибо виртуозом в элегантном вечернем костюме, сидевшим за инструментом, был не кто иной, как великий пианист Антон Краевский.

На другой день все газеты захлебнулись в гневе по поводу наглого похищения. Оказалось, что накануне, сразу же после вечернего

концерта, за билеты на который парижская элита платила целое состояние, к пианисту при выходе из зала подошел Арман. При белом галстуке, в черном цилиндре и плаще на шелку. Приставив через шелк подкладки к спине Краевского пистолет, Арман заставил его сесть в карету, отвез в один из самых низкопробных борделей Парижа и велел играть для блядей. К моменту, когда там появилась Аннет, маэстро играл уже более часа. Много позже его просветили на счет того, как было мудро с его стороны так хорошо играть, потому что молодой анархист был истинным знатоком музыки. Если бы Краевский позволил себе хоть чуть расслабиться, ему пришлось бы плохо.

Когда Аннет вошла, Арман все еще стоял у пианино с пистолетом в руке. Ей он улыбнулся и мягко, даже печально сказал:

- Милости просим, мадемуазель. Присоединяйтесь к нам слушать концерт. Этот господин всю жизнь только и делал, что играл для власть имущих. Поэтому я и доставил его сюда, чтобы хоть раз в жизни он играл для угнетенных и попранных.

Он наставил дуло пистолета на пианиста.

- Играйте, маэстро! Играйте же! Это ваши первые непродажные слушатели. Покажите себя, пользуйтесь случаем!

Три проститутки даже не слушали пианиста и выглядели перепуганными до смерти. Что до Аннет, то с той минуты, как она вошла в комнату, для нее все затмило лицо юноши, отмеченное какой-то неправдоподобной красотой. Музыка она, собственно говоря, и не слышала. Наконец, Арман положил концерту конец, и, предоставив пианиста заботам Альфонса Лекера и жокея, отвел Аннет наверх. Рассмотреть ее он вряд ли успел. По узкой винтовой лестнице они поднялись в убогую комнатенку и остановились у окна. Глядя в ночь, он продолжал говорить и говорить, словно ее не было рядом и одни звезды слушали его речи.

- Для высокого искусства они еще не созрели, - рассуждал он. - Жизнь уродлива, пока красота доступна лишь немногим. Но будет еще хуже, если искусство станет доступно всем. В наш уродливый век оно может служить лишь опиумом для народа, помогая рабам забыть про свое рабство. Я презираю и ненавижу всех великих композиторов, художников и поэтов. Они хуже дрессированных цирковых собачек. И это в эпоху, когда девять десятых людей на земле живут в нищете и убожестве. Чистое искусство вообще реакционно, оно - внепартийно и мешает революции. Великие артисты в наши дни служат камуфляжем уродства. И художники, и поэты, и

музыканты - все словно нанялись служить в полиции: они тоже помогают наводить порядок.

За время их последующего знакомства он еще не раз произносил перед ней подобные речи, и леди Л. запомнила каждое слово. Годы спустя, когда его игра оказалась проиграна, она постепенно пришла к мысли, что Арман был рожден великим поэтом, но заставил себя замолчать, ибо мир был слишком ужасен. Сначала его следовало переделать, а потом уже петь для него. Но в ту первую ночь, стоя с ним рядом в убогой комнатенке, она его не слушала - она слышала лишь удары своего сердца и улыбалась, широко раскрыв глаза от удивления. Восторг и томление вдруг охватили ее. В ее юные годы это было первое прекрасное видение. Никогда она его не забудет.

Леди Л. плакала. Вынув из кармана кружевной платок, она приложила его к глазам.

- Да что это я, в самом деле? - удивилась она.

Сэр Перси сохранял полную неподвижность. На лице его запечатлелось торжественное выражение обиды и решительности одновременно, которые он, как правило, приберегал специально для британских сумерек: например, когда на Лондон начинали падать германские бомбы, когда в войну пришло известие, что потоплен «Принц Уэльский», когда победила на выборах лейбористская партия, когда покинул Индию ее последний вице-король Дики Маунтбаттен.

- Более прекрасного создания не было на земле, - сказала леди Л., промокая слезы. - Я прожила еще шестьдесят лет и все эти годы жадно всматривалась в лица других мужчин в надежде уловить хоть какое-то сходство, хоть намек. Но, конечно, напрасно. Он был высшим творением Божиим, хотя само это Божье творение в Бога не верило. Ах, ладно уж, наверно, я просто все еще влюблена. А может, только в моих глазах он был таким неотразимым красавцем. Не знаю, да мне и все равно. Важно, что я с того самого мгновения, когда впервые его увидела, поняла, что другого мужчины для меня уже не будет.

Сэр Перси сидел, скрестив руки на своей трости. Пара черных лебедей плавно скользила меж водяных лилий. В сладком воздухе тучи мошкары роились над прудом вперемишку с бабочками.

(окончание следует)

Рафаил Нудельман

НЕСОСТОЯВШАЯСЯ ЗАЩИТА

Нина Воронель («22», № 78) взялась защитить русских «ретроградов». Может быть, говорит она вслед за этими ретроградами, русский народ просто «не созрел» для демократии? Чем объяснить, спрашивает она, что Достоевский и Солженицын, побывав на каторге, так резко изменили свои взгляды – из диссидентов и демократов стали ретроградами и консерваторами и начали утверждать, что России подходит только авторитарный режим? Может быть, на каторге они впервые по-настоящему узнали свой народ и поняли, что демократия ему «органически не подходит»? Случайно ли их младшие единомышленники (Шульгин, Шафаревич) тоже в один голос твердят, что русский народ – как ребенок: ему обязательно нужен вождь, поводырь, отцовская фигура, короче – авторитарная личность? Не ошибаются же они все! Может быть, дело как раз в том, что русский народ действительно еще ребенок? Еще недостаточно повзрослел?

Счастливо ухваченная метафора разворачивается под пером Н. Воронель в некую цельную концепцию – с прологом, кульминацией и эпилогом. В прологе ставится вопрос об истине. Утверждение, что демократия хороша для всех, – вроде бы однозначная истина. Но существуют ли на свете однозначные истины? Н. Воронель утверждает, что не существуют. Истина зависит от места, времени и обстоятельств. Вот, например, идея абсолютного равенства людей друг другу, на которой, как полагает автор, стоит нынешняя западная демократия. Это весьма относительная «истина». Н. Воронель едко высмеивает ее. Она совершенно права: в такой общей формулировке эта идея действительно заслуживает только насмешки. Но «западная демократия» тут не виновата. Как всякая демократия, то есть, грубо говоря, специфическая система формирования власти, она стоит на идее равенства прав, или возможностей, но никак не людей. Лозунг полного равенства людей – выдумка социальных демагогов и утопистов. Но Н. Воронель, вслед за защищаемыми ею ретроградами, не согласна и с идеей равенства прав. Она не согласна предоставлять одинаковые права себе и Саддаму Хусейну. Читатель, несомненно, ее в этом поддержит. Но напомним, что демократическая система и не предоставляет абсолютно всем одинаковые права. У нее есть т. н. «избирательный ценз». Сумасшедшие, например, в выборах не участвуют. Кроме того в демократической системе есть и другие ограничения. Партии, программы которых направлены на подрыв демократии, исключаются из предвыборных

списков. Граница «равенства прав» всегда устанавливается конкретно. Разумеется, здесь возможны ошибки. Известно, что Гитлер пришел к власти демократическим путем. Именно поэтому говорят, что демократия является не абсолютно надежным, а всего лишь наименее худшим из возможных механизмов.

Впрочем, все эти разговоры о «равенстве» нужны автору, скорее, для зачина. Ее истинная цель – показать, что демократия (в ее толковании – всеобщее равенство или всеобщее избирательное право) не всем подходит.

Она не подходит, например, африканским народам, напоминает Н. Воронель. Стоило им после получения независимости ввести у себя всеобщее избирательное право, как они тут же впали в людоедство. Какой отсюда вывод? Народ народу рознь. Что немцу хорошо, то русскому (африканцу) карачун. Демократия для некоторых народов – как раз такой карачун. Равенства нет не только среди людей, но и среди народов.

В чем же они не равны? Тут мы подходим к кульминации статьи. В этом месте автор выдвигает свою основную гипотезу. Она предлагает характеризовать различие народов их «возрастом». Одни народы моложе, другие старше. Ничего обидного в этом предположении, понятно, нет. Никакой ксенофобией не пахнет. Кто сегодня моложе, завтра, естественно, будет старше. Молодому народу не заказано достичь того, чего уже достиг зрелый народ, только позже. Просто пока он молодой, взрослые игры ему не подходят. Например, игра в демократию. Русский народ, продолжает Н. Воронель, сегодня еще молодой. Со временем и он, быть может, достигнет демократии. Но для этого нужно, чтобы он прошел, например, через Реформацию, через которую уже прошли европейские народы. Может быть, он как раз сейчас через нее и проходит. Во всяком случае, будем надеяться. Основания для надежды у нас есть. Возраст – штука относительная. Ворота будущего ни перед кем не закрыты. Это уже эпилог. Звучит он как будто оптимистически.

Нетрудно увидеть, что эта гипотеза не нова. О биологическом возрасте народов и цивилизаций писали достаточно много. Уподобление истории народа жизни отдельного человека с ее юностью, зрелостью и старческим закатом тоже делалось неоднократно. В таком уподоблении всегда таится ловушка. История изображается как общая беговая дорожка с растянувшимися по ней народами-бегунами. Одни вырвались вперед, другие отстали, но поскольку дорожка на всех одна, то всем суждено пробежать именно по ней, мимо одних и тех же трибун, перепрыгивая одни и те же барьеры. В такой схеме кроется молчаливое предположение, что существует некий единый, изначально предначертанный всем народам общий путь, только одни вступают на него раньше других. Но все раньше или позже проходят одни и те же фазы и стадии. Например, Реформацию. Или ту же демократию. Если слишком абсолютизировать такую схему, в ней не останется места для качественного различия национальных историй. Между тем,

они действительно различны. Немцы впали в нацизм. Персы вернулись к теократии. Другие народы этого избежали. Нельзя утверждать, что они еще обязательно к этому придут. История каждого народа – это процесс с сильной «обратной связью»: последующие состояния зависят от всех предыдущих вплоть до исходного. Кроме того, огромную роль играют исторические случайности, которые закрепляются в национальной судьбе. Все это достаточно тривиально.

Представляется, что Н. Воронель не избежала этой ловушки. Она принимает свою метафору чересчур буквально. Она играет с полюбившимся ей понятием «возраста народа» так и сяк. Русский народ еще ребенок, а ребенку свойственно искать «отцовскую фигуру» – отсюда в русской истории такая устойчивость монархических и вождистских тенденций. Русский народ еще молод, а молодые избегают ответственности – поэтому русские избегают ответственности за свое будущее и склонны перепоручать его авторитарному лидеру. И так далее. Доказательства подменяются сравнениями. Художественное сравнение нагружается функцией универсального средства объяснения. Создается впечатление, что оно кажется автору отмычкой ко всем загадкам национальной истории. Но оно этого груза не выдерживает.

Оно не выдерживает его по той простой причине, что художественная метафора, даже развернутая в целую статью, еще не становится от этого научным понятием. Она все равно остается интуитивным поэтическим образом. Русь можно уподобить птице-тройке и даже вспомнить при этом троицу васнецовских богатырей, но это не помогает понять, где у нее колеса. Понятие возраста народа интуитивно кажется совершенно очевидным. Кто не представляет себе различия между молодым и зрелым человеком? Так и напрашивается перенести это представление на целые народы. Тем более, что, на первый взгляд, это сразу позволяет многое объяснить. Заслуга обсуждаемой статьи состоит, на самом деле, в том, что она показывает, как мало это объясняет. Причина очевидна: понятие возраста народа невозможно уточнить. Н. Воронель сначала дает такое определение: молод тот народ, который не созрел до осознания ответственности за свое будущее. Потом она дополняет его другим: кто не созрел до такого осознания, тот молод. Но это кажущаяся разница. Молод тот, кто не созрел, а не созрел тот, кто молод. Вместо определения предлагается тавтология. Выбраться из нее нелегко, пользоваться ею невозможно. Совершенно непонятно, как же все-таки оценивать возраст того или иного народа. Правда, с африканцами и русскими дело ясное. Автор просто постулирует, что они молодые. Действительно, демократии у них нет. Значит, они до нее не созрели. Значит, они молодые. Поэтому у них нет демократии. Если соединить концы этой логической цепочки, окажется, что у них нет демократии, потому что у них нет демократии. Но это полбеда. А вот, скажем, китайцы – молодой народ или зрелый? Созрели они или еще не созрели? Осознали или не осознали? Спрашивать об этом самих

китайцев бесполезно. К тому же их слишком много, всех не опросишь. Оставаясь же в пределах авторского критерия, на этот вопрос ответить нельзя.

Есть, правда, другой выход. Можно воспользоваться метафорой возраста и сделать еще один шаг: моложе тот, у кого короче «биография». Опять-таки, как у людей. Молод тот народ, который меньше прожил на свете. Но тогда народы выстроятся совсем по другому ранжиру. Он не будет иметь ничего общего с демократией или «ответственностью за будущее». Окажется, что некоторые мало пожившие народы почему-то уже созрели до демократии, а некоторые, с очень долгой историей, – еще совсем безответственны. Взять хотя бы тех же китайцев – несомненно, один из старейших народов на земле, однако демократии у них почему-то нет. Во всяком случае, в западном понимании. Но настоящая беда с гипотезой о «возрасте народа» еще впереди. Вспомним китайцев, живущих на Тайване. У них, напротив, демократия есть, причем явно позаимствованная у Запада. Что же, они – другие китайцы? Нет, этого никак не скажешь. Совершенно такие же. Исторический возраст у них тот же самый, что у континентальных собратьев. Мы оказываемся в порочном круге. С помощью интуитивного представления о возрасте народа мы не можем объяснить, почему у одних народов есть демократия, а у других ее нет. А с помощью критерия демократии мы не можем ничего сказать о возрасте народа. Поучительно еще обсудить пример американцев. Тут вообще о возрасте в биологическом или историческом смысле ничего вразумительного сказать нельзя. В Соединенных Штатах проживает целая совокупность народов разного исторического возраста. Каждый имеет свою национальную предысторию. У англосаксов опыт пресловутой Реформации уже за спиной, а какие-нибудь американские негры или пуэрториканцы даже понятия такого не знают. Можно, конечно, условиться говорить об американском народе в целом, но тогда несомненно, что это исторически один из самых молодых народов. Во всяком случае – куда моложе русского. Тем не менее как целое он живет при демократии, кто же в этом сомневается.

Возникает подозрение, что гипотеза Н. Воронель не работает и по отношению к ее основному объекту – русскому народу. Как мы помним, на вопрос, почему у русского народа нет демократии, «ретрограды» отвечают, что она ему не подходит. Н. Воронель, решившая защитить «ретроградов», ощущает, что такой ответ недостаточен и пытается подвести под него некую теоретическую базу: она ему не подходит, потому что он еще молод. Конечно, если бы слову «молодой» в отношении народа можно было дать хоть какое-то однозначное определение, это было бы очень сильным обоснованием. Своей художественно-психологической интуицией Н. Воронель это чувствует. Она не даром за это слово схватилась. Но, как мы видели, дать такое определение она не может. Никто, пожалуй, не смог бы. Потому что любые попытки развернуть метафору в доказательство неизбежно ведут к тавтологиям. Это принципиальный изъян

всякой исторической метафоры. Ею уместно блеснуть в разговоре, где она ни к чему не обязывает, но нельзя переоценивать ее объясняющую силу. Конечно, такая переоценка соблазнительна. Не нужно копаться в утомительных конкретных фактах, достаточно одного-единственного фактора, чтобы очень просто все объяснить. Сведение к однофакторной модели очень облегчает построение универсальных схем. В одной схеме таким «всеобъясняющим» фактором оказываются особенности расы, в другой – особенности религии, в третьей – особенности возраста. Показательно, что всегда выбирается такой один фактор, который очень трудно или даже невозможно однозначно определить. Тем легче строить вокруг него любые не поддающиеся проверке обобщения. Через одну точку можно провести сколько угодно прямых под любым наклоном. Наличие хотя бы двух точек резко снижает возможности произвола. Исторический путь народа не состоит, однако, всего из одной точки. Историческая действительность многофакторна. Поэтому художественно-психологические прозрения даже самых крупных писателей не могут служить заменой ее научному изучению. Из того, что Пушкин или Лермонтов не раз говорили о русской рабской душе, не следует, что она действительно рабская. И уж наверняка невозможно (даже если какой-нибудь русофоб с этим согласится) объяснить этим единственным фактором все особенности русской истории. Как невозможно объяснить их, например, только на основании одного-единственного фактора «безграничных русских пространств». (Н. Воронель могла бы и на эту тему найти немало впечатляющих высказываний в русской литературе и публицистике). Соединенные Штаты тоже расплзались по необозримым пространствам, тем не менее история у них другая. Все такие объяснения были и будут не более, чем подозрительными по своей метафоричности «гипотезами постфактум». Однофакторные модели вообще вызывают сильнейшие подозрения – как, например, недавняя теория Л. Гумилева. На поверку они всегда оказываются несостоятельными. Они не работают. О них приятно порассуждать, вокруг них можно сплести увлекательную канву глобальных обобщений, но решить какую-либо конкретную проблему они не позволяют. Всегда оказывается, что они сильно все упрощают, чтобы свести концы с концами.

Дело, однако, не только в однофакторности всех этих схем. Представляется, что решение вопроса о причинах наличия или отсутствия у народа демократии вообще не имеет отношения к его специфическим национальным особенностям, будь то «возраст», «коллективное бессознательное» или «душа». Во всяком случае, приведенные выше примеры (любой читатель сможет привести десятки других) позволяют именно так думать. Нельзя пользоваться неопределимыми понятиями. Не лучше, если понятия определены приблизительно. В статье Н. Воронель одни понятия неопределимы, другие не определены. Например, под демократией в одном месте понимается всеобщее избирательное право, в другом –

всеобщее равенство, в третьем – государственное устройство, в четвертом – общественный строй, в пятом – вообще образ жизни. И вдобавок, демократия еще смешивается с либерализмом, равенство – с правами, общество – с государством, а народ – с обществом. Строить на таком фундаменте глобальные теории и историософские схемы некорректно. Для поэтического эссе в них слишком много претензий на серьезность, для серьезной гипотезы – слишком мало результатов. Думается, что относиться к построениям такого рода следует весьма осторожно. Но это не значит, что в них ничего нет. Какое-то интуитивное здоровое зерно в них, несомненно, есть. Как метафора, они вполне легитимны. К тому же они волнуют воображение. Они возбуждают нашу ленивую мысль. Они заставляют нас лишний раз проверить свои представления. Выясняется, что многие наши представления нам только представляются таковыми – четкого их понимания у нас нет. Так – «взгляд и нечто». Статья Н. Воронель тоже побуждает читателя уточнить многие понятия. Такая прочистка интеллектуального багажа – не только санитарная работа. В конечном счете, она может привести к пониманию, что все мы по-разному видим окружающий мир. Одни из нас – «номиналисты», другие – «реалисты». Одни склонны признавать реальное существование отвлеченных сущностей, вроде «национального характера» или «души народа», и приписывать им решающее значение; другие признают существование только конкретных вещей. Истина действительно неоднозначна. Поэтому идти к ней приходится с разных сторон, иногда самых неожиданных. Свежая метафора тоже может стимулировать мысль, если только не претендует ее подменить. Вот почему, сказав все, что я хотел сказать по поводу несостоявшейся «защиты ретроградов», я должен добавить в заключение, что я искренне благодарен автору. Нина Воронель думает и ищет там, где иные довольствуются готовым и пережеванным. То, что я не согласен с ее результатами, нисколько не умаляет моего уважения к ее интеллектуальному поиску.

Евгений Наклеушев

**ПОЗВОЛЬТЕ РЕТРОГРАДУ ЗАЩИТИТЬСЯ
СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ**
(открытое письмо Н. Воронель)

Уважаемая Нина Воронель,

с большой симпатией прочел Вашу «Защиту ретроградов» («22», № 78). Не столь важно, что я не могу разделить Вашу интерпретацию истории и состояния

русского народа. Интерпретация такая – вообще дело до крайности трудное, и сам я отнюдь не претендую на достижение блистательной ясности в этом вопросе. Важно и вызывает во мне симпатию и уважение то, что Вы предстааете в этой статье как человек, искренне открытый нестандартным решениям «проклятых» вопросов. Такие люди всегда и везде крайне редки. Именно поэтому мои возражения Вам я хочу оформить в виде личного к Вам письма. Надеюсь, Вы убедите товарищей по редакции опубликовать это письмо на страницах «22». В настоящее время Ваш журнал остается единственным, насколько мне известно, органом русскоязычной эмиграции, где такую статью не отвергнут априори как «слишком умную для наших читателей».

Вы начинаете с восхитительного для меня предположения, что «истина неоднозначна». Не совсем удачным кажется мне выражение, что «истина относительна и зависит от места, времени и точки отсчета». Насколько я понимаю, она действительно зависит от этой троицы, но это не делает ее для меня «относительной». Просто абсолютные формы ее многозначны – выстраиваются в ряды: кто скажет, что группы, например, щелочных металлов или галогенов в периодической системе элементов «относительны»?! Но это мелочь, неточное, я думаю, у Вас слово. По сути, мне кажется, мы с Вами в этом пункте сходимся.

Проста, изящна и неотразима (на мой вкус, либералов Вам ею не пронять) Ваша критика равенства вообще и правового равенства в частности. Странно только, что Вы забываете ее уже немногими параграфами ниже, где пытаетесь понять, отчего несчастный русский народ не способен к демократии, на этом самом равенстве и покоящейся; а что, если виноват тот же самый российский здравый смысл, что продиктовал и Вам критику удивительной концепции «равенства»?! Обещаюсь, впрочем, не только показать ниже возможность свободного режима, отрицающего идею «равенства», но и растолковать тот констативный смысл, что стоит в демократии за этой странной идеей (и о котором не подозревает, возможно, ни один демократ!)

От души сочувствую Вам в несогласии дать Саддаму и членам «Черного сентября» право голоса при решении вопроса о будущем человечества. Но позволю себе напомнить – не из ехидства, а для пущей ясности вопроса – что почтеннейшее (для меня) Ваше несогласие ни в какие демократические ворота не лезет!

Но вот, усомнившись во всеобщем избирательном праве, Вы делаете следующий – ключевой для Вашей концепции – шаг и... гора родила мышь! Демократия так и остается для Вас единственной социальной истиной, а обещанная ее, истины, «неоднозначность» сводится к весьма нереволutionному тезису, что до истины (самой по себе вполне единой) надобно еще дорасти. Дальнейшее развертывание тезиса мне, уж простите, не так интересно...

Позвольте ли Вы мне развернуть действительно неоднозначную модель

социальной истины, где найдется собственное место и для демократии, и для ее конструктивной и свободной противоположности? Представитель московской системной школы А. Малиновский делит системы на «жесткие» и «дискретные» (я предпочитаю говорить о тех же типах систем как «интегрированных» и «дифференцированных»; в дальнейшем нетрудно будет увидеть, что «жесткость» характеризует только часть – и притом худшую – интегрированных систем). В первых из них «изменение одного элемента влечет за собой изменение в остальных частях системы». Иными словами, это системы иерархического типа. Таковыми являются в организме мозг, глаза, сердце, отдельная клетка – и весь организм в целом. Во вторых системах, напротив, «отдельные элементы связаны между собой не прямо, а через посредство их отношений к среде. Иными словами, они являются независимыми единицами, образующими систему благодаря тому, что обладают рядом общих черт» («Системные исследования», Москва, 1970, стр.14). Таковую систему образуют, например, пальцы руки, парные и множественные органы, клетки однородных тканей и т. д. Нетрудно согласиться с Малиновским, что «повышение организации достигается, как правило, путем жесткого сочетания взаимодополняющих элементов системы» (там же, стр.16). В самом деле, только интегрированные системы способны к сколько-нибудь значительному самоусовершенствованию; дифференцированные для этого слишком слабо связаны и нестабильны, они ограничены условием взаимного подобия своих элементов, существенная сложность для них хуже воровства. «Эволюция» в буквальном смысле слова, т. е. «развертывание» (процесс, чье название указывает на его у с л о ж н я ю щ и й характер), возможна только в интегрированных системах. В дифференцированных возможна только конструктивно упрощающая «Рационализация» – или уж деструктивно переусложняющее, дестабилизирующее «Вырождение». Это не значит, конечно, что интегрированные системы кругом лучше дифференцированных. Интегрированным органом и ложку не ухватишь. Только дифференцированные органы способны к активному контакту с внешним миром. Другой недостаток, становящийся страшным с течением времени, это невозможность выбраковки элементов интегрированной системы: она легко дезорганизуется при выпадении даже одного звена. Итак, встав однажды на путь Эволюции, система вынуждается этим все ошибки своей конструкции разрешать через все новые и новые усложнения. И поскольку есть мера в вещах, то конструктивное усложнение Эволюции не может рано или поздно не смениться деструктивным переусложнением Вырождения. Каковое, впрочем, обеспечит (не автоматически!) возможность отталкивающейся от него Рационализации. Нетрудно сообразить, что не может неограниченно длиться и Рационализация. Более того, возможности конструктивного упрощения гораздо короче, гораздо уже таковых у конструктивного усложнения. В результате Рационализация с неизбежностью

переходит со временем в переупрощающую, примитивизирующую, закосневающую «Деградацию», характеризующуюся одновременно упрощением и интеграцией (подробней взаимные переходы процессов прогресса и регресса описаны в моей книге «К единому знанию»). Деградация – самый страшный из регрессивных процессов, но она обуславливает (опять же не автоматически!) возможность отталкивающейся от нее наитворческой Эволюции. Каждая форма прогресса отталкивается от предшествующей специфической формы регресса и перерождается со временем в регресс, противоположный по типу тому, от которого она отталкивалась. Конструктивное и деструктивное, прогресс и регресс, добро и зло, жизнь и смерть нерасторжимо переплетены и взаимосвязаны в этом мире. Бытие в нем неизбежно трагично, устойчивые мир и благо не от мира сего – вопреки «оптимистической» благоглупости либералов...

Это открывается уже на уровне биологии. Что специфическое происходит на уровне социальной истории? А здесь мировая социальная организация (более удобный для меня термин; я строю общую теорию организаций в качестве следующего шага за общей теорией систем) не сложилась еще в единое тело, разорвана до сих пор на Запад и Восток, каждый сильный своеобычной силой – каждый уродливо однобокий. «С Востока свет, с Запада техния», – заметили уже ограниченные, сухие, трезвые, отнюдь не склонные предаваться культурологическим фантазиям, но не лишенные воли к объективности римляне (имея в виду под «технией» не только технику, но всю совокупность рационалистических разработок, включая науку, формальное право и пр.) И уже у этого, в общем весьма довольного собой и своими достижениями народа хватило ума осознать, что света в технии нет...

Нетрудно видеть, что Запад строит свою социальную организацию более всего как дифференцированную – и это обуславливает его пресловутый индивидуализм, его рационализм и его беспомощность перед несводимо (к простоте) сложными, а тем более – перед бесконечными сторонами бытия, в которых и заключается – даже для римлян – свет. Это же обуславливает мужественный (в крайнем американском варианте – до карикатурности) характер Западной цивилизации, ибо характерный мужской ум, как рыба в воде, чувствует себя в рационально простом, – и, как рыба на суше, беспомощен перед несводимо сложным, где силен же не ст е н н ы й Восток, строящий свою социальную организацию более всего как интегрированную.

Переводя абстрактное слово «интеграция» на обиходный язык, скажем, что Восток стремится строить свою социальность как семью. Нет, я не впадаю в сентиментальность. Я вполне отдаю себе отчет, что как раз в семье удается с наибольшей легкостью и самая зверская эксплуатация человека человеком (чужого так просто не запряжешь!), и самое эффективное оболванивание «младшего» в (близоруко рассматриваемых) интересах «старших». Можно конста-

тировать, что Восточная социальность есть в наибольшей части своей истории большая и уродливая семья. Очень легко понять мотивы Запада, уже в античности формализовавшего социальные и правовые отношения своих граждан как чужд друг другу и вернувшегося затем к той же практике в период Возрождения, в поздней фазе Средневековья, а тем более в Новое время; этим способом задача построения здесь справедливой и гуманной социальности упрощалась колоссально! Но... Но забавно звучит та наивная гордость, с которой Запад говорит о своем, на недоверии к человеку построенном правопорядке – ведь тем самым он вступает в скандальное противоречие с «иудео-христианскими основаниями» собственной цивилизации. Да все вообще развитые религии и сколько-нибудь глубокие моралисты сходятся без единого исключения на призыве к братству – семейственности – в человеческих отношениях.

Именно взаимная отчужденность – дифференцированность – человека от человека приводит на Западе к удивительной (по своему противоречию всем фактам человеческой природы) доктрине о каком-то мистическом «равенстве» людей: здоровое ее оправдание заключается в том и только в том, что дифференцированные системы не способны строиться как иерархические – это приводит к их Вырождению и распаду. Но какие же кошмарные потери несет Западная цивилизация, ничтоже сумняшеся уравнивая своих лучших с худшими! «Худших везде большинство», – сказал величайший из семи греческих мудрецов, Биант из Приены. Лучших следовало бы лелеять, как глаз, как мозг, как сердце, – не уравнивать с большинством, подобным желудкам, мышцам и связкам! Утешительный Западный миф гласит: «Талант всегда пробьется», – как будто талант непременно рождается с медным лбом. Словно в ответ на этот пошлый оптимизм говорит Сент-Экзюпери: «Стоит послушать одну крестьянскую песню XV века, чтобы ощутить, как низко мы пали!»

Но что конкретно, если не произвол, можно противопоставить на Востоке демократии Запада? Аристократию талантов и добродетелей, о которой бессильно (иногда и довольно уродливо) мечтали на Западе его величайшие мыслители, Платон и Аристотель, Возрождение и Просвещение, и которая была осуществлена в Китае в его классический период конфуцианцами. И до начала XIX в. то было самое образованное, свободное, гуманное, стабильное – и самое экономически процветающее общество на земле (так, во всяком случае, полагает в Британии виднейший исследователь китайской культуры Данэм, к которому присоединяются в США добросовестнейшие экономисты и футурологи Кан и Уинер).

Какое место занимает в системе Запада-Востока Россия? Очевиднейше для всякого, кто хоть что-то знает и о России, и о Западе, что Россия – Восток, как бы ни запутавшийся в поверхностном слое своих, Западом определенных представлений. Но что характерно – множество раз, когда я пытался растолковать

моим соотечественникам особенности устройства китайской аристократии талантов и добродетелей, вербовавшейся из всех слоев общества, мои собеседники никак не могли взять в толк, почему же то не была демократия – ежели «из всех слоев»?! Люди эти, искренне считая себя «демократами», понимали под «демократией» именно а р и с т о к р а т и ю талантов. Идея, что демократия неотделима от убеждения, что все люди «равны» в каком-то буквальном, хотя и неизъяснимом смысле слова, никак не лезла ни в одну испытывавшуюся мною на сей предмет русскую голову.

Быть может – лестная надежда! – Россия, столько веков прожившая под боком у Запада и столь многому у него, желая или не желая того, научившаяся, станет когда-нибудь первой страной, которая сумеет совместить в себе и Восток, и Запад, что с нее начнет сростаться расколотое тело мира. Но прежде должно нам начать с осознания и реализации доминирующей в нас природы – природы Востока. Когда читаю я об ужасах империи Цинь – первого в истории человечества тоталитарного государства (где, как Вы догадываетесь, социальное упрощение шло бок о бок с интеграцией, и результатом была Деградация культуры и социальности великого народа на уровень дикого первобытного рода), я говорю: как это похоже на нас! Когда я читаю о Хань, первой принявшей конфуцианство в качестве официальной идеологии, в честь которой до сих пор называют себя китайцы народом Хань, мне кажется, что это тоже о нас – о нашем будущем.

История нашего века продемонстрировала, что чем дальше на Восток, тем сильнее был (и остается еще) тоталитаризм, тем слабей была и остается демократия. Вы предлагаете, извините, экстравагантное решение: объяснить тоталитаризм детским возрастом народа. Это у китайцев детский возраст?! Это у американцев зрелый?! Просто, в моей системе, чем восточней, тем интегрированной социальность и культура, и это, естественно, делает их более уязвимыми для тоталитаризма, но и более перспективными для такого расцвета культуры и общества под эгидой будущей аристократии духа, какому Запад сможет только позавидовать...

С удовольствием отвечу на все Ваши вопросы, возражения и недоумения.

Нина Воронель

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО ПОДЗАЩИТНОГО

В России были очень балованные кошки. О них так и говорили: «Доброе слово и кошке приятно». Здесь, в рассеянии – я имею в виду культурное рассеяние русскоязычного братства, а не еврейскую диаспору, – кошки гораздо менее

требовательны. Они рады любому слову, пускай даже ругательному – ибо даже ругательное слово есть знак внимания. Поэтому каждый раз, когда в чьей-либо статье мелькнет мое имя, пусть мимоходом, пусть что-нибудь этакое, вроде: «Какую дрянь опять написала Нина Воронель», я не могу сдержать счастливых слез – какой милый человек: нашел время прочесть и даже написать о прочитанном!

Разумеется, я была польщена, прочитав, что мое разделение народов на взрослые и невзрослые недостаточно научно. Подумать только – недостаточно научно! – значит, немножечко все-таки научно? А если так, то, может, этого достаточно для нашего недостаточно научного журнала? Ведь я на научность и не претендую – я рассматриваю свое определение как художественное, а точнее как метафору. Художественное определение – это не ключ к наглухо запертой двери, а лишь отмычка: войти с его помощью можно, но запереть за собой дверь не удастся. И потому всякая наукообразная критика моего подхода видится мне как попытка запереть дверь отмычкой. Охарактеризовав ее так, я сама лишаю себя права ее обсуждать или даю себе право ее не обсуждать, – что, впрочем, одно и то же.

Обсудить я хочу только один параметр предложенного мной спорного определения – понятие времени. Станным, совершенно антинаучным образом у некоторых моих оппонентов проскальзывает априорная уверенность, что при определении возраста народа историческое время соответствует времени календарному. Они всерьез указывают на особенности не вполне взрослого китайского народа, которому якобы уже несколько тысяч лет, в противовес исключительно зрелым американцам, насчитывающим не более трехсот лет от роду. Словно им неведомо, что народ – это организм, развивающийся в соответствии со временем «биологическим», а часы, отсчитывающие календарное время – это неживой механизм. Ведь никого не удивляет, что бабочка в возрасте 20 часов – уже старушка, а слон тридцати лет – еще ребенок.

Мне видится, что время жизни, расцвета, созревания и старения народа определяется неким таинственным набором параметров, среди которых и пространство, им занимаемое, и характер отношений в семье, и мелодии его колыбельных песен, и бог его знает, что еще. Пусть ученые ищут эти параметры, я лишь предложила метафору-отмычку, пригодную для практического применения.

Любопытно применить эту отмычку для анализа народа Израиля – я имею в виду не «Народ Израиля» с большой буквы – евреев, а просто израильтян. Несмотря на неоспоримую древность «Народа Израиля», израильтяне – очень молодое образование. Дело не только в краткости времени существования государства – хоть «биологического», хоть календарного – но и в разнообразии составляющих современный израильский народ этнических групп, еще не

образовавших пока гомогенную смесь. Ни для кого не секрет, что группы эти прибыли на общую историческую родину не только из разных географических областей, но и из разных исторических эпох. И есть среди них очень юные.

Потому главной особенностью израильского общества мне представляется острое противоречие между старшей сестрой – взрослой демократически настроенной интеллигенцией, оснащенной всеми добродетелями и пороками христианского гуманизма, и младшей сестрой – народной массой, не ясно различающей добро и зло и тоскующей по сильной отцовской руке. Поскольку на сегодня христианско-демократическая воля старшей сестры определяет реальную политику нашей страны, младшей сестре остается лишь фрустрация неудовлетворенных желаний. Пока. А дальше время покажет – то ли младшая подрастет, то ли старшая скончается в результате омолаживающей смены поколений.

В этом ракурсе приобретает символический смысл народное паломничество на могилу Менахема Бегина. Он хорошо вписывался в образ отца, его можно было обожествлять, он вызывал и у своих последователей и у своих противников сильные чувства, которые не пристало питать к демократическому лидеру. Демократический лидер не заслуживает сильных чувств – он может быть переизбран в следующей каденции. А молодой народ жаждет сильных чувств, он приходит на могилу ушедшего в лучший мир отца и плачет искренне и блаженно, как никогда не заплакал бы по избранному не сердцем, а равным и тайным голосованием.

КНИГОТОВАРИЩЕСТВО „МОСКВА – ИЕРУСАЛИМ“

Тель-Авив 61440, п/я 44050, тел. 03-394525

предлагает

НИНА ВОРОНЕЛЬ. Кассир вечности (пьесы и эссе).

Худ. Г. Виницкий. 357 стр.

Книга, равно обращенная к тем, кто ищет в литературе острого сюжетного драматизма, и к тем, кто хочет понять окружающую жизнь.

Александр Воронель

НОВЫЙ ДУАЛИЗМ КАК АЛЬТЕРНАТИВА БИБЛЕЙСКОЙ ИДЕЕ

Воспитанные на греческих мифах и христианской литературе, мы привыкли думать, что альтернативой монотеизму может быть только поли- либо а-теизм. Между тем, миллионы людей в течение многих сотен лет находились под сильным влиянием философски совсем другого образа мыслей – дуализма, который может вполне мирно ужиться и с атеизмом и с политеизмом. Категорически несовместим он только с Единобожием.

Действительно, поверить в основанное на противоречии, биполярное строение Вселенной можно и без Бога – плюс, там, и минус, протон и электрон... Бог тут ни при чем. И при вере в целый сонм гомеровских богов тоже, вполне возможно допустить, что боги разделились на партии: в «Иллиаде», скажем, Афродита и Арес за Троию стоят, а Гера и Апполон – за ахейцев. И – ничего.

Но невозможно без натяжки ощутить, что Бог один и одновременно, что их два – здесь наступает предел нашей интеллектуальной гибкости.

Кстати, в ивритской Торе так и написано, что Он один... Но уже в русском переводе написано **един**, что в отрицательной форме предполагает возможность дальнейшего расщепления, которое было весьма актуально в греческой литературе раннего времени. Христианство неслучайно добавило сюда догмат троицы. Искушенный греческий разум очень рано ощутил необходимость смягчить противопоставленность Отца и Сына, которая больно ранила религиозное сознание первых христиан и соблазняла гностиков. Наличие двух Богоподобных персонажей слишком очевидно подсказывает мысль об их возможном противопоставлении (борьбе), которое было присуще одной из наиболее популярных и, по-видимому, влиятельных религий древности – зороастризму. Как ересь, эта мысль (о борьбе начал), проникла во все варианты монотеистической религии – ессеи в иудаизме, множество сект гностиков, манихей, богумилы, катары (альбигойцы) в христианстве, исмаилиты (в исламе) – и определяла мысли людей и судьбы народов в течение многих веков.

Ведь и впрямь кажется естественным предположить некую бинарность в основании вселенной : день и ночь, земля и небо, юг и север, мужчина и женщина, наконец. Конечно, юг никогда не станет севером, а женщина – мужчиной. Однако это не означает, что сосуществование этих элементов предполагает борьбу. Разве в реальности они несовместимы?

Главная особенность религиозного дуализма, однако, состояла именно в том, что он представлял эту бинарность, как форму противостояния, основание для борьбы, и тогда выплывали в сознании: друзья и враги, свет и тьма, жизнь и смерть, добро и зло. Вселенная наполнялась непримиримой враждой:

«Проникнитесь ясным пониманием двух сущностей,
Дабы каждый до Страшного суда сам избрал лишь одну из них:
Они суть Добро и Зло!
До скончания веков уделом лживых будет наихудшее.

А правых – наилучшее». (*Древнеиранская литература, «Худлит», 1973*)

В очень древние времена подданным Персидского Царства, населенного преимущественно добродетельными сынами Света, было совершенно очевидно, что кочевники Востока и Запада нападают и грабят их исключительно в силу своей природной склонности ко злу, ибо они – «лживые сыны Тьмы». «Сынам Тьмы» это было невдомек, и они даже похвалялись своими грабежами, как подвигами Добра и доблести, во впечатляющих стихах, воспевавших их правдивость и клеймящих позором скупых и трусливых, «лживых» оседлых жителей. С распространением этих идей по лицу земли и смешением народов весь мир для дуалистов стал полем ожесточенной борьбы и отчасти даже утратил свою положительную ценность. Примерно наказать сыновей Тьмы (для общего дела добра, конечно!) зачастую кажется людям даже важнее, чем просто эгоистически мирно наслаждаться светом (для себя!).

В течение веков эта древняя концепция была глубоко скрыта под поверхностью господствующих идеологий и, наконец, прорезалась в модернизованном мире вследствие упадка авторитета традиционных религий:

«Вихри враждебные веют над нами,
Темные силы нас злобно гнетут.
В бой роковой мы вступили с врагами...»

Русские марксисты, полюбившие эту песню, не знали, что они следуют одной из древнейших религиозных традиций. Они думали, что свободны от всяких религиозных предрассудков вообще.

Возвращение верований, предшествовавших возникновению современной цивилизации, в том числе и возвращение древнего дуализма, есть прямая функция ослабления влияния культурных религий. Люди, досросшие до религиозных сомнений, часто думают, что именно религия мешает дальнейшему развитию их культурного творчества. И если бы это связывающее влияние религии устранить...

Однако, оказывается, что человек – не чистый лист, с которого можно безнаказанно стереть предшествующее. Под стертым просвечивает забытый подтекст, который небезразличен для современности. Возрождение племенных и магических культов в наше время, возрождение веры в то, что добро и зло существуют в людях раздельно и овладевают настолько, что можно провести

различимые границы между сынами Тьмы и сынами Света, мощно заявило о себе в нашем столетии. Тысячелетиями эти архетипы присутствовали в нашей цивилизации, как неформулируемые подспудные течения, как неосознанные особенности профанного сознания, запрещенные к употреблению в культурном обиходе. Но вот в нашем веке вместе с повышением роли и значения масс, древние устойчивые массовые стереотипы вновь обрели живость и исходно присущую им убедительность. Может, и в самом деле, цивилизованные группы слишком далеко забежали вперед в своем либерализме? Может, ненависть к чужому защищает нас от опасностей?

Культура навязывает свои штампы, рационализирует и заглушает инстинкт. Быть может, архаическое сознание должно быть реалистичнее – оно ближе к нашей косной природе. Может 'быть, поэтому оно ближе и к природе вещей? И лучше защитит нас в наше трудное время?

Может быть, Заратустра правильно указывал, что зло существует изначально и вечно противостоит добру? А чаемое нами царство Света неотвратимо и вовеки враждебно царству Тьмы. И сыны Света в этом мире вечно обречены сражаться против сыновей Тьмы. Быть может, именно это сражение – норма, а покой нам только снится?

Поэт все-таки, наверное, знал, что говорил...

Между тем, если верить Библии, в конце каждого дня творения Творец окидывал взглядом содеянное и каждый раз убеждался, что «это хорошо». На языке Библии это означало также и «добро». Где же тогда находилось место злу?

Библейский этот язык и соответствующее умонастроение породили в свое время идею монизма, т. е. такого сущностного единства пространственно–временного мира, которое исключает смертельную вражду и фатальную предопределенность разделения. Пророки потом много столетий склоняли к миру, взаимной любви и предсказывали времена, когда «не будут больше учиться воевать». Эта именно идея теперь доминирует в признанных идеологиях, господствующих церквах и авторитетных философских концепциях Свободного мира, определяя не только политику, воспитание детей и искусство, но также и основания науки, применение техники и направление экономики. Не требуются ли в наше время какие-нибудь поправки?

Как увязать между собой два эти взаимно враждебные мировосприятия? Как соотносятся они с истиной и опытом нашей собственной жизни?

Добро. Как его понимать?

В разных языках добро и зло противостоят друг другу по-разному.

Характер этого противопоставления отчасти предопределяет возможные

формы и пределы распространения монистической религии, унаследованной от древнего источника, либо последующие гностические, дуалистические ее толкования в духе иных верований.

В еврейском языке **добро** и **зло** весьма однозначно совпадают с менее нагруженными терминами **хорошо** (тов) и **плохо** (ра) и первоначально не склоняют ни к какой персонификации этих простых оценок.

Между тем, в индо-европейских языках, и в русском, в частности, оба основных понятия содержат много дополнительных смыслов. В то время, как добро (Good) означает также ценную **вещь**, субстанцию и ассоциируется с Богом (God), зло (Evil) содержит в себе дополнительный оттенок намерения и последовательно наводит на мысль о соответствующей **воле** (Will). Это несоответствие несомненно сыграло свою роль в гностицизме и других ересьх первых веков христианской эры и в какой-то мере было преодолено всеми существующими сегодня церквями.

Русская философская и художественная мысль исходно питалась православной религиозной традицией, происходящей прямо от греческой ортодоксии и догматически противопоставленной всякому гностицизму и дуализму по определению. Поэтому классическая русская литература, которая много лет была и русской философией, унаследовала, в основном, монистическую сосредоточенность на добре.

Однако, русская народная мысль столетиями была оторвана от культурного существования и еще с языческих времен формировалась в изоляции, или даже в некоторой оппозиции ко всем литературно выраженным идеям. Централизованно-полицейский способ насаждения добра и порядка, издавна практиковавшийся в России, естественно подтверждал жившую в народном сознании (или подсознании) зачаточную мысль о соответственно сформированной стратегии Зла.

Изоляция России от остальных христианских стран вследствие ее греко-православия, приучила российского гражданина к дуализму «мы и они» задолго до того, как советская власть подвела под это безотчетное чувство свою теоретическую базу.

Революция 1917 года, отняв много сил и эмоций, оставила массы в недоумении почти по всем основным мировоззренческим вопросам, которые народ вынужден был для себя решать в духе своих, прежде укоренившихся, архаических представлений. Советский марксизм, конечно, очень ограниченная теория и на большую часть жизненных вопросов вообще не отвечает. Однако, практика изолированного государства, находящегося в безвыходной конфронтации со всем остальным миром, внушает некоторые идеи. Особенно убедительно для российских граждан какое-то время звучали гипотезы, представляющие весь внешний мир в виде управляемого из Центра, враждебного Единства, систематически

действующего против интересов всего человечества, и особенно лучшей его части, поместившейся в России. Кое в чем это, и в самом деле, напоминало древнеперсидскую империю. Совершенно очевиден гностически-манихейский характер такого мироощущения, хорошо сочетающийся с «капиталистическим окружением», «американским империализмом», «жидо-масонским заговором», «мировым сионизмом», «русофобией» и другими мнимыми сущностями вплоть до «сатанизма».

Действительно, большая часть советской литературы превратилась, по существу, в манихейскую письменность и сосредоточилась на нетривиальной задаче построения новой, внехристианской этики. Эта прометеевская попытка со временем надорвала культурные силы нации и вернула многих русских писателей к христианству. Внимательный анализ, однако, обнаруживает, что это вновьобретенное христианство отличается от того, что исповедовали их отцы и деды.

Разрыв этот особенно ясно виден в серьезной, глубокой литературе; например, в последних романах А. Солженицына, полных язвительных полемических выпадов в адрес Льва Толстого. Суть несогласия выражена в одной из первых, открывающих «Август 14-го», сцен – визит провинциального гимназиста Сани Лаженицына в Ясную Поляну:

«Скажите, ... – какая жизненная цель человека на земле?

– Губы Толстого, не вовсе утонувшие в бороде, ... сдвинулись в произнесенное тысячу раз: Служить добру. И через это создавать Царство Божие на земле.

– Так, я понимаю! – волновался Саня. – Но скажите – служить чем? Любовью? Непременно – любовью?

– Конечно. Только любовью.

– Только? – вот за этим Саня и ехал... – ...А вы уверены, что вы не преувеличиваете силу любви, заложенную в человеке? Или, во всяком случае, оставшуюся в современном человеке? А что, если любовь не так сильна, не так обязательна во всех и не возьмет верха – ведь тогда ваше учение окажется... без..., – не мог договорить...

– Потому что, как я наблюдаю, вот на нашем юге, – всеобщего взаимного доброжелательства нет! ...

...Из -под бровей мохнатых твердо посмотрев, бесколебно ответил старец:

– Только любовью! Только. Никто не придумает ничего верней.... – Саня опять заторопился:

– Что до меня – я так и хочу, через любовь! Я так – и буду. Я так и постараюсь жить – для добра. Но вот еще, Лев Николаич! Само-то добро! Как его понять? Вы пишете, что разумное и нравственное всегда совпадают...

Приостановился пророк, мол – да. И острием палки чуть посверливал в твердой земле.

– Вы пишете, что добро и разум – это одно, или от одного? А зло – не от злой природы, не от природы такие люди, а только от незнания? Но, Лев Николаич, – духа лишился Саня от своей дерзости, но и своими же глазами он кое-что повидал, – никак! Вот уж никак! Зло – и не хочет истины знать. И клыками ее рвет! Большинство злых людей как раз лучше всех и понимают. А – делают. И – что же с ними?..»

Обаяние этой сцены так велико, достоверность характеров настолько убедительна, что соблазняет проглотить без возражения заключенный в ней крючок, скрытую подсказку.

Семнадцатилетний гимназист Саня своими глазами кое-что повидал. Вот заметил, например, что на юге всеобщего доброжелательства нет... И мы с ним, конечно, согласны: нет его и на севере! Зло одной любовью не переломишь. На самотек такое дело пускать нельзя. А то еще может, не дай Бог, случиться, что любовь не возьмет верха...

А девятилетний гениальный Лев Николаич недоглядел. Может, он на юге не побывал, жизни не знает. Повторяет одно и то же по тысяче раз и в ослеплении своим высокомерно упорствует. Еще и палкой посверливает от нетерпения... Одним словом, бесколебно утонул в бороде, среди мохнатых бровей...

Вот и Библия уже три тысячи лет то же самое твердит: «...кроткие, мол, наследуют землю, и насладятся...» – Как же, держи карман, дождешься у них ...

Жизненный опыт и теоретический багаж большинства из нас, бывших и настоящих соотечественников Солженицына с юга ли, с севера, подсказывает, что Толстой несомненно преувеличивает силу любви, заложенную в современном человеке. Наша циническая трезвость подсказывает, что «большинство злых людей как раз лучше всех и понимают...»

И любовь мы готовы высказать или обнаружить, только, если мы гарантированы, что она «возьмет верх».

И вот еще. Само-то добро! Как его понять?

Не следует ли его понимать, как абсолютную монополию, снабженную исполнительным механизмом, который беспощадно карал бы всякое злое дело? Или, еще лучше, всякое злое намерение... А добрые намерения, наоборот, всемерно бы поощрялись!

В самом деле, если зло в мире реально существует и активно действует, эффективно противостоять ему может только равная по своим земным возможностям сила. Такая сила, будь это героическая контрразведка или добродетельная полиция, вдохновенно воспетые по обе стороны железного занавеса, по закону исключения, значит, и есть добро ...

Так от иудео-христианской этики любви мы близко подходим к проекту новой, советской этики, афористически прекрасно выраженному словами поэта Станислава Куняева: «Добро должно быть с кулаками...»

Эта тенденция набирает силу не только в бывшем СССР.

Наша израильская ситуация также чревата дуалистическими осложнениями в политике, религии и общественной жизни.

Праведник и ядовитая змея

Нужно сказать, что исходный принцип иудео-христианской этики, приведший к евангельским максималистским формулам «не противься злу» и «если ударят тебя по правой щеке...», очень далек от обыденного сознания и не может быть понят без погружения в тот первоначальный контекст, в котором он возник. Этот принцип ярко выражен в дохристианской, талмудической притче о праведнике Хони и змее.

В одной деревне завелась ядовитая змея, от укуса которой погибали люди. На место явился приглашенный жителями праведник и бестрепетно сунул руку в змеиную нору. Змея, однако, не сумела причинить ему никакого вреда и с тех пор бесследно сгинула. Праведник объяснил это чудо так, что «убивает не яд, который внутри змеи, а грех, что находится внутри самого человека».

Зло, таким образом, может оказать свое вредное действие только, если оно встречает одноименный потенциал зла в человеке. Тот, кто внутренне свободен от зла в себе, неуязвим для всего зла мира по самому своему строению. Как благородный металл сохраняет свой блеск, проходя сквозь кислоты, которые растворяют только грязь и чуждые примеси, так истинный праведник (в более реалистической трактовке, только его душа) остается невредим и безмятежно спокоен, проходя через испытания. При таком взгляде непротивление злу, пожалуй, действительно есть наилучшая линия поведения мудреца, не возмущающая его блаженного состояния согласия с высшим Замыслом.

Демократизация этого принципа в христианстве, попытка, следуя за Евангелиями, распространить его на всех людей без различия уровней праведности привела в первые века к многосотлетней этической неразберихе, позволявшей, с одной стороны, прощать даже разбой и убийство, а с другой – побуждавшей слишком добросовестных христиан к мученичеству и постоянной игре в поддавки со смертью.

В еврейском вероучении обыкновенный человек, не достигший святости, может и даже обязан себя защищать, ибо только сохранение его жизни обеспечивает ему возможность совершенствования, одновременно составляющую его религиозный долг. В христианской культуре вся эта срединная область долгое время оставалась частично неупорядоченной, так что не только семнадцатилетним мальчикам и темпераментным поэтам приходило в голову помочь Добру кулаком.

Вековой опыт неурядиц, кровавых войн с еретиками, сочетание Реформации и Гуманизма и, связанная с ними, глубокая ревизия исходных принципов обеспечили Западный мир более или менее устойчивыми рецептами этического поведения. На сегодняшней российской почве это все еще область домыслов, поле для вольных творческих интерпретаций.

Андрей Синявский как-то сочувственно цитировал некоего православного старца, говорившего, что «по-христиански жить нельзя, по-христиански можно только умереть». И от себя добавлял: «Как же вы хотите, торговать по-христиански? И воевать по-христиански? И совокупляться...?!»

Вот, спустя восемь лет («Октябрь 16-го»), уже двадцатипятилетний артиллерийский офицер Саня Лаженицын в блиндаже обсуждает те же вопросы с интеллигентным священником о. Северьяном.

Теперь он повзрослел и увидел кое-что еще, в том числе и в Толстом:

«...Отец Северьян ...ласково блестящими глазами...

– А вам не приходило в голову, что Толстой – и вовсе не христианин? ...

Саня – пятью пальцами за лоб:

– Я – так не думал, ...Разве его толкование не евангельское? ...Мы, по сути, сдались, что заповеди Христа к жизни неприменимы. А Толстой говорит: нет, применимы!

Оправился отец Северьян ... :

– Как же должно упасть понимание веры, чтобы Толстой мог показаться ведущим христианином! ...Просто его критика Церкви пришлось как раз по общественному ветру...

– Н-ну, не знаю... – ошеломлен был Саня. – Если чистое евангельское учение – и не христианство?

– Да Толстой из Евангелия выбросил две трети! ...Он просто новую религию создает... Повторяет самый примитивный протестантизм...»

Вот – слово произнесено. В России происходила (и продолжается) религиозная Реформация, то есть обновление и религиозный разброд, которые заново ставят все коренные вопросы бытия и переформулируют по-своему Священное предание. На это, конечно, и семидесяти лет господства большевизма, как одного из крайних течений, недостаточно.

Конечно, Толстой – протестант и реформатор христианства в его православном варианте. Ведь и Лютера католический священник в его время не назвал бы «ведущим христианином». Просто его критика католической церкви пришлось по тогдашнему общественному ветру...

Основной мотив реформации Толстого – анархический, радикальный отказ от зла, от сопротивления злу и от веры в Зло – глубоко укоренен в историческом христианстве и близок к духу Евангелий. Как бы далеко в своем доктринальном радикализме ни зашел сам Лев Толстой, невозможно отрицать, что пафос

доброты, любовью преодолевающей зло, свойствен всей русской классической литературе.

Отрицательный герой русской классической литературы, будь это пушкинский Пугачев, толстовский Наполеон или булгаковский Понтий Пилат, всегда оказывается не столько истинным, сопринродным носителем зла, сколько невольной жертвой общественного неустройства, злосчастливым эпицентром неблагоприятного стечения обстоятельств. И само зло, соответственно, оказывалось ошибочно направленной социальной энергией, умопостигаемой функцией несовершенства межчеловеческих отношений, энтропией, а не имманентно содержащейся в человеке и мире субстанцией. Ибо зло в их картине мира – не элемент миропорядка, а нарушение порядка в расположении его элементов. Подобные нарушения сопровождают любой процесс, в котором порядок событий во времени нежестко согласован с расположением вещей в пространстве, так что неудачное расположение может приостановить и само течение процесса. Со временем (в принципе, может быть, очень долгим) такие узлы распутываются и порядок может быть восстановлен, если за протекшее время не возникло новое завихрение. Поэтому кроткие натуры часто весьма успешно справляются с конкретным злом, отказываясь от радикальных исправлений: «стерпится – слюбится», «худой мир лучше доброй ссоры».

Такой переизбыток добра в русской литературе умилял очень многих и законно наводил на мысль о пророчески-реформистском вульгаризаторстве. Русская литература прошлого игнорировала жесткий бытописательский реализм Библии и решительно предпочитала утешающие видения праведников:

«Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие, ибо они, как трава, скоро будут подкошены и, как злак зеленеющий, увянут. Уповай на Господа и делай добро; живи на земле и храни истину... Кроткие наследуют землю, и наслаются многообилием мира.» (Псалмы, 36,1-11).

Однако, вопреки всем декларациям идеологов о всесии любви, зло в жизни формирует действительность с такой впечатляющей силой и живостью, что невольно зароняет в душу сомнение в добротолюбивом монистическом принципе. Люди зачастую творят зло с такой силой убеждения, что возникает сомнение в самой их способности к добру. Злак зеленеющий вянет в свое время, а злому человеку сроки не установлены...

«Делающие зло истребятся, уповающие же на Господа наследуют землю. Еще немного, и не станет нечестивого; посмотришь на его место, и нет его.» (Псалмы, 36,9, 10.) Неужели библейский псалмопевец был просто наивный оптимист, лакировщик действительности?

Уже после смерти Толстого настали времена, когда зло, и с его протестантской, и с ортодоксально христианской точки зрения, открыто восторжествовало, по меньшей мере, на одной шестой части света. И не кроткие и «уповающие на Господа» унаследовали землю, а лихие и нечестивые. И произвели потомство, «как песок морской».

Целые поколения были воспитаны в новых правилах, в ожидании скорой победы в мировом масштабе. Будучи в абсолютном неведении относительно остального мира, они еще ощущали себя при этом единственными сынами Света, призванными в беспощадной войне окончательно сокрушить лживых сынов Тьмы, зачем-то избравших злодеяние.

Говорят, войны бывают справедливыми и несправедливыми. Но, во всяком случае, военные действия злых и добрых в принципе должны быть одинаковы. Ибо они направлены на убийство и разрушение.

Страна жила в состоянии вечной войны со всем миром, и это обстоятельство парадоксальным образом как бы подтверждало ее претензию представлять абсолютное Добро. А как же! Они были призваны наказать Зло и приспешников Зла. Ведь нет же сомнения, в самом деле, что весь остальной мир по уши погряз в грехе! Этого не отрицала и Церковь.

Во главе этой уникальной страны почти тридцать лет стоял человек, которого все (некоторые даже искренне) называли гением. Что-то загадочно-магнетическое действительно было в нем – может быть, как раз злодейство. Именно в сверхчеловеческом его злодействе и проявился его гений. Все остальное сомнительно. Но в злодействе он был действительно своеобразен и именно этим утвердил себя и увековечил.

Теперь другой современный русский, христианский писатель вынужден был как-то интерпретировать историю своей страны.

Настоящая сущностная новизна Александра Солженицына для русской литературы проявилась в том, что он впервые признал и художественно документировал, что направленная человеческая воля к злу может быть не помутнением сознания, ошибкой или уступкой, а просветлением, пророческой молнией, прорывом в будущее:

«У парапета стоял освеженный, возбужденный, в черном котелке, с неподстриженной рыжей бородкой, с бровями, изломанными в наблюдении... Глаза его смотрели колко, то чуть сжимаясь, то разжимаясь, выхватывая из этой сцены все, что имело развитие.

Просветлялась в динамичном уме радостная догадка – из самых сильных, стремительных и безошибочных решений за всю жизнь!

Воспаряется типографский запах от газетных страниц, воспаряется кровавой

и лекарственный запах от площади – и как с орлиного полета вдруг услезливаешь эту маленькую единственную золотистую ящерку истины, и заколачивается сердце, и орлино рухаешься за ней, выхватываешь ее за дрожащий хвост у последней каменной щели – и назад, и назад, назад и вверх разворачиваешь ее как ленту, как полотнище с лозунгом: ...ПРЕВРАТИТЬ В ГРАЖДАНСКУ!.. – и на этой войне, и на этой войне – погибнут все правительства Европы!!! ...Это – подарок истории, такая война!» («Ленин в Цюрихе»).

Кажется удивительным, что Солженицын – писатель, знающий вдохновение, верящий, что он призван сообщить благую весть своему народу, – готов бестрепетно поделиться своим даром с собственным малосимпатичным персонажем, гомункулусом, вынашивающим планы всемирной резни.

Писатель знает по опыту безошибочно радостное чувство единственно верного слова, этот знак небес... И он без сожаления приписывает его своему герою – несчастному, одержимому партийному склочнику, самоотверженному революционному крохобору!

Дело вовсе не в том, был ли реальный Ленин в чем-то похож или не похож на солженицынского героя. Гораздо важнее то, что Солженицын приписал возвышенный дар предвидения и свой пророческий пафос тому именно герою, которого он изобразил. Из опыта или по наитию он узнал, что разрушительная страсть, доведенная до экстаза, подобна любви и ниспосылается небесами. И зло, неотлично от творчества, питается своим вдохновением. К тому же, этот его персонаж – «маленький, с рыжей бородкой», одинокий – в сущности еще только Сальери в своем злом упоении.

А возможен еще и Моцарт – гений злой воли:

«Этот купол – не меньше ленинского, пол-лица – голый лоб... И беспощадный, нечеловеческий ум во взгляде:

– А Я НАЗНАЧАЮ РУССКУЮ РЕВОЛЮЦИЮ НА 9 ЯНВАРЯ БУДУЩЕГО ГОДА !!!

...И глазами, где ум не потратил себя ни на радугу красок, ни на ресницы, ни на брови, – бесцветным концентрированным умом – проникал...

Он надеялся, что будет так. Избалованный даром своих далеких пророческих пророчеств, он, оставаясь человеком Земли, не всегда отделить умел вспышку пророчества от порыва желания. Разрушительной русской революции он жаждал настолько яро, что простительно было ему ошибиться в порыве».

Это говорится об «отце Первой Русской Революции», Александре Парвусе, опередившем и Ленина, и Троцкого во всех их теориях, во всех их политических прогнозах, во всех их революционных планах. Он, Парвус, ошибся на один год в сроке второй русской революции, но нисколько не ошибся в характере события и его масштабе.

В отличие от суховатого Ленина, от карикатурного Сталина (в «Круге

Первом»), Парвус у Солженицына до такой степени обладает «даром далеких пронзительных пророчеств», что автору кажется даже уместным напомнить о его земном (а не небесном все же) происхождении. Он живет нестесненно и естественно, наслаждаясь жизнью, политической игрой и собственной одаренностью, не делая ничего, что не приносило бы ему удовольствия или немедленной пользы. Никакие посторонние призраки долга, страха или стыда никогда не отягощают его моцартовскую натуру. Полнота его существования вызывает оторопь у вечно стиснутого своими ритуально-конспиративными догмами, зажатого, зацикленного на своей маниакальной идее Ленина:

« Ленин: – Ну – зачем вам собственное богатство? Ну, скажите!

– Вопрос ребенка. Из тех «почему», на которые даже отвечать смешно.

Да для того, чтобы всякое «хочу» переходило в «сделано»... Такое же ощущение, как у богатыря – от игры и силы своих мускулов...

Помягче ему:

– Ну, как вам сказать... Как приятно иметь полное зрение, ... полный слух ...

Да разве Парвус из головы придумал, да разве это было его теоретическое убеждение? Это была – врожденная потребность... не упустить возникающую в поле зрения прибыль, ...почти бессознательно – и безошибочно!..

Да Парвусу – смешно, сотрясает смех грузное тело, любящее бутылку шампанского натошак и ванну принять и с женщинами поужинать...»

– Как тут поверить, что «кроткие унаследуют землю»? Особенно тому, кто сроду ванны не принимал, на женщин не тратился, а о шампанском только понаслышке осведомлен, так что способен поверить, будто можно получить удовольствие, выпив его натошак, целую бутылку...

Порывая с неписанным правилом, более столетия тяготевшим над русской литературой, обязывавшим считать гений несовместимым со злодейством, Солженицын неожиданно оказался ближе к Пушкину, запросто пившему шампанское и поставившему все же вопросительный знак в этом месте. Похоже, что он также гораздо ближе к реальности, как мы ее видим сейчас:

«... Обладал Парвус сейсмическим чувством недр и уже знал, что – поползут пласты!... Наконец-то она пришла, наступила Великая, Мировая!

Он давно ее предсказывал, называл, вызывал – самый мощный локомотив истории! ...Вся предыдущая жизнь Парвуса была как нарочно состроена для безошибочного создания этого Плана. И оставалось теперь ему – тому счастливому, чем Парвус был, скрещению теоретика, политика и дельца, – сформулировать план по пунктам в декабре Четырнадцатого, ...приоткрыть его германскому послу... (...теперь высшие правительственные глаза предусмотрительно засматривали в его пророческие) ...Все это Парвус решил блистательно – ибо все это было в его природной сти хии... Гениальность соединения торговли и революции в том и состояла, что революционные агенты под видом торговых

... ездили от Парвуса совершенно легально и в Россию, и назад. Но высшая гениальность была в отправлении денег. ...Вот был гений Парвуса: импорт товаров, таких нужных для России, чтоб вести войну, давал деньги выбить ее из этой войны» («Ленин в Цюрихе»)

В этом наполовину ленинском ревнивом восхищении – потому что в «Красном Колесе» десятки страниц написаны, как внутренний монолог одного из персонажей и автору нельзя вменить всякую строчку – наполовину солженицынском признании злого, ненавистного «блистательным», бесечно естественным, гениальным, скрыто больше, чем только обыгрывание гротескного словопотребления партийных манипуляторов, больше чем писательская способность к перевоплощению.

В этом содержится также и искреннее признание высокого онтологического статуса враждебной силы («...посмотришь на его место, и...» – вот он!), которое столь внятно отличает Солженицына от всей предшествующей русской литературы. Может быть, Достоевский и хотел бы приписать такой титул своему герою – Ставрогину – в «Бесах», но остановился перед мировоззренческими последствиями такого шага и обрек его на самоубийство.

Пророком назвал Солженицын Льва Толстого в несколько ироническом контексте «Августа 14-го». Пророком можно было бы назвать и самого А.Солженицына. Но пророчествуют они разное и, может быть, в самом деле несовместимое в пределах одного вероисповедания.

Солженицын, признавая за силой зла статус гениальности, невольно подталкивает нас к признанию существования в мире двух сил.

Сравнимых по их онтологическому уровню:

«Он назвался Парвус – малый, но был неоспоримо крупен ... И восхищала реальность силы... Никто... в Европе не мог перескочить и увидеть: что ключ мировой истории лежит сейчас в разгроме России... Никому из них не доставало той захватывающей цельности, которая одна и сотрясает миры и творит их!»

Такое признание в солженицынском контексте означает, что зло способно быть неиллюзорным, творящим фактором. Исторически мы знаем, что это очень близко к действительности. Значит ли это, что зло может быть направляемо отдельной силой, враждебной человечеству?

– Может быть, зло не менее субстанционально, чем добро?

Лев Толстой не принял бы такой постановки вопроса.

Классический русский писатель не принял бы такой мрачной истины.

Солженицын при торжестве этой видимой истины родился. И торжествующее повсеместно зло воспринимал как эмпирический факт. Как одну из имманентных характеристик бытия.

«Все говорят: нет правды на земле.

Но правды нет и выше! ...»

Нет слов, изобретенная Лениным «партия нового типа», и весь его заговорщицкий стиль наводят на мысль о стратегическом сражении сил зла против всего мира, и против России в частности. И план Парвуса несомненно существовал. И даже, наверное, существовала у тех, кто в этом плане участвовал, уверенность, что «это будет последний и решительный бой». Расхождение с миром было у них только в том незначительном пункте, что они себя считали единственными представителями сил Добра («Лишь мы ...владеть землей имеем право»). И в этом качестве были готовы на все. В том числе и на зло.

Солженицын не волен переписать историю и устранить зло. Также трудно ему изобразить Русскую революцию иначе, чем торжеством зла. Однако, это торжество не обязательно было видеть результатом определенной стратегии. Приписывая злу определенную стратегию, Солженицын, в сущности, оправдывает его. Ибо, конечно, Богу известен план Парвуса. И тогда то, что Он попустил ему осуществиться, что-то означает (!?).

Однако, быть может, Катастрофа наступила вовсе не как увенчание Плана, а вне всякой связи с ним? Внутренняя работа разрушения совершалась в России десятилетиями, а ведь ломать – не строить. Плана не надо.

Кто только ни пророчил, кто ни приложился к пророчествам о русской революции! Маяковский еще за год до Мировой войны объявил: «В терновом венце революций грядет Шестнадцатый год!»

– Неужто гениальный Парвус и ему умудрился подсказать свой план?

Нет, полторы тысячи страниц «Марта 17-го» Солженицын посвятил описанию хаоса, который воцарился в Петрограде в результате беспричинного раздражения Тимофея Кирпичникова, фельдфебеля учебной команды Волинского полка, поднявшего бесцельный и бессмысленный мятеж, перекинувшийся затем на весь гарнизон и рабочие районы. Из описаний явствует, что крушение произошло не столько в результате действий самих восставших, сколько вследствие халатности и неправдоподобного идиотизма всех управляющих звеньев, включая самого царя. Никто из реальных участников событий, начиная с Кирпичникова и кончая царем, в План Парвуса, конечно, посвящен не был. Но, может быть, гений Парвуса, вдохновленный злым Замыслом, предвидел и это?

Следует помнить, что никакого опытного доказательства в пользу конечной победы добра мы в жизни не наблюдали. Даже перестройку в СССР вряд ли стоит сейчас рассматривать как победу Добра. Последствия ее предсказуемы не более, чем последствия Февральской революции 1917 года. Но, если победа добра не обеспечена автоматически, скажем, несуществованием Зла, то нужен же и план, какая-то стратегия битвы! Где тогда может найтись место такому плану?

Плану, как продукту творческого сознания, и место может найтись только в сознании, привыкшем властно упорядочивать хаос реальной жизни. Вот в сознании, арестованного восставшими, председателя Государственного Совета Ивана Щегловитова: «Два десятка лет наблюдая размыв и разрушение при апатии всех, – мог он ожидать плохого. По пути Щегловитов повидал взбудораженные улицы и тут ...роящийся дворец – и объем происходящего выступил перед ним. Это – не эпизод с растерянной петроградской администрацией, но – крушение, которого и следовало ждать в непрерывно раскачиваемой, подрываемой стране» («Март 17-го»)

И он, между прочим, сыграл свою, назначенную не Парвусом, роль в роковом Плане, в общем «размыве и разрушении», поглотившем страну. Не затушив в свое время дела Бейлиса, очевидного для всякого грамотного русского юриста (в Российской истории были прецеденты), он сам добавил к позору и разрушению Империи больше, чем мог бы скомпенсировать монархический энтузиазм, пробужденный этим делом в сердцах сынов Света из Черной сотни. В План верится тому, кто и сам составлял и осуществлял планы.

Только людям, которые действительно управляли и верили, что можно управлять обществом, как кораблем, может прийти в голову, что кто-то этот корабль злонамеренно раскачивает (и даже подрывает). В свободных странах нет никакого, отдельного от граждан, корабля. И те, что гребут, и те, что раскачивают, по определению, участвуют в общем движении. Поэтому направление движения у них очень редко соответствует задуманному, и само-то движение, то и дело, стопорится и образует завихрения и тупики – источники беспорядка, социальное зло. Поэтому им так трудно поверить в План. И даже трудно выносить более или менее масштабный замысел. Героическая натура Солженицына не может смириться с таким отклонением от целесообразности:

«Тут бы и утешиться нам толстовским убеждением, что не генералы ведут войска, не капитаны ведут корабли и роты, не президенты и лидеры правят государствами и партиями, – да слишком много раз показал нам XX век, что именно они.» («Август 14-го»)

Конечно, нам показал это XX век, прежде всего потому, что мы других веков не видели. И Солженицын, дитя нашего века, держит в уме то же, что и мы: «Сталин, Гитлер...» Но не забудем, что и Толстой своим мысленным взором видел Наполеона, Николая I, Александра II, Бисмарка, а не одного лишь Платона Каратаева.

Не факты формируют идеологию писателя – его идеология диктует ему отношение к увиденным фактам. Оба, Л.Толстой и А.Солженицын, прежде всего идеологи, и различие их идеологий не сводится к разнице между XIX и XX веками. Их спор так же актуален сегодня, как мог бы быть и сто лет назад, хотя тогда технические средства еще не позволяли миллионы людей разом заморить в

лагерях, сжечь в печах, разорвать бомбами.

Конечно, президенты и лидеры правят государствами и партиями, – «да слишком много раз показал нам XX век», что правят они из рук вон плохо. Непоследовательно и нелогично. Совершая бесчисленные непоправимые ошибки и безвольно поддаваясь настроению толпы. Ради сиюминутной пользы нанося долговременный вред себе и своим странам.

И происходит это не только от их глупости. Это происходит от постоянной необходимости учитывать одновременно множество факторов, часть из которых еще не определилась, а часть заведомо носит коллективно-статистический характер, не поддающийся рациональному учету.

Лев Толстой был одним из первых, кто уловил и сформулировал эту многопараметричность исторического процесса и парадоксальный характер воздействия на него индивидуальной воли лидера, которая в одно и то же время упорядочивает коллективное поведение (т. е. творит добро) и задерживает свободное волеизъявление каждого, т. е. накапливает зло.

Однако, те, кому действительно случалось в жизни управлять, ...а также те, которыми слишком долго управляли, имеют другой жизненный опыт. Они знают, что иногда при известных, неконвенциональных средствах и безмерной настойчивости планы осуществляются. Благодаря или вопреки действительности. И жестко сконцентрированная воля одного человека способна, как игла, проколоть ветхую оболочку реальности, непроницаемую с точки зрения ординарного здравого смысла. Это побуждает людей изобретать все новые планы. Одних – чтобы сохранить, других – чтобы разрушить...

Такая борьба Добра и Зла, сынов Света против сыновей Тьмы выковывает характеры: плодит героев и гениев.

«Любовь может и не взять верха»

Хотя вопрос о добре и зле не нов и обсуждается столько лет, сколько существует человечество, в периоды кризисов и катастроф Зло слишком зримо обнаруживает признаки реального существования. В такие периоды монистическое добротолерантное стоит перед опасностью обратиться в либеральную слепоту.

В годы массового террора многие люди в СССР, не говоря уже о западных гуманистах, выражая свое естественное неверие в организованное Зло, ссылались на судебные ошибки и недоразумения: «лес рубят – щепки летят». Именно этого пронизательные советские власти от них и добивались – непризнания их систематического, массового, безразборного террора сознательным политическим преступлением. Это естественно парализовало саму мысль о возможности сопро-

тивления.

Процветание и либерализм Западных стран также накапливают солидный потенциал зла (в частности, в виде зависти) как внутри, так и вне их самих, и не могут служить реальным свидетельством «правильности» пророческих откровений и надежности следования по этому пути. Риск для нашей жизни и благополучия на свободе возрастает, «любовь может и не взять верха». Змея может и укусить – возможно, по ее темноте, мы недостаточно праведны.

Зато отпадает риск идеологический – что наша праведность есть лишь иллюзия, а наше добро невзначай обратится во зло. Таков наш выбор. Либо стремиться к высшему, рискуя всем. Как поступил праведник со змеей. Либо не рисковать ничем и ни к чему не стремиться.

Выбор в этом вопросе не связан с опытным знанием, а определяется «общественным ветром» и индивидуальной волей. Общественная доминанта в России в начале века была, скорее, в пользу Толстого. А сейчас?

Писатель лишь в небольшой степени способен направлять внимание и понимание своего читателя. Там, где Солженицын прямо формулирует свои христианские убеждения, он остается вполне ортодоксален. Однако в атмосфере Реформации, в неразберихе ересей, нюансы взглядов влияют на людей сильнее сбалансированных формул. Гностический акцент Солженицына, отличающий его от Л. Толстого и приближающий к народной массе, отталкивает его в сторону дуализма гораздо дальше от середины, чем классическая русская литература могла бы себе позволить.

Философский монизм ничуть не более оправдан нашей жизненной практикой, чем обоснованное сомнение. Однако, в отличие от сомнения, он конструктивен. Вера в добро толкает людей на риск и склоняет к совместным действиям. Либерализм позволяет дискуссию, благодаря которой при нем не исключена и противоположная точка зрения.

Доверие к природе и людям порождает развитие науки и техники, отказ от засекречивания знаний, распространение образования, склонность к путешествиям, культурный обмен.

Сомнение ведет только к ограничениям этих тенденций. Полностью дуалистический взгляд просто полностью бы их уничтожил.

В «Архипелаге ГУЛАГ» есть эпизод, связанный с исповедью и последующим ночным убийством молодого врача, охваченного безысходным отчаянием по поводу своей вины за неизвестное автору страшное преступление. Описывая это таинственное убийство, Солженицын делает поразительное предположение, что Бог в этом мире наказывает только тех, кто способен и расположен это понять. Тех, кто еще не безнадетен, кому еще внятно различие добра и зла, то есть, возлюбленных, «своих».

Значит, утверждение Библии, что «убьет грешника зло», может быть, отно-

сится только к совестливому грешнику? Лишь хорошему человеку открыта возможность совершенствования, предполагающая применимость наказаний. Сочувственно-требовательное внимание свыше.

Грешник, перешедший за черту, поступает в ведение Дьявола, становится сыном Тьмы, и, возможно, в этой жизни уже не наказуем.

Или, вступая в подданство Тьмы, он отныне будет защищен уже и до самого Страшного суда?

Поражает симметрический антипараллелизм этого эпизода талмудической притче о ядовитой змее, пересказанной в начале этой статьи.

Праведник неуязвим для поползновений Зла вследствие своей цельно-добротной природы, не оставляющей злу никакой лазейки для проникновения. Закоренелый грешник, покрытый коростой своих грехов, очевидно, напротив, оказывается, в конце концов, совершенно недоступен для доброго побуждения, через которое Бог, хотя бы и с помощью страшного наказания, быть может, еще мог протянуть ему паутинку спасения:

«До скончания веков уделом лживых будет наихудшее.

А правых – наилучшее.»

Толстой, конечно, ересиарх, вульгаризатор христианства, пытавшийся преодолеть его парадоксальность, разрушая выработанные веками культуры защитные механизмы и институты, основанные на представлении о грешной, злой природе человека. Его цельное монистическое мировоззрение, не признающее реального существования зла (он искренне верит, что змея не укусит праведного), возвращает сознание его последователей к первым векам новой эры, хотя уже и без тогдашних чудес. Он закономерно рассматривается как один из идеологов, вдохновлявших пионеров светского сионизма в период зарождения Израиля.

Солженицын (знающий змеиный нрав не понаслышке) верит только в добролюбивый кулак, облаченный в бронированную перчатку, который схватит и задушит змею. Такая, более реалистическая, точка зрения укоренена скорее в европейском средневековье, предшествовавшем Реформации. Под знаменем защиты добра крестоносные рыцари могучим кулаком действительно распространили католичество на Испанию, Южную Францию и Восточную Европу. Было ли это победой Добра, остается и сейчас сомнительным для историков, но несомненно, что судьбы этих стран, в результате, оказались навеки связаны с Европой. У нас в Израиле тоже есть место для такой идеологии. Вряд ли многие у нас читали Солженицына, но его чересчур трезвый силовой подход имеет теперь больше шансов собрать сторонников, чем все оттенки толстовства.

Я хочу сказать, что добро не нуждается в нашей защите. В защите нуждаемся мы сами и то, что мы любим. Иногда этого вполне достаточно для действия кулаком. Но совершенно недостаточно, чтобы считать себя праведниками, сынами Света. В нас есть и добро, и зло. И потому такая защита часто бывает

успешна. Навряд ли это бывает благодаря нашему добру. Скорее благодаря тому, что в нас достаточно зла. Такова полнота жизни.

Совершенно незачем приписывать себе исключительные добродетели, чтобы оправдать свое существование. Право на жизнь предшествует всем остальным правам в этом мире. И право вступить в борьбу за свою жизнь также непреложно.

Но, вступая в борьбу, мы по собственной воле выбираем стратегию и способ этой борьбы. Чем меньше мы отклоняемся при этом от пути чистой добродетели, тем больше риска мы навлекаем на себя и своих близких.

Мы не обязаны подвергать себя риску. И тогда мы пропорционально теряем в доброте. Если мы хотим оставаться целиком в пределах чистого добра, мы должны полностью вручить себя Божьей воле и милосердию противника. Для этого мы недостаточно религиозны. Если бы праведник, увидев змею, надел защитную перчатку, он не был бы праведником, а только ловцом змей. Но, если ловец змей снимет перчатку, он увеличит свой (и наш) риск, несколько не продвинувшись в праведности.

Господствующий с XIX в. в России фундаментальный разброд в мыслях (постоянно провоцирующий интеллигента «поговорить о Боге») означает религиозную, идеологическую революцию, Реформацию, которую переживает и сейчас русский народ и результаты которой остаются непредсказуемы. Одно из практических последствий этой революции свелось к заселению Израиля: и в XIX, и в нашем веке. Строго монистическое мировоззрение (в христианском, еврейском или атеистическом варианте), благодаря демократизации мысли, размывается повсюду, и опыт русских ересей многозначителен для всего мира. Наблюдая новые вариации постановки вечных вопросов, старые народы, уже пережившие свои смутные времена и взрывы идеологической одержимости, могут найти для себя новые пути социальных компромиссов. Собственно, падение тиранической власти в России уже выпустило воздух из мыльных пузырей «коммунистических» движений, но «борьба за мир» и «против неокOLONиализма» еще процветают повсюду.

Опыт новых творческих сочетаний особенно актуален для новых государственных образований, у которых еще есть шанс сложиться нетривиальным образом. Мы живем в стране, где еще нет установившегося отношения к свободе, к религии, к соотношению между централизованной властью и местной инициативой. Наше настоящее определяется тем отрадным фактом, что у нас все еще нет конституции. При такой народной анархии все наше будущее также определится народным настроением. Дуализм имеет богатую почву в Израиле, даже если забыть, что значительная доля израильтян – выходцы из России.

Несерьезно, однако, примешивать к этой конфронтации вопрос об истине; кто из них прав, в самом деле? Действительно ли добро побеждает со временем с

неизбежностью Божественного закона или победа добра лишь открывает для зла новые возможности, неведомые прежде?

Духовный облик, психология народа, конечно, зависят от того, кто побеждает в этой борьбе. Будущее страны зависит от того, какая ориентация в обществе торжествует. Благополучие или трагедия людей еще будут поставлены на карту. Нескончаемая серия социальных и военных конфликтов еще предстоит, «если любовь не возьмет верха».

Но истина по-прежнему останется в стороне, как и в других человеческих спорах, ибо фундаментальные, религиозные вопросы не решаются экспериментом и земная победа не всегда дается правому. Еще надолго сохранится у «русских мальчиков» в России и в Израиле возможность и вкус спорить об истине, так как нескоро еще они научатся ценить жизнь, как таковую, со всей несправедливостью, которая неизбежно ей присуща, и грязью, которая, в сущности, является ее проявлением.

Семидесятилетнее безумие советской власти – только начальный эпизод этой длинной, протянутой в будущее истории.

КНИГотоварищество „МОСКВА – ИЕРУСАЛИМ“

Тель-Авив 61440, п/я 44050, тел. 03-394525

предлагает

АЛЕКСАНДР ВОРОНЕЛЬ «И остался Иаков один»

240 стр.

Сборник статей известного публициста о прошлом, настоящем и будущем русских евреев и Израиля. Размышления о судьбе гуманизма в преддверии нового XXI века.

ПОРТРЕТЫ В ПРОФИЛЬ

Амнон Леви

ХАРЕДИМ

(главы из книги; начало см. "22", #80)

"Адморы"

(Прим. перев. Слово "Адмор" — титул, который носит глава хасидского движения или двора — является аббревиатурой слов "Адо-нейну, морейну верабейну", означающих приблизительно: "Наш господин, учитель и раввин".)

Как ни странно, речь идет о настоящем монархе. Он восседает на царском троне, держит в руке скипетр, одет в пышное царское платье, ездит в великолепном автомобиле. У него множество помощников, слуг, советников и почитателей. Он настоящий господин. Господин, учитель и раввин. В принципе, во главе хасидского движения он стоит именно как раввин, однако он не только (и не прежде всего) религиозный руководитель. Он правитель. Он вообще все на свете.

Он государь, поскольку хасидское движение всегда считало себя государством, монархией. В принципе, оно следует довольно специфической философии, которую полнее всего сформулировал рабби Исраэль из Рожина, живший в XIX веке. Центральным ее понятием является *малхут*, вернее, *малхус* — с ивритской буквой "тав", произносимой как "сав", на ашкеназский манер. Буквально — "царство".

Согласно этой философии, у человека есть две оболочки — внутренняя и внешняя. Все то, что мучает и смущает человека, необходимо запрягивать внутрь; снаружи следует выглядеть радостным и великолепным, надевать платье из бархата и шелка даже тогда, когда в доме нечего есть. Все евреи — царской крови, и вести себя они должны соответственно. О рабби из Рожина рассказывают, что он всегда носил дорогую кожаную обувь прямо на босу ногу — без чулок. Из-за этого его ноги сильно болели.

Философия рабби Исраэля из Рожина, философия *малхуса*, определяет бытие многочисленных хасидских дворов Рожина, а также и тех, которые образовались, выйдя из него, например, дворов Садигора, Бонна, Богоша, Тасорткова. Польские хасидские движения — дворы Гура, Стрикова, Амшинова и Александра — приняли идею

малхуса в значительно меньшей степени. Однако преклонение перед Адмором, особый придворный этикет, тщательно соблюдаемый всеми, кто его окружает, отношение к нему как к настоящему монарху являются неотъемлемой частью жизни всех хасидских движений, вне зависимости от того, до какой степени они формально восприняли идею *малхуса*. Преклонение перед Гурским Адмором ничуть не уступает преклонению, которого удостоивается Адмор из Богоша, движение которого является одним из преемников Рожинского двора. В чем, в таком случае, различие? На этот вопрос мы уже ответили: к первому относятся, как к святому праведнику, к второму — как к царю.

Как уже отмечалось выше, первооткрывателем в том, что касается создания правил этикета при подлинно царских дворах Адморов, был рабби Исраэль из Рожина. Он считал, что для того, чтобы произвести достаточно сильное впечатление на хасидов, нет средства более подходящего, чем царские пышность и великолепие. Рабби жил в настоящем дворце. Шауль Гинзбург в своей книге "Исторические записки" рассказывает о том, что в конюшнях рабби Исраэля стояли великолепные лошади, и сам рабби ездил в роскошной карете. Рядовые хасиды вообще могли увидеть рабби только сидящим в этой карете. Шестеро его сыновей и дочерей воспитывались и вели себя в полном смысле слова как принцы и принцессы. Его дочери одевались по последней моде и ездили в Вену на театральные премьеры и светские рауты. Все это не мешало рабби перед смертью поднять глаза к небесам и произнести громким голосом:

"Властелин мира! Ты знаешь, что в этом мире я не попользовался ничем — даже единственным волоском."

Ритуальное обожание, объектом которого становится Адмор, плохо укладывается в голове у нерелигиозного человека. Повторим: речь идет о людях, которые ездят в роскошных лимузинах и одеваются у лучших портных. Так, рабби из Кричнова ездит в черном "Кадиллаке", который был специально приобретен для него у одного из иностранных послов. В последние годы жизни предыдущего Адмора из Лалова, когда он уже тяжело болел, его хасиды приобрели амбуланс, оснастили его всем необходимым и превратили его в великолепную служебную машину для рабби. Рабби из Гура ездит в новехоньком американском лимузине. Другому рабби предложили приобрести "Олдсмобиль", но он совершил в нем пробную поездку и решил, что эта машина ему не подходит.

Публичное поклонение Адмору приобретает особый характер в

те дни, когда заседает Совет знатоков Торы. Существует неписанное правило: рабби должен получить свою долю поклонения, и, самое главное, ему должно "перепасть" его больше, чем другим его "коллегам". Когда Совет знатоков Торы собрался, чтобы подвергнуть отлучению тогдашнего Главного раввина Израэля рабби Шломо Горена, на его заседание прибыли главы всех важнейших хасидских движений, в том числе, Адморы из Гура, Седигоры, Эрлая и др. Около здания Совета в Иерусалиме толпились тысячи возбужденных хасидов, ожидавших прибытия Адморов. Каждые несколько минут подъезжал лимузин американского производства, из которого выходил очередной Адмор в сопровождении своей свиты — габбая, слуги, помощника, секретаря... Сразу же после прибытия Адмора и его свиту окружали его хасиды, они кричали, толкались, отпихивали друг друга, дрались между собой — все это ради того, чтобы приблизиться к рабби и разглядеть его как следует. Им никто не препятствовал. Некоторые из хасидов раскрыли зонтики, чтобы помешать фотокорреспондентам запечатлеть своими сугубо нерелигиозными камерами священный облик рабби.

На каком-то этапе хасиды начали сравнивать автомобили своих Адморов. У кого из них самый большой автомобиль? Тот, у кого автомобиль больше, чем у других, тот, наверняка, самый главный, острили хасиды. Неожиданно к дому подъехал рейсовый автобус, и из него вышел Адмор из Стрикова. Хасиды были ошеломлены. Однако один из них быстро пришел в себя и сказал:

"В общем, наш рабби — самый главный. Автобус — это самый большой автомобиль из всех, которые мы тут сегодня видели."

Легенда об Адморе как раз и складывается из мелочей вроде этой истории об автомобилях — так бедняку, умудренному любовью к своему Адмору, удастся посмеяться над богачом. Мы говорим сейчас о любви, род которой неизвестен нерелигиозному человеку. Она не похожа на любовь между мужчиной и женщиной, между родителями и детьми — и все-таки это любовь! Так хасид относится к Адмору. Один гурский хасид сказал мне: "Я верю, что даже простое лицезрение рабби приближает меня к Небесам! Рабби — праведник, связывающий своих хасидов с Небесами, и за это он удостоивается ничем не ограниченного поклонения."

Таким образом, лицезрение Адмора — это вещь немаловажная, ведь в Писании сказано: "Пусть глава твои видят твоих учителей." Хасиды так страстно стремятся увидеть Адмора, что, к примеру, во время одного из съездов "Агудат Исраэль", состоявшегося еще до

войны в Вене, группа гурских хасидов подвесила себя к люстре в зале заседаний, чтобы иметь возможность находиться там в то время, когда будет выступать Адмор из Гура, рабби Авраам Мордехай Альтер, и выслушать его речь. Поскольку люстра была единственным не занятым местом в зале, они прицепили себя к ней. Им удалось выслушать речь рабби, но вскоре после этого люстра не выдержала и сорвалась вместе с привязанными к ней хасидами.

Рабби Тувья Блой, один из виднейших лидеров движения Хабад, пытался дать рациональное объяснение феномену преклонения хасидов перед своим Адмором. Блой — настоящий интеллектualan, известный своим критическим подходом практически ко всем вопросам, однако и он признает свое полное ничтожество в сравнении со своим Адмором. Как и многие другие хабадники, он верит в то, что Адмор из Любавичей, по крайней мере в потенциале, — Мессия.

Вот что он говорит:

"Если вообще воспринимать идею Мессии "по-простому" и считать, что он — человек из плоти и крови, а не небожитель, то совершенно очевидно, что это должен быть по-настоящему выдающийся человек. Но я не знаю ни одного еврея, который был бы более выдающейся личностью, чем рабби из Любавичей."

Блой не видит ничего плохого в культе личности, создаваемом вокруг Адморов.

"Обожание выдающихся людей помогает нам избавиться от самообожания. Чем больше наше преклонение перед этими светочами духовности, тем меньше мы влюблены в самих себя, тем менее мы нарциссичны," — говорит Блой. Философия хасидизма и преклонение перед Адмором убивают один из главных недостатков человека — его эгоцентризм, умеряют его гордость. Поэтому и говорят об особой духовной связи между рабби и его хасидом, о духовном руководстве рабби, подобном отношениям, возникающим между отцом и сыном. Если хасиду удастся установить подлинный духовный контакт с рабби, он поднимается к необычайным духовным высотам: "Случается, что маленький человек, которому удастся установить контакт с настоящим праведником, становится человеком значительным, ибо этот контакт *делает* его значительным," — сказано в книге "Дворец Бешта" (стр. 101).

Любое указание рабби должно быть выполнено. Не бывает никаких "но", никаких дискуссий — это приказ. Эта степень подчинения выводится из следующих слов Торы (гл. "Шофтим"): "И сделайте

все, что они вам укажут." Рабби комментирует это место следующим образом: даже если они (мудрецы) скажут тебе, что правое — это левое, и наоборот, — нет у тебя другого авторитета, чем "священник твоих времен". Иначе говоря, необходимо следовать и этому указанию.

Указание рабби необходимо выполнить, даже если смысл его не вполне понятен. "Если бы я понимал Его, я бы был Им," — сказал рабби Нахман из Бреслава о Всевышнем... Эту фразу хасиды охотно заимствуют, когда начинают говорить о своих Адморах. "Если бы мы понимали рабби, то сами были бы такими, как он. Однако мы не такие — стало быть, мы его не понимаем." В таком случае очевидно, что необходимо слепо исполнять все указания рабби, в чем бы они ни заключались.

Хасиды говорят, что в некоторых случаях рабби и сам не знает, почему он дал то или иное указание; сам Всевышний предписал его рабби, поэтому не о чем спорить и не следует требовать объяснений. Потребовав их, ты наносишь ущерб духовному статусу рабби.

Но это — только объяснение, комментарий. В реальной жизни хасид находится в полном подчинении у рабби, являющегося объектом слепого обожания. Гурские хасиды готовы толкаться, драться, кричать друг на друга только для того, чтобы увидеть рабби и приблизиться к нему. В свое время, еще в Польше, когда рабби отбывал на отдых в курортный городок Марпенбад, он ехал к карете через всю страну, и на каждой станции его встречали многочисленные хасиды, мечтавшие только об одном — увидеть рабби хоть на мгновение. Предыдущий рабби из Гура, известный под именем "Бейт Исраэль", иногда выговаривал хасидам, собиравшимся, чтобы на него посмотреть. Нынешний Адмор (в настоящее время тяжело больной), уже никого в этом не упрекал. Когда он еще находился в добром здравии, он усаживался за стол вместе с членами своей семьи и знатнейшими гурскими хасидами, вокруг стола устанавливалась прочная перегородка, а вокруг нее становились стеной молодые студенты ешив — все это, чтобы защитить рабби от обожателей-хасидов.

Религиозные евреи "литовской школы", заклятые противники хасидов, посмеиваются над их слепым поклонением своим Адморам. Хорошо известна вражда между равом Шахом и рабби из Любавичей, возникшая из-за месснянских притязаний последнего. Рав Шах относится к Хабаду как к месснянской, собственно, лжемесснянской секте.

Вообще, "литовцы" рассказывают множество шуток о поклонении хасидов своим Адморам. Например: два хасида идут по улице и спорят, чей рабби значительнее. Один из них говорит: "Однажды мой рабби ехал в карете в пятницу, незадолго до наступления субботы. Неожиданно она угодила в густой лес, который загородил дорогу, и возникла угроза, что рабби не успеет вернуться в город до наступления субботы. Тогда рабби зажмурил глаза и сказал: "Лес, расступись!" Деревья немедленно расступились, и рабби благополучно вернулся домой." Другой хасид пренебрежительно махнул рукой и сказал: "Это ерунда. Мой рабби однажды тоже попал в этот лес совсем незадолго до начала субботы. Он остановился на мгновение, сказал: "Суббота, расступись", и продолжил ехать, как ни в чем ни бывало, отодвигая начало субботы."

Интеллектуальная философия литовского еврейства утверждает, что поклонение хасидов своим Адморам может, в конечном счете, поколебать самые основы религии. Тем не менее, и в "литовской" среде происходят в последнее время странные вещи: например, вокруг рава Шаха, лидера "литовцев", образовался настоящий двор и отношение к нему напоминает отношение к Адморам. Ему начали поклоняться совершенно не принятым у "литовцев" образом. Люди толкают друг друга, чтобы увидеть его, приходят посмотреть, как он зажигает ханукальные свечи, а главное, уже не осмеливаются с ним спорить.

Поклонение Адмору может иметь место даже если он, в сущности, является еще ребенком. История хасидских дворов в Эрец Израэль знает несколько примеров того, как ребенок становился Адмором. Так было и при Карлинском, и при Бельзском дворе. "Дитя" — называют такого Адмора в харедимных кругах. "Янука". Правда, нынешний Бельзкий Адмор был официально "коронован" только после своей женитьбы, когда ему было около девятнадцати лет, но по сути дела он был "предназначен" в Адморы с детства, после того, как Бельзский двор остался без Адмора.

Нерелигиозному человеку трудно понять, как взрослые, образованные и занимающие высокое положение в обществе люди могут поклоняться Адмору-ребенку. Хасиды говорят, что они верят, что Всевышний не даст праведникам сбиться с пути и поможет такому юному Адмору принимать правильные решения.

Адмор носит одежду, отличающуюся от одежды других хасидов. Так, Адморы из Румынии и Венгрии иногда надевают дорогие кафтаны, рукава и воротники которых оторочены шелком. Вишницкий

рабби известен как большой любитель кафганов, и при его дворе рассказывают, что хасиды, обнаружившие за границей особенно интересную ткань, подходящую для кафтана, непременно приобретают ее для того, чтобы сшить из нее кафтан — подарок для рабби. Рассказывают, что у рабби, в его бней-бракском доме, есть шкафы, наполненные дорогими кафтанами, и по пятницам, во время "*Тиша*" (общественной хасидской трапезы с участием и под руководством Адмора) он любит их демонстрировать.

Адмор выходит на улицу только в сопровождении свиты. Иногда он обзаводится весьма впечатляющей тростью. У некоторых Адморов трость украшена набалдашником из чистого золота — скорее скипетр, чем трость. Разговор Адмора с хасидами — это всегда разговор монарха со своими подданными. Если хасид склонится перед Адмором, чтобы поцеловать ему руку, как это принято при дворах, ведущих свое начало от Рожинского двора, Адмор без всякого смущения позволит ему это сделать. *Малхус*.

При польских хасидских дворах поклонение Адморам принимает совершенно другие формы. Например, здесь запрещено целовать руку Адмора — это считается неприличным. Польские Адморы всячески подчеркивают свою скромность и простоту. Если рабби из Гура выйдет на улицу, то он пройдет по ней, как простой смертный (может быть, даже довольно быстро), а не прошествует, как монарх. Если он встретит другого хасида, то поспешно осведомится о его здоровье и поспешит дальше. Польские Адморы одеваются иначе, чем простые хасиды, но не так великолепно, как Адморы из Вижниц и Седигоры. Польский Адмор носит в течение всей недели добротный субботний кафтан — не более того. Однако любовь к Адмору вполне может побудить одного из гурских хасидов приобрести за границей кусок сукна, который, по его мнению, должен понравиться рабби, и он не постесняется сделать ему такой подарок.

Адморы носят особенные имена. Поскольку их не принято называть их собственными именами, а только титуловать, — Адмор из Гура, Адмор из Вижниц и т.д. — возникает проблема: как отличить нынешнего Адмора от его царственных предшественников. В обычных королевских династиях решили этот вопрос при помощи нумерации королей. Так появились на свет Генрих I, Генрих II, III и т.д. Хасидские дворы поступили по-другому: умерших Адморов именуют по названию книги, которую он написал, или же книги, которая была выпущена общиной после его смерти и содержит его комментарии на Тору или Талмуд или галахические изыскания. Вот как, к

примеру, именуют последних представителей Гурской династии: в настоящее время правит Адмор из Гура, Симха Боним Альтер. Его предшественником был "Бейт Исраэль", то есть рабби Исраэль Альтер. Перед ним — "Имрей Эмет", то есть рабби Авраам Мордехай Альтер и т.д. После того, как гурский двор возглавит новый Адмор, нынешнего Адмора будут называть в честь книги, которую он написал, или которую выпустят в память о нем, а его наследник получит титул "Адмор из Гура".

Сыновья Адморов также становятся объектом поклонения. Их называют "Баншаками" (аббревиатура ивритских слов "Сыновья святых") и это именование становится их официальным титулом. Одного его достаточно, чтобы их окружили почетом. Адмор из Эр-лоя позаботился о том, чтобы все его сыновья получили почетные общинные должности. К единственному сыну Бельзского рабби относятся так же, как к принцу Уэльскому. На праздничных трапезах "Сыновей святых" усаживают во главе стола, им предоставляются самые почетные "алиёт леТора" ("подъемы" к Торе, то есть возможности читать ее в синагоге перед общиной), с ними советуются, когда и какой вопрос следует обсудить с Адмором.

Адмор живет в отдельном доме, часто примыкающем к зданию ешивы или другим общинным центрам. Его супруга живет в отдельном крыле дома, и те, кто посещает Адмора, с ней не встречаются. Так, например, обстоит дело при Бельзском дворе. Жена Вишницкого Адмора живет на отдельном, втором этаже дома. Большую часть дня Адмор проводит, запершись в своем доме. В определенные часы он принимает посетителей, чаще всего вечером, после вечерней молитвы "Маарив".

Адмор окружен целой армией помощников и обслуживающего персонала. Это, прежде всего, *габаи* — функционеры, управляющие делами самого Адмора. Их число зависит, в первую очередь, от размеров хасидского движения, которое он возглавляет, а также от его возраста. Чем старше и значительнее Адмор, тем больше вокруг него *габаев* и помощников.

Среди прочего, *габаи* упорядочивают вопросы, связанные с обращениями хасидов к Адмору. Дело в том, что на дом Адмора днем и ночью обрушиваются сотни телефонных звонков от хасидов, живущих в Израиле и за границей, которые хотят встретиться с Адмором, задать ему какой-то вопрос, получить благословение. *Габай* заносит эти вопросы на заранее заготовленные бланки и позднее передает Адмору. Адмор читает записку и пишет одно-два слова на том же

бланке. Это и есть ответ, который иногда надо долго расшифровывать.

Существует несколько видов записок, передаваемых Адмору на разных бланках. Например, *квитл* — это бланк для просьб о благословении. Вопросы к Адмору записываются на особом бланке. Так, если хасиду предложили новую работу, и он хочет получить совет Адмора, — принимать ее или нет — то он записывает свой вопрос на "бланке вопросов" и ждет ответа рабби.

Габаи находятся при Адморе 24 часа в сутки. Обычно они живут неподалеку от его дома. Они ближайшие доверенные лица Адмора, знающие все, что происходит в возглавляемом им хасидском движении.

При Адморе состоят и несколько *мешамшим*, попросту, слуг. Их отбирают из числа лучших студентов ешивы хасидского движения для того, чтобы они обслуживали рабби: готовили ему пищу, помогали одеваться (если Адмор очень стар), вообще, делали все, что может облегчить ему жизнь. Однажды на свадьбе, когда Бельзский Адмор делал *кидуш*, немного вина пролилось ему на руку. Он отвел руку назад, за спину, и один из *мешамшим* тут же подскочил к нему с платком в руках и вытер мокрую руку. Именно это и требуется от хорошего *мешамеша*. Обычно их при Адморе двое или трое.

Кроме того, в доме Адмора всегда есть еще несколько ассистентов и помощников, занимающихся самыми различными вопросами, а также простые рабочие и уборщики, как в любой большой организации. Таким образом, непосредственно в домах всех значительных Адморов действуют целые штабы.

Кроме этого, у Адмора есть советники. Обычно речь идет не о постоянном штате, а о людях, с которыми рабби совещается по тем или иным вопросам. Так, если необходимо опубликовать в газетах какую-то информацию, относящуюся к жизни хасидского двора, Адмор вызовет к себе членов редколлегии газеты своего движения и посоветуется с ними. Если необходимо построить новую синагогу, рабби, скорее всего, посоветуется с *габаем* самой "успешной" из уже существующих синагог. Если речь идет о решении политического характера, рабби пригласит к себе политических функционеров движения и выслушает их мнение. Однако не все Адморы всерьез совещаются со своими приближенными, и не всегда эти совещания имеют билатеральный (двусторонний) характер.

Адмор всегда является центром жизни своего хасидского движения, однако степень его влияния и стиль поведения существенно за-

висят от размеров самого движения. Крупнейшие хасидские дворы активно занимаются политикой, а их Адморы входят в Совет зна-токов Торы. Некоторые из них уже обзавелись членами Кнессета, представляющими их на национальном уровне, или членами городских советов, отстаивающими их интересы на уровне муниципалитетов. Однако существует множество Адморов, возглавляющих мелкие хасидские движения, и десятки раввинов со славным прошлым, но без будущего, последователей и двора. Их хасиды погибли в годы Катастрофы или "испарились" уже после войны. В таком положении находятся Адморы из Махновки, Богоша, Стропкова. В некоторых случаях они пользуются почетом из-за своего преклонного возраста и заслуг в прошлом, но иногда становятся персонажами, внушающими только жалость и вызывающими насмешки. Так, в харедимных кругах рассказывают множество анекдотов об Адморе из Стропкова. "Литовцы", заклятые противники хасидов, приходили к нему во время субботней трапезы "*Тииш*", которую он проводил, и, спрятавшись за его спиной, выпивали через соломинку из его бокала вино, предназначенное для *Киддуша*. Несколько раз они разучивали с ним современные (отнюдь не религиозные) песни, уверив его, что это — известные хасидские песнопения.

В харедимном мире создан целый фольклор вокруг этим "мелких" Адморов, монархов без королевства. Одна из таких историй рассказывает о том, как один из "мелких" Адморов, рабби из Калива, посетил Адмора из Гура, Симху Бонима Альтера, сразу после того, как его брат, "Бейт Исраэль", скончался, и новый Адмор сел на его трон.

Рабби из Калива сказал новоиспеченному Гурскому Адмору:

"Печальное зрелище представляет собой Гурский двор. Стадо без пастуха!"

На это Гурский рабби ответил:

"Еще печальнее смотреть на пастуха без стада!"

(Прим. перев. Покойный "Бейт Исраэль" был не только главой Гурского движения, но и одним из бесспорных лидеров всего религиозного еврейства в течение десятков лет. Его брат, нынешний Адмор из Гура, таковым не является, и по вопросу о степени его учености существуют разногласия. Поэтому, кстати, Амнон Леви, — автор книги, которая раскрыта сейчас перед читателем, — имеющий личную точку зрения по этому вопросу, даже не удостоивает Симху Бонима Альтера, Адмора из Гура, титула "рабби" — в отличие от его знаменитого брата!)

Некоторые из "мелких" Адморов становятся как бы сателлитами Адморов "крупных". Обычно это Адморы, общины которых насчитывают всего несколько десятков семей. Чтобы упрочить свое положение, они входят в сферу влияния "крупных" Адморов. Так, например, Адмор из Мantonии является приближенным Вижницкого Адмора, а Адмор из Звили связан с Бельзским двором.

Случается, что крупная хасидская община остается без Адмора. Наиболее известный тому пример — движение бреславских хасидов. Ее руководитель, рабби Нахман из Бреслава, скончался более ста семидесяти лет назад, и с тех пор у его последователей нет Адмора. Легенда рассказывает, что в первую же субботу после смерти рабби возник вопрос о том, кто должен петь первым (за праздничным столом). Было высказано предложение, что тот, кто запоет первым, станет новым Адмором. Однако никто на это не отважился, и за столом воцарилась тишина. Тогда встал рабби Натан, самый блестящий из учеников рабби Нахмана, и сказал: "Вот как пел Полноводный ручей, Источник Мудрости (на иврите первые буквы этих слов образуют имя "Нахман"), который не знал вкуса греха," — и запел. Это означало: лишь один человек не знал вкуса греха, и другого такого нет. С тех пор у бреславского движения нет Адмора, и в харедимном мире его называют "мертвым хасидизмом".

Бреславские хасиды переправили в Израиль кресло рабби Нахмана, и вокруг него возник самый настоящий культ. Этот стул находится в бреславской синагоге в иерусалимском районе Меа Шеарим в глубине прозрачного стеклянного шкафа. Этот шкаф открывают только когда необходимо совершить обрезание новому бреславскому хасиду. Младенца кладут на этот стул, и, таким образом, и через сто семьдесят лет после смерти рабби Нахман, при посредстве своего сохранившегося стула, является "сандаком" всех младенцев, родившихся в семьях своих последователей.

Сам рабби Нахман похоронен в белорусском городе Умани, и его хасиды делают все возможное, чтобы посетить его могилу. Рабби Нахман сказал, что тот, кто произнесет над ней десять псалмов, будет избавлен от ада. Тысячи хасидов это уже сделали. В прошлом советское правительство препятствовало им в этом, но когда в Кремле поняли, что хасиды привозят с собой много денег и абсолютно безвредны, им было разрешено приезжать беспрепятственно. Хасиды любят рассказывать, что женщина, во дворе у которой была обнаружена могила рабби Нахмана, заработала миллионы, позволив им ее посещать.

Без Адмора бреславское движение представляет собой довольно странное зрелище. Оно разделено на группы, не поддерживающие связи между собой. В последние годы многие бреславские хасиды стали относиться почти как к Адмору к раббину Элизеру Берланду, главе бреславской ешивы "Шуву баним", находящейся в Старом городе Иерусалима... и к раббину Элизеру Шикку, главе другой бреславской группы, пытающейся обосноваться в городке Явниэль.

Всякую честь нужно добросовестно отработать. И действительно, на Адмора возложена тяжелая и ответственная работа. Вся его жизнь посвящена хасидскому движению. Как известно, Тора и еврейский закон охватывают все области человеческой жизни, поэтому к Адмору обращаются с вопросами абсолютно всех сортов. Гурский хасид ни за что не согласится подвергнуться операции, не получив одобрения раббина. Он обратится к нему за советом, если решит изменить профессию. Никто не женится и не выходит замуж без одобрения раббина.

В течение нескольких месяцев Гурский Адмор тяжело болел, и в это время при Гурском дворе не было свадеб. Как только он немного поправился, страницы ежедневной газеты "Гамодна" (находящейся под гурским контролем) заполнились объявлениями о предстоящих бракосочетаниях.

Хасиды-хабадники непременно посылают письма с именами молодых людей, намеревающихся вступить в брак, в Нью-Йорк, Любавичскому раббину. Если от него приходит ответ, он тщательно изучается, причем анализу подвергается каждое слово. Хасиды, у которых возникают свои, особенные, проблемы, обычно обращаются к Адморам с просьбой дать им личную аудиенцию.

Адмору приходится принимать за своих хасидов и политические решения. Он указывает, за кого они должны проголосовать, следует ли представителям движения вступить в коалицию или остаться в оппозиции, и какую позицию они должны занять по тому или иному вопросу. Раббин определяет и общественное лицо и поведение хасидского движения. Так, например, в конце семидесятых годов раббин из Бельз решил, что его движение должно покинуть "Эду Харедит" и присоединиться к "Агудат Исраэль". Это решение произвело настоящий переворот в жизни Бельзского движения.

Адмор возглавляет все общественные церемонии своего двора. Самая знаменитая из таких церемоний — это "*Тииш*", особая праздничная трапеза, устраиваемая, чаще всего, в начале субботы, во время которой раббин встречается со своими хасидами. Он приходит в

бейт-мидраш (зал, в котором в течение всей недели изучают Тору), который по такому случаю превращается в пирушественный зал, совершает ритуальное омовение рук ("*нетилат ядаим*") и усаживается во главе стола, в то время как хасиды стоят на установленных вокруг возвышениях. Перед ним ставится огромное блюдо с вареной рыбой или "кугелем". После того, как рабби сделает *Киддуш* и споет субботние песни, он имеет возможность немного поесть. Совсем немного, ибо, согласно хасидской традиции, земные устремления, например, голод, ему вообще не свойственны. Хасиды обычно говорят: "Наш рабби никогда не ест. Только пробует иногда то или иное блюдо. Кроме того, он никогда не спит. Изредка немного отдыхает — вот и все."

После того, как рабби отведал от стоящего перед ним кушанья, он отодвигает блюдо в сторону, и тогда хасиды расхватывают все, что на нем осталось.

В праздничные дни устраивается церемония раздачи "*леках*". Так, во время "Симхат Бейт АШоева" ("Празднества в память о черпании воды для Иерусалимского Храма", устраиваемого в дни праздника Суккот) все карлинские хасиды собираются вместе, рабби проходит между ними и наделяет каждого кусочком торта. Рабби из Гура раздает своим хасидам яблоки и вино.

Адмор движения "Толдот Агарон" пляшет перед своими хасидами во время странной церемонии, называемой "Вознесение души". Она устраивается в последний, седьмой, день Песах и в Симхат Тора. Еврейские мудрецы рассказывают, что Красное море расступилось перед евреями ровно в полночь седьмого дня праздника Песах. Хасиды "Толдот Агарон" выливают на пол *бейт-мидраша* несколько тазов воды, а затем начинают петь знаменитую "Песнь моря" (из Книги *Шмот*). В разгаре пения Адмор начинает плясать. Хасиды оставляют около шкафа со свитками Торы небольшое свободное пространство (примерно пять метров на два), а сами становятся рядом, хлопают в ладоши и поют. На этой свободной территории танцует престарелый Адмор, изгибая свое тело самым диким образом. Как охваченный умопомрачением, он мечется между вершинами оставленного ему прямоугольника. Раскрасневшись, он поет слова Торы: "Души всего живого благословят Твое имя, Всевышний." И в этот кульминационный момент празднества, согласно преданию, его душа возносится на Небеса.

Душа Адмора, как свято верят хасиды, предстает прямо перед Всевышним с тем, чтобы просить Его о милосердии для своей об-

щины. Закончив свою экстатическую пляску, престарелый рабби падает без сил, тяжело дыша. Хасиды поспешно снимают с него *штраймл* (меховую шапку), машут ею перед его лицом, чтобы ему было легче дышать. Сам Адмор, глубоко взволнованный, плачет, как маленький ребенок. Эта церемония, наверное, самая яркая иллюстрация хасидского тезиса, согласно которому *цаддик* связывает свою общину с Всевышним.

Тяжесть бремени обязанностей Адмора становится иногда — впрочем, в редчайших случаях, — причиной отказа наследников принять этот титул. Самый знаменитый случай произошел в XIX веке и буквально ужаснул весь хасидский мир. Речь идет о сыне знаменитого рабби Исраэля из Рожина, рабби Бернио, который в один прекрасный день решил прекратить исполнять обязанности Адмора. Вдобавок, он не просто ушел в отставку, но сделал это демонстративно, на глазах у всех — после того, как ему надоели обычаи хасидского двора, сами хасиды и их слепое обожание.

В конце лета 1868 года, в середине Дней Суда (начинающихся в Рош а-Шана и заканчивающихся в Йом Кипур), в городок Лнов, где жил рабби, прибыло множество хасидов, однако рабби отказался выйти им навстречу. Дошло до того, что *габаи* вынуждены были силой притащить его в синагогу, где он должен был выступать. Однако рабби продолжать избегать своих хасидов и пригрозил, что если его не оставят в покое, он перейдет в христианство — ни много, ни мало! Перепуганные *габаи* напоили Адмора снотворным и повезли в дом к старшему брату, Адмору из Седигора.

Проснувшись еще в дороге, рабби начал кричать:

"Поверьте, мой старший брат и все остальные братья — еще больше негодяи, чем я сам. Собравшись вместе, мы всегда уединялись в одной из комнат и предавались сквернословию! Единственной темой наших разговоров были всевозможные плотские удовольствия, в том числе и самые непристойные. А в это самое время глупые хасиды стояли снаружи и говорили друг другу: "Наши Адморы занимаются сейчас самыми возвышенными проблемами и Небесное сияние окутывает их! Если бы мы удостоились лицезреть их в это время или хотя бы уловить полслова из их беседы!" (Из книги Шауля Гинзбурга "Исторические записки", в которой подробно рассказывается вся история рабби Бернио.)

Разумеется, этот рабби напугал и шокировал весь хасидский мир. Неудивительно, что брат поспешил запереть его в одной из комнат своего дома и объявил сумасшедшим: Только после вмешательства

образованных евреев из города Чернобыль рабби Бернио был освобожден.

И сегодня случается, что молодые наследники не хотят взваливать на себя обязанности Адмора. О нынешнем Адморе из Гура рассказывают, что после смерти отца он бежал в Бельгию, чтобы не наследовать его титул. Таким образом, титул перешел к его брату, и лишь после его смерти — к нынешнему Адмору. Хасидский двор Бойена долгое время вынужден был обходиться без Адмора. Лишь несколько лет назад был "коронован" тридцатилетний Нахум Беэр. Он с самого начала сообщил своим хасидам, что согласится возглавить движение, только если ему дадут возможность жить как обычному человеку — без *габаев* и слуг, без вмешательства в его частную жизнь. Лишь после того, как эти условия были приняты, он дал согласие на проведение "коронации". Однако жизнь хасидского двора имеет свои законы, и постепенно молодой Нахум Беэр начал мириться с его этикетом. Рассказывают, что он уже начал молиться в отдельной комнате, как подобает Адмору, а не вместе со всей общиной, стал носить особый, "королевский" *штраймл*. Между прочим, Адмор из Бойена — прямой потомок Адмора из Рожина, изобретателя идеи *малкус* и многих деталей этикета при хасидском дворе.

Случается, что молодой наследник отказывается стать Адмором, но, вообще говоря, это не частый случай. Бурный расцвет хасидских дворов в Израиле в последние годы, почет, связанный со званием Адмора, а, может быть, и немалая ответственность, неотделимая от него, привели к обратному явлению — все хотят стать Адморами. Едва ли не все сыновья Адмора считают себя претендентами на наследство. Таким образом, хасиды сталкиваются с нелегкой проблемой: кого избрать в Адмору? Кто будет наследовать рабби? Кто будет руководить двором?

Смерть Адмора является тяжелой травмой для всего хасидского двора. Так дом обрушивается вместе с одной из колонн, составлявших его каркас. Пока он был жив, вокруг него вращалась вся жизнь двора. Его смерть — настоящее землетрясение. За ней следуют дни ужасной неопределенности и неустойчивости.

Некоторые хасидские движения распались в ходе войны за наследство. Иногда колебания в выборе Адмора принимают затяжной характер, и хасиды оказываются не в состоянии сделать выбор. Иногда просто нет подходящих наследников, и хасидское движение остается осиротевшим, без главы, без лидера. Рабби Лейбу Ойрбаху, воз-

главлявшему ешиву "Шеар Шамаим" ("Ворота Небес"), приписывается следующее изречение: "Я хотел бы прожить жизнь как хасидский Адмор, а умереть как "литовский" раввин. Почему? Потому, что при жизни Адмор пользуется неограниченным почитанием и преклонением, однако сразу же после его смерти хасиды "коронуют" другого Адмора, утверждая при этом, что он во всем превосходит прежнего. В отличие от него, "литовский" раввин не является объектом преклонения при жизни, зато после смерти о нем говорят только хорошее, в том числе и то, какую потерю понес еврейский мир. Ученики обзаводятся новым учителем очень скоро."

Классическим примером того, насколько болезненно проходят выборы нового Адмора, является история Лаловского двора. Как только святой рабби из Лалова скончался (это произошло 24 Тевета 5747, в просторечии — 1967 года), немедленно началась битва за наследство. У рабби было несколько сыновей; кроме того, на "корону" претендовал один из его зятьев. Однако основное сражение разгорелось между тремя старшими сыновьями: Авраамом-Шломо Бидерманом (старшим сыном), Шимоном-Натаном (вторым сыном) и Альтером (третьим сыном). Было очевидно, что Адмором должен стать один из них. Трения начались прямо на похоронах покойного рабби. На Небесах еще оплакивали Адмора, хасиды надели траур, но старейшины двора уже понимали, что им не придется слишком долго предаваться горю. У них была неделя, чтобы принять судьбоносное решение: Авраам, Шимон или Альтер? Как же быть? Необходимо было принять во внимание множество соображений.

Вообще говоря, старший сын **не обязательно** должен стать Адмором. С другой стороны, если выбор падает не на него, избранник должен обладать ярко выраженными исключительными качествами. Прежде всего, наследник должен быть выдающимся знатоком Торы, настоящим *талмид-хахамом*. Затем, его должны любить хасиды, уважать и охотно принимать при других дворах. Имеют значение и его внешние качества. Желательно, например, чтобы у не-го была длинная белая борода и, вообще, внушительная внешность. Есть и множество других условий.

Если бы рабби оставил завещание, положение хасидов было бы значительно легче. Хасидские дворы почти всегда выполняют завещание Адмора, даже если его подлинность сомнительна. Вообще говоря, известны случаи подделки завещаний. Когда умер первый Сатмарский Адмор, рабби Йоалиш, да будет благословенна его память,

не оставив после себя сыновей, которые могли бы унаследовать его трон, встал вопрос о наследнике. Одна из легенд рассказывает, что некий хасид, действительно близкий к покойному Адмору, состряпал завещание, в котором утверждалось, что рабби назначил его своим наследником. Однако хасиды отказались исполнить это завещание.

Когда умер основатель движения "Толдот Агарон" рабби Агарон Рата, да будет благословенна его память, двое — его сын и зять — заявили, что располагают завещанием покойного рабби, объявляющим его наследником. Сторонники сына предъявили, кроме того, генеральную доверенность, данную Адмором своему сыну 22 февраля 1945 года, в которой было сказано:

"Я, рабби Агарон Рата из Иерусалима, назначаю посредством этого документа моего сына Авраама Хаима Рата из Иерусалима своим доверенным лицом, уполномоченным быть моим законным представителем по любым вопросам, а также совершать от моего имени следующие действия..." Но этот нотариально заверенный британскими властями документ не произвел большого впечатления на хасидов "Толдот Агарон", и они предпочли избрать Адмором зятя. Сын не смирился с их решением и основал новое хасидское движение — "Шомрей Эмуним". И сегодня, более, чем через сорок лет после случившегося, два эти хасидских двора ненавидят друг друга. Нет более болезненного разочарования, чем то, которое становится уделом сына Адмора, оставленного хасидами отца.

Иногда, даже при отсутствии формального завещания, еще при жизни отца становится ясно, кто из сыновей будет ему наследовать. Отец приближает к себе будущего наследника, делает его своей правой рукой, назначает его на должность, однозначно указывающую на его намерения в будущем. Чаще всего это звание раввина квартала, в котором живут его хасиды, или раввина ешивы движения. При Вижницком дворе, например, звание раввина квартала эквивалентно титулу принца Уэльского, наследника английского престола. Его носитель — официальный наследник.

Несколько лет назад при этом дворе произошла настоящая семейная трагедия, когда рабби решил устранить раввина квартала, своего старшего сына, рабби Исраэля Гегера, впавшего в немилость, и назначить своего младшего сына, Менахема Мендела. Это была самая настоящая отставка, ставшая трагедией для всего двора. Многие семьи распались. Часть хасидов, оставшихся верными отставленному сыну, была вышвырнута из вижницкого квартала. Часть осталась верной Адмору...

Вот как описывает атмосферу в Вишницком движении в то время один из хасидов, поддерживавший сына:

"Сердце просто разрывалось. Семейные празднества стали мучительными, так как на них нельзя было пригласить добрую половину семьи... И что будет, когда рабби покинет этот мир? Улицы по колёно наполнятся кровью, прежде чем удастся избрать наследника. И избран будет тот, кто окажется сильнее, кто нанесет больше ударов... Недавно рабби говорил о своем сыне и о его людях. Он сказал, что их следует всячески остерегаться, что даже пар, исходящий из их уст, нечист. А ведь эти "мятежники" — чаще всего, братья, родители, сыновья. И рабби требует, чтобы к ним относились, как к гоям! Один из моих братьев примкнул к мятежникам. Согласно последним постановлениям, я не могу пожелать ему доброго утра! Когда я встречаю его на улице, я приветствую его, слегка подмигивая, чтобы никто не заметил, и иду дальше. У меня есть жена и дети, и я должен о них подумать. Если узнают, что я разговариваю с ним, меня вышвырнут из квартала."

Трагедия при Вишницком дворе продолжалась очень долго. Рабби назвал сторонников отставленного сына "*Акрайме коп*", то есть "лагерем кривоголовых". Рабби Исраэль Гегер вынужден был оставить вишницкий квартал после того, как его дому были нанесены повреждения, его имущество попорчено, а за ним самим ходили по пятам, выкрикивая оскорбительные прозвища и требуя, чтобы он убрался. Он ушел вместе со своими сторонниками. После этого в вишницком квартале стало тихо. Однако неизвестно, признают ли в свое время хасиды младшего сына рабби наследником престола.

Иногда стараются избегать сложных ситуаций и провозглашают наследника прямо во время похорон Адмора — чтобы предотвратить брожение. Сторонники этой системы считают, что нельзя ждать даже конца семидневного траурного периода, и, чтобы предотвратить дворцовый переворот, необходимо совершить решительное действие. Именно так поступили, когда скончался Адмор из Звиши. Его старший сын был тогда простым служащим в газете "Гамодиа", и многие хасиды считали, что он менее всего подходит для того, чтобы стать Адмором. Поэтому, скорее всего, чтобы преодолеть возможное сопротивление, старейший из хасидов провозгласил прямо на похоронах, что именно этот сын наследует отцу и станет Адмором из Звиши. Никто не решился оспаривать эту декларацию, и мелкий служащий стал Адмором.

При Слонимском дворе произошел еще более невероятный слу-

чай. Там новый Адмор был возведен на трон еще до того, как скончался старый. Это событие произошло в начале восьмидесятых годов, но до сих пор в хaredимном мире о нем не могут вспомнить без потрясения. Рабби Аврааму Винбергу исполнилось уже девяносто два года, и его зять рассматривался в течение многих лет как естественный наследник. Он был главой ешивы, и все знали, что когда-нибудь он станет Адмором. Однако его сторонники поторопились. Примерно за месяц до смерти Адмора собрались семнадцать старейшин Слонимского двора и немедленно провозгласили зятя своим руководителем. Это шал вызвал серьезное недовольство среди хасидов, и результатом его стал раскол Слонимского двора. Часть хасидов последовали за зятем, который стал официальным наследником и был провозглашен Адмором "Белого" (т.е. "законного") Слонима. Другая часть последовала за внуком покойного Адмора и создала так называемый "Черный" Слоним. Какой из этих дворов больше? Анекдот рассказывает, что тут дело обстоит так же, как с долларами на израильском рынке: существует, конечно, легальный, "белый" доллар (и его курс), но публику почему-то больше интересует "черный" доллар.

В некоторых случаях выборы Адмора проходят более демократическим образом. Так, рабби Авраам Винберг стал Адмором из Слонима в результате настоящих выборов, в которых участвовали хасиды. Иногда хасиды подписывают обращения в поддержку своих кандидатов. Так было, например, у Бяльских хасидов. Один из сыновей Адмора, Дубче, в течение многих лет возглавлял ешиву и считал себя самым достойным кандидатом в Адморы. Но получилось по-другому. Хасиды стали собирать подписи под петицией в поддержку младшего сына Адмора, Бен-Циона, который жил в это время в швейцарском городе Лугано и изучал Тору. Бен-Цион был избран, но его братья не смирились с выбором хасидов и основали новые хасидские дворы. До сих пор отношения между Бен-Ционом и братьями-Адморами остаются очень плохими. Когда Бен-Цион выдавал замуж дочь, его мать и трое братьев отказались прийти на свадьбу.

При другом хасидском дворе, Надворно, заранее известно, что все сыновья рабби станут Адморами. Этой идее дано интересное идеологическое обоснование: ее назначение — пропаганда хасидизма большим числом Адморов. Таким образом, всякий раз, когда умирает Адмор, его сыновья автоматически становятся Адморами. Поэтому каждый из них получает по наследству лишь незначительное

число последователей. Остальных он должен найти и сплотить самостоятельно.

Когда лаловские хасиды оплакивали умершего Адмора, все эти истории и примеры были им хорошо известны. Двор находился в страшном напряжении. Очень многие поддерживали второго сына, Шимона, считавшегося глубоким знатоком Торы и уже выпустившего известную книгу по Галахе "Гар Башан" ("Гора Башан"). У Шимона было еще одно несомненное достоинство: он был чрезвычайно похож на отца. Похож до такой степени, что во время семидневного траура произошло ужасное происшествие. Рабби Шмуэль Вознер, один из известнейших раввинов Бней-Брака, глава ешивы "Хахмей Люблин", посетил дом Адмора для того, чтобы утешить скорбящих родственников. Увидев Шимона, он был ошеломлен — он был уверен, что перед ним покойный рабби. Он пожал руку Шимона с большим воодушевлением и воскликнул: "Все ли видят то, что я вижу?" *Габаи* вынуждены были немедленно его успокоить: "Это не покойный рабби, оживший к вашему приходу. Это его сын Шимон."

Но больше всего хотел стать Адмором третий сын, Альтер. В течение многих лет Альтер возглавлял сеть учреждений Лаловского движения, и его личные качества были по достоинству оценены многими хасидами. Его дополнительным преимуществом был блестящий брак: он был женат на дочери Адмора из "Толдот Агарон". Альтер рассчитывал, что он будет избран Адмором или, по крайней мере, что движение разделится на несколько маленьких дворов, как это принято у хасидов Надворно. Сторонники Альтера не сидели сложа руки. Они начали создавать "группы давления". В газете "Гамодиа" было напечатано траурное объявление, в котором Альтер был выделен как тот, кто принимает соболезнования от имени семьи, как наследник.

Однако, кроме почитателей, у Альтера было немало противников. Они изобрели направленный против него "предвыборный" лозунг. "Альтер, — говорили они, — это аббревиатура слов: "Ты не будешь рабби!" Его сторонники не остались в долгу. Они придумали новую аббревиатуру (правда, требующую перестановки слов): "Ты будешь рабби из Лалова!" Стало ясно, что при Лаловском дворе разгорается война за наследство.

Выбирая Адмора из Лалова, необходимо было считаться с тем, что произошло в свое время при Карлинском дворе. Между Лаловским и Карлинским дворами существуют тесные связи с тех пор,

как Карлинским Адмором стал ребенок, "янука". После этого многие из старейших карлинских хасидов покинули движение, а некоторые из них припкнули к Лаловскому двору и принесли с собой недурное приданое — карлинский *бейт-мидраш*. После этого между двумя дворами возникли вражда и ощущение соревнования. Теперь, выбирая Адмора, лаловские старейшины понимали, что тот, на кого падет их выбор, должен устранивать и карлинцев, присоединившихся к ним. В противном случае они могли покинуть движение! Трудная ситуация, не правда ли? Что же делать?

В кулуарах считалось, что карлинцы предпочитают Шимона. Среди хасидов широко распространилось мнение, что они в любом случае не примут Альтера в качестве Адмора. Нет никакого сомнения, что эта информация послужила одной из причин, побудивших старейшин принять свое решение отвести кандидатуру Альтера. Теперь оставалось только сделать выбор между старшим сыном, Авраамом, и Шимоном. Но как можно выбрать Шимона, не обидев старшего брата? Решение старейшин сохранялось в тайне вплоть до момента, когда оно была оглашено публично после окончания семидневного траура.

Согласно бытующей в хaredимном мире легенде, это решение было обнародовано над могилой рабби на исходе седьмого дня после его смерти. Почему именно там? Возможно, старейшины надеялись, что святость этого места охладит горячие головы. Может быть, они надеялись на духовную поддержку покойного рабби в эту критическую минуту. Вначале они прочитали несколько псалмов и подготовили бетонную отливку, которую предполагалось установить на могиле. После этого встал рабби Залман Бризаль, старейший из лаловских хасидов. Он произнес дрожащим голосом: "Движение будет разделено."

Авраам, старший сын, был провозглашен Адмором из Лалова вместо отца, да будет благословенна память праведника. Шимон стал как бы исполняющим обязанности отца в качестве Карлин-Лаловского Адмора. Он был провозглашен главой карлинских хасидов, ранее присоединившихся к лаловским, а также части собственно лаловских хасидов.

Затем рабби Бризаль замолчал. Взгляды всех присутствующих устремились на Альтера, оставшегося ни с чем! Утверждают, что в этот момент его уже не было на кладбище. Глашатай предложил сыновьям подойти к могиле отца и забросать ее землей. Процедура выборов закончилась.

Лаловский двор оказался в кризисной ситуации. Все понимали, что Альтер не согласится с результатами выборов, не смирится с решением стариков. Необходимо было предложить какой-то выход из положения и ему. Кроме того, решение старейшин создало и ряд других проблем. Каким именно образом должны быть разделены лаловские хасиды между двумя Адморами? Кто останется с Авраамом? Кто последует за Шимоном? Обоим братьям, которым достался кусок наследства, было ясно, что они должны проявить солидарность между собой. Достигнутое соглашение представлялось весьма хрупким, и не было никакой уверенности, что его удастся воплотить в жизнь.

Задача, которая стоит перед каждым новым Адмором — упрочить свою власть. Почти ни один хасидский двор не минует такое явление, как уход части хасидов сразу же после смены Адмора. Связь между хасидом и рабби — глубочайшая духовная связь, и не всегда ее можно передать по наследству. Ее установление требует времени. Новый Адмор должен действовать с величайшей осторожностью. Через несколько дней после своего избрания, в годовщину смерти одного из Лаловских Адморов, Шимон проводил "*Тииш*". Чтобы подчеркнуть, что он одновременно и Карлинский Адмор, он устроил его в карлинском *бейт-мидраше*. После окончания "*Тииша*" Шимон и его хасиды отправились в *бейт-мидраш* Авраама. Там оба Адмора сидели во главе стола. После завершения этой церемонии Шимон настоял на том, чтобы он и его подданные проводили старшего брата домой. Высокая честь! Мир и спокойствие возвратились в лаловское царство.

Вскоре после этого оба новых Адмора отправились в отпуск. В харедимном мире ядовито посмеивались над этим поспешным бегством. Там говорили, что этим братья доказали, что они настоящие Адморы — только что избраны, и уже отправляются отдыхать! Дело в том, что "отпуска" Адморов — явление, хорошо известное в хасидском мире. Многие из них отправляются на все лето в Швейцарию, в Лугано, или на другие всемирно известные курорты, где отдыхают от бесчисленных забот, с которыми связано управление хасидским двором.

Когда волнение стихло, газета "Газда", орган "Эды харедит", опубликовала на своей первой странице статью, где, среди прочего, было сказано:

"По окончании семидневного траура по его высокочтимому святейшеству, Адмору из Лалов-Карлина, да будет благословенна

память праведника, старейшие хасиды короновали продолжателей его дела: его старшего сына, праведного раббн Авраама Шломо, да одарит его Всевышний долгой и счастливой жизнью, в качестве преемника отца как Адмора из Лалова, и его сына, праведного раббн Шимона Натана Нета, да одарит его Всевышний долгой и счастливой жизнью, в качестве преемника отца как Адмора из Карлин-Лалова — на долгие и счастливые годы, *амен*. В течение семи дней траура великое множество людей посетило их дом, чтобы утешить осиротевших сыновей его высокочтимого святейшества Адмора из Лалова, да будет благословенна память праведника. В эти же дни старейшие хасиды проводили интенсивные совещания, обсуждая вопрос о передаче престола, чтобы, не дай Б-г, их община не осталась без пастыря. После многочисленных просьб хасидов, старшие сыновья согласились выполнить пожелание старейшин и принять назначение, объявлявшее их преемниками отца..." Перед нами хaredимная версия классического рассказа о "суде партии".

Но одна проблема все-таки осталась — Альтер. Что делать с ним? Как смягчить удар, нанесенный человеку, пользовавшемуся большим авторитетом у значительной части хасидов? Некоторые предложили предоставить ему статус "Адмора без портфеля". Пусть он ведет себя, как Адмор, не являясь таковым! Носит одежду Адмора, именуется "*реббе*", заводит себе *габаев* — только хасидов у него не будет. Другие предсказывали, что найдутся карлинские хасиды, недовольные переменами, происходившими при карлинском дворе (в это время он откололся от "*Эды харедит*" и начал получать дотации от государства), которые захотят к нему присоединиться. Третьи утверждали, что он станет Адмором при финансовой и организационной поддержке Сатмарского двора.

Решение не заставило себя ждать. Через несколько месяцев в газете "Гамодна" появились поздравления по поводу обручения сына Альтера. Из их текста было ясно видно, что настоящей задачей объявлений было не поздравление молодых, а констатация факта совершившейся коронации Альтера. В них говорилось:

"Множество благословений! В священном смущении и с глубочайшим почтением мы приносим наши благословения в числе благословений всей нашей братии, его сиятельнейшему превосходительству, высокочтимому святейшеству, нашему учителю и раввину, нашему господину, короне, украшающей наши головы, Адмору, да одарит его Всевышний долгой и счастливой жизнью, в связи с обручением его дорогого и прекрасного сына, отличающегося знанием

Торы и почитанием Всевышнего..."

Подпись под этими объявлениями, обращенными, разумеется, к Альтеру, гласила: "Простираясь ниц пред сиянием его святости... хасиды из Лалов-Бней-Брака в Соединенных Штатах."

Мазаль тов! В еврейском народе появился еще один Адмор.

Печальная и невероятная история о невинной Гинделе и ее ужасной судьбе

История, которую мы сейчас расскажем, получившая шумную известность в последние годы, может помочь лучше уяснить действительное положение харедимной женщины. В какой степени она относится к ним всем? Ровно в такой, в какой один-единственный случай может свидетельствовать о правиле. То есть — он может указать направление, стать чем-то вроде наброска.

Газеты называли эту историю "величайшим скандалом десятилетия". Она стала причиной ужасного раскола, настоящей бури. Это печальная история о Гинделе из почтенной семьи Файнштейн и об ее ужасной судьбе. Эта история — настоящий плод харедимной жизни с ее невероятной событийной плотностью. Никто не знал, каким образом ее завершить — чтобы концовка оказалась оптимистической. Это история об отношениях между двумя людьми, — может быть, о любви? — раздавленных образом жизни и ценностями харедимного общества. Религиозные ограничения (отнюдь не запреты — прим. перев.), являющиеся важной частью харедимной жизни, не дают героине этой истории, Гинделе Файнштейн, реализовать себя, и превращают ее сугубо частную, интимную проблему в предмет бурной общественной дискуссии. Частная жизнь в харедимном обществе имеет весьма ограниченный характер, иногда практически сводится к нулю. Общественная жизнь заглатывает интимные аспекты частной жизни. В ходе общественной бури, имеющей, в основном, принципиальное значение, персональная проблема, в данном случае, проблема Гинделе, попросту затерялась.

Гинделе Файнштейн уже далеко за тридцать, и она по-прежнему живет со своими родителями в Бней-Браке. В юности она считалась одной из самых завидных партий в Израэле. Со стороны матери, Липше, Гинделе — внучка рабби Ицхака Зеэва Соловейчика (в свою очередь, сына, внука и правнука знаменитейших брисских раввинов), которого называли "рабби Велвеле из Бриска". В пятиде-

сятые годы он был одним из бесспорных руководителей всего харедимного мира. Брисская династия, являющаяся частью "миснагидского", "литовского" мира, представляет собой наиболее экстремистский его элемент. Эта семья и ее окружение — особенная, элитарная группа, завоевавшая огромный авторитет и признание у всех харедимных кругов. Род Соловейчиков ведет свое начало от самого Виленского Гаона. Он чуждается организации "Агудат Исраэль" из-за ее полупризнания государства Израиль, и считается крайне анти-сионистским.

Со стороны отца, рабби Михаля Файнштейна, Гинделе связана кровным родством с ныне покойным рабби Моше Файнштейном, да будет благословенна его память, бывшим главой Совета знатоков Торы в США, которого называли "законодателем поколения." Михаль был родным братом рабби Моше Файнштейна.

Когда Гинделе "вошла в возраст", стало ясно, что выйти замуж она может только за молодого человека, происхождение которого не уступает ее собственному. Такого жениха для нее нашли в американском городе Нью-Джерси. Это был Малкиэль Котлер, внук рабби (Агарона — прим. перев.) Котлера, тоже бывшего в свое время главой Совета знатоков Торы в США, отпрыск семьи, возглавляющей ешиву "Лейквуд" — крупнейшую на американском континенте. После того, как эти молодые люди поженились, в религиозном мире говорили: "Это самая знатная еврейская пара в мире." Роль свата сыграл не кто иной, как рабби Элизер Шах, бывший некогда учеником рабби Велвеле из Бриска.

Малкиэль расстался с родителями и переехал в Израиль. С самого начала было известно, что тот, кто вступает в брак с отпрыском брисского рода, должен жить в Эрец Исраэль. Дело в том, что на это семейство был наложен легендарный запрет (тем самым рабби Велвеле), однозначно утверждавший: член брисского семейства не имеет право покидать Эрец Исраэль для того, чтобы переехать в Америку.

Что побудило рабби Велвеле ввести этот запрет, который через несколько лет разобьет жизнь его внучке? Он никогда не был сионистом, однако считал, что Америка — это проклятая страна с дурными нравами. Представление об Америке как о крайне развращенной стране было весьма распространено среди польских раввинов уже за поколение до него. Одним из аргументов послужило то обстоятельство, что во многих случаях религиозным евреям, переехавшим в Америку, пришлось, чтобы заработать себе на жизнь,

работать в субботу. Они забросили занятия Торой и перестали вести образ жизни кашерного еврея. В харедимном сознании тех времен Америка представлялась местом, где евреи вообще перестают быть евреями. В бриском семействе строго соблюдали запрет рабби Велвеле. Поэтому Малкиэль переехал в Израиль и обосновался в Иерусалиме. Он неплохо прижился в ешиве "Бриск", одной из самых престижных в харедимном мире. Эта пара — Малкиэль и Гинделе — прожила вместе почти десять лет. Детей у них не было.

Тем временем рабби Шнеур Котлер, отец Малкиэля и глава ешивы "Лейквуд", тяжело заболел. Малкиэль отправился к умирающему отцу, а Гинделе осталась в Израиле, соблюдая запрет деда. После того, как рабби Шнеур скончался на руках у сына, руководители ешивы, в которой учились сотни студентов, обратились к Малкиэлю с предложением, не принять которое было невозможно — в 34 года возглавить самую большую ешиву в мире!

Малкиэль немедленно написал жене и просил ее приехать в Америку. В конце концов, времена изменились, и сейчас в Соединенных Штатах существуют крупные харедимные центры, в которых можно вести абсолютно кашерный образ жизни. Гинделе обещала приехать — и осталась дома. Ее мать, Липше, постановила: женщина из "брисского дома" не может покинуть Эрец Исраэль и, тем более, переехать в Америку.

Начались переговоры, задачей которой было добиться приезда Гинделе в Америку. Вопрос о том, поедет она или нет, не на шутку волновал весь харедимный мир.

Зимой 1985 года терпение Малкиэля лопнуло, и он решил развестись с Гинделе. Согласно одной из версий, вначале он пригласил Гинделе для разбирательства в *бейт-дин* (суд) "Эды харедит", но, под давлением семьи Файнштейн, суд закрыл дело. Что произошло на самом деле, не совсем ясно, известно только, что через некоторое время Малкиэль обратился к частному харедимному суду в Бней-Браке, возглавляемому рабби Нисимом Карелищем, и просил его разобрать это дело. Рабби Нисим Карелищ — член Совета знатоков Торы, весьма уважаемый "литовский" авторитет и, кроме того, один из раввинов, наиболее близких к раву Шаху. Он пригласил Михая Файнштейна и его дочь на заседание суда, но они не явились. Согласно одной из версий, рабби Файнштейн сказал: "Я не позволю разбирать свое дело человеку, который на порядок ниже меня." Его жене, Липше, очень сильной и необычной женщине, которую называют "железной леди из Бриска", приписывают такой афоризм:

"Моя дочь никогда не примет *гет* (разводное письмо) от Котлера. Только *халицу*." Как известно, *халицу* вручают только после смерти мужа...

После этого события приняли бурный характер. Весь харедимный мир стал воспринимать эту историю как свою собственную. В конечном счете, речь шла о двух самых знатных семьях в еврейском мире! Повсюду дебатировались различные аспекты проблемы: почему у этих супругов не было детей? Разрешила ли Липше своей дочери лечиться против бесплодия? Только ли из-за старинного брисского запрета Гинделе не разрешают ехать за границу, или же какую-то роль играют соображения престижа и соперничество двух семей? Личные проблемы Гинделе стали предметом публичного обсуждения. Им занимались буквально все. Как мы уже знаем, вторжение общества в частные дела является одной из характерных черт харедимного общества.

Рав Шах занял ясную позицию — он поддержал мужа, Малкиэля Котлера. Тот, кому предлагают возглавить ешиву "Лейквуд", говорил рав Шах, не может остаться в Израиле. Он постановил, что Гинделе должна последовать за мужем в Америку. После этого люди из брисского окружения стали видеть в нем предателя — ведь он был одним из учеников рабби Велвеле из Бриска. Более того — его деятельность как раввина началась после того, как рабби Велвеле написал хвалебное введение в его книгу. Как же теперь он может отплатить нам таким образом, говорили "брискцы". Между равом Шахом, признанным лидером "литовских" евреев, и брисским домом возникли крайне напряженные отношения. Рассказывают, что брат Гинделе, учившийся в ешиве "Понивеж", которую возглавлял рав Шах, вынужден был оттуда уйти.

После того, как прошел первоначальный шок, начались переговоры, которые должны были ликвидировать конфликт, угрожавший целостности "литовского" лагеря. Рабби из Стрикова, Адмор, бывший одним из приближенных рава Шаха, отправился по его поручению к Михалю Файнштейну. Он пытался убедить рабби Файнштейна дать согласие на развод дочери. В ходе дипломатических контактов обратились даже к дяде Михалю, рабби Моше Файнштейну, который поддержал рава Шаха против собственной родни. Он собственноручно написал письмо, в котором постановил, что Гинделе должна последовать за мужем в Америку. Законодатель поколения заявил, что запрет рабби Велвеле на переезд в Америку, даже если понимать его буквально, был принят в другую эпоху, ко-

гда у американских евреев были многочисленные проблемы, уже решенные к настоящему времени. Сегодня Америка стала одним из мировых центров Торы, и ешива "Лейквуд" — это еврейское учреждение, которым следует гордиться. Человек, стоящий во главе ешивы "Лейквуд", — это капитан корабля, который не имеет права покидать свой пост.

Михаль Файнштейн отказался категорически. Не совсем ясно, почему. Может быть, он считал, что никто ничего не сможет предпринять против знаменитого брукского дома, и, таким образом, Малкиэль Котлер вынужден будет вернуться в Израиль. Не исключено, что источником его упорства была жесткая позиция Липше. Она верила от всего сердца, что, не давая дочери уехать в Америку, она выполняет настоящую *мицву* своего отца, рабби Велтеле, да будет благословенна его память. В брукском доме соблюдение семейных традиций является настоящим законом, не знающим исключений. Преклонение перед предшествующим поколением доходит до полной абсолютизации его суждений. Рассказывают, что когда "бруксца" спрашивают о чем-либо, он избегает высказывать свое мнение и отвечает так: "Мой отец говорил об этом следующее..." Такое отношение к мнению предыдущего поколения является исключительным даже в харедимной среде.

Когда стало ясно, что дипломатические маневры ни к чему не приведут, рав Шах решил использовать сильные средства. Для того, чтобы развязать этот узел, он решился на крайнюю, редко применяемую и исполненную значения меру: использование так называемого "разрешения ста раввинов", имея которое мужчина может взять себе вторую жену. Сейчас самое время объяснить читателю, в чем заключается смысл этого странного обычая, говорящего очень много о положении женщины в рамках Торы и еврейского закона.

Примерно тысячу лет назад рабби Гершом, прозванный "Светилом Диаспоры", принял два постановления ("поправки"), задачей которых было законодательно ограничить ставшее к тому времени в ашкеназском мире чисто теоретическим многоженство. Во-первых, он постановил, что мужчине запрещено иметь одновременно более, чем одну жену. Во-вторых, для того, чтобы мужчина не мог с легкостью развестись с одной женой для того, чтобы взять себе другую, он постановил, что нельзя развестись с женой без ее согласия. Таким образом, чтобы женатый мужчина мог жениться на другой женщине, он должен договориться со своей женой об условиях развода, или же, в качестве альтернативы, убедить религиозный суд, что он прав, тре-

буя развода. В таком случае суд выносит постановление, обязывающее жену согласиться на развод. (Однако даже постановление суда не может заменить согласие жены на участие в процедуре развода — оно является абсолютно обязательным. Поэтому суд, обязывая жену согласиться на развод, может только угрожать ей различными административными мерами — заставить ее развестись он не может. В свете этого становится понятной следующее постановление — о "разрешении ста раввинов". В самом деле, что делать, если жена, несмотря на постановление суда, на развод не соглашается? — Прим. перев.)

Для того, чтобы сделать постановление суда более действенным, вскоре после принятия "поправок" рабби Гершома было введено еще одно административное средство — "разрешение ста раввинов". То есть: для того, чтобы взять вторую жену, не нарушив постановления рабби Гершома, необходимо получить письменное согласие на это ста раввинов, а также постановление суда, обязывающее первую жену согласиться на развод. Тот, кто выполнит оба эти условия, может взять себе вторую жену, не преступив при этом еврейского закона.

Вне всякого сомнения, эти постановления имели прогрессивный характер и существенно упрочили социальный статус женщины, хотя, разумеется, речь и не шла о полном равенстве. Они отняли у мужчины возможность развестись с женой в одностороннем порядке, "как только ему этого захочется". "Разрешения ста раввинов" выдавались лишь в крайне ограниченном числе случаев, однако, их можно было использовать, когда они были действительно необходимы: например, если речь шла о душевнобольной женщине (которая, согласно еврейскому закону, вообще не может развестись с мужем — прим. перев.), о женщине, которую суд объявил "непокорной" (букв. — "не подчиняющейся мужу"), о женщине, не имеющей детей (в случае, если медицинские соображения однозначно указывают, что их у нее уже не будет), или, наконец, о женщине, изменившей мужу.

При всем своем прогрессивном (по крайней мере, для тех времен) характере, "разрешение ста раввинов" и сегодня представляет собой неплохой способ разрешить мужчине взять вторую жену. Израильский закон запрещает бигамию (двоеженство), но при помощи "разрешения ста раввинов" этот запрет можно преодолеть. Каким образом? Мужчина, заинтересованный в этом, может обратиться в Главный раввинат Израиля или, по желанию, в один из частных харедимных судов, так называемых БАДАЦев, с тем, чтобы получить там постановление, обязывающее жену с ним развестись. После это-

го он должен убедить сто раввинов в том, что его жена ему изменила, отказывается с ним считаться в фундаментальных вопросах, заведомо бездетна и т.д. Предположим, что сто раввинов, которые, кстати говоря, по всей вероятности, никогда не видели эту женщину и уж, тем более, не беседовали с ней, подписали знаменитое разрешение. Тогда мужчина может направиться к одному из харедимных антиссионистских раввинов, не признающих законы государства, и попросить этого раввина сочетать его браком с новой избранницей. Что произойдет, если об этом противоправном деянии — как-никак, бигамия противозаконна — станет известно властям? А ничего. Счастливый муж всегда может объявить вторую жену своей постоянной любовницей, а поскольку бракосочетание было совершено антиссионистски настроенным раввином, который заведомо не будет сотрудничать с властями, и копия *ктубы* — брачного договора — гражданским властям не передавалась, то доказать что-либо оказывается невозможным.

Сефардские евреи не приняли "поправок" рабби Гершона и на них они не распространяется. Тем не менее, сефардский еврей, желающий взять вторую жену, ограничен не только гражданским законом, но и собственной *ктубой* — брачным договором с первой женой. В сефардскую *ктубу* принято вносить следующую формулу: "Жених принимает на себя клятвенное обязательство и зарок Торы не брать себе жену без разрешения суда." Чтобы законным образом взять вторую жену, сефардский еврей должен произвести ритуал расторжения обета.

Рав Шах решил, что против Гинделе необходимо использовать "разрешение ста раввинов". Его аргумент: Гинделе должна быть объявлена "восставшей против мужа", поскольку она отказывается отправиться вместе с ним в Америку. Где-то на горизонте, разумеется, все время маячил вопрос о ее бездетности. Гинделе было предложено предстать перед судом под председательством рабби Нисима Карелица, и, во всяком случае согласно свидетельству сторонников Котлера, она отказалась. Однако, согласно еврейскому закону, ее дело могло быть рассмотрено и заочно. Семейство Котлеров наняло самого лучшего религиозного солиситора в Израиле, рабби Цви Вайнмана, и он начал представлять его интересы в израильских харедимных религиозных судах. В американском городе Монси был создан специальный суд под председательством рабби Хайнемана из Балтимора, который изучил все обстоятельства дела и, прежде всего, вопрос о требуемом "разрешении". После того, как

разрешение было изготовлено, и сто раввинов, которые никогда не видели Гинделе, подписали его (не в последнюю очередь, благодаря мощному давлению рава Шаха), *get* — разводное письмо, которое Гинделе отказывалась принять, было вручено рабби Карелицу — на случай, если Гинделе со временем передумает и все-таки захочет развестись. С этого момента Малкиэль был свободным человеком.

Отец Гинделе попытался в последний момент предотвратить такой исход дела. Он вызвал Малкиэля Котлера в религиозный суд "Эды харедит" в Иерусалиме. В то же самое время было объявлено, что Гинделе готова переехать в Соединенные Штаты при условии, что два месяца каждого года супружеская пара будет проводить в Израиле. Но все это уже не помогло. Котлер отказался приехать. Его сторонники утверждали, что когда он согласился появиться в суде, Файнштейн отказался в нем участвовать.

В любом случае, было уже поздно. Спустя совсем немного времени Малкиэлю нашли новую, американскую, невесту. Сара Тикоцки, девятнадцатилетняя девушка из хорошей семьи, согласилась выйти за него замуж. Брисский дом оказал сильное давление на семью Тикоцки с тем, чтобы она не допустила этой свадьбы. Неизвестные люди начали названивать в дом Тикоцких, и когда хозяева поднимали трубку и спрашивали: "Кто говорит?", отвечали: "Рабби Гершом," — и вешали трубку.

Все это, естественно, не помогло. Седьмого июня 1985 года газета "Альгемайнер джурнал" опубликовал сообщение о свадьбе Котлера. Бракосочетание состоялось в "Пасифик кантри клуб". На нем присутствовали семьсот гостей. Рав Шах прислал на свадьбу бутылку какого-то особенного израильского вина. Далее в заметке, опубликованной в этом идишнестском издании, сообщалось, что большой отряд американских полицейских бдительно охранял молодоженов и их гостей.

Через некоторое время у четы родилась дочь. Сторонники Малкиэля рассматривали это событие как указание Небес, одобрявших новый союз. В харедимном мире принято считать, что, если у супругов нет детей, это означает, что Небеса противятся их союзу. Иногда имеет смысл проверить, все ли было в порядке с самим процессом сватовства. Может быть, не заплатили свату? Обидели кого-нибудь? Если после того, как упущение исправлено, у супругов рождается ребенок, считается, что Небеса одобрили их поведение.

Гинделе, которая была самой знатной невестой в Израиле, осталась в полном смысле слова ни с чем. Ее супруг живет с другой жен-

щиной, а она, все еще его жена, одиноко сидит в доме своих родителей, и весь свет обсуждает ее историю. Эта драма стала еще одной темой, вызвавшей крупные разногласия в харедимном мире. Рав Шах признался: "Я не сплю по ночам из-за этого нового раскола." Брисский дом призвал весь харедимный мир бойкотировать всю ешиву "Лейквуд" из-за поведения ее главы, нарушившего постановление раббн Гершона. В Америке несколько сторонников брисского дома опубликовали книгу "Добиться правды" (вышедшую в бруклинском издательстве "Комитет за правду и справедливость" в Элуле 5745 — 1985 — года), содержащую ответы трех раввинов, — раббн Якова Шифа, раббн Эльякима Гецла Шлезингера и раббн Элиэзера Цадока Турчина — выступивших против легитимности "разрешения ста раввинов" в данном случае. В книге утверждалось, что Малкиэль Котлер оставил свою жену без всяких оснований, что Гинделе вообще не выказывала неповиновения супругу, который от нее попросту сбежал. Поэтому "разрешение" в данном случае заведомо ущербно. В книге приводятся документы, заверенные известными израильскими раввинами, доказывающие, что Гинделе вела себя по отношению к супругу совершенно лояльно. В книге сообщалось, что после отъезда Котлера в Америку Гинделе требовала только, чтобы он вернулся в Израиль для примирения, с тем, чтобы после этого она поехала с ним в Америку. Однако он отказался приехать в Израиль, опасаясь, что обратно его не выпустят — семья Гинделе могла попытаться получить распоряжение суда, запрещающее ему покидать Израиль. По словам сторонников брисского дома, он отказался встретиться с ней и на "нейтральной территории" вне Израиля.

Поэтому, заключает эта книга "брисской ориентации", "вся история с "разрешением" в данном случае — чистейшая фальсификация, попытка унижить "до земли" скромную и чистую еврейскую женщину, дочь и внучку еврейских мудрецов." Раббн Шиф заявляет, что "это "разрешение" — нагромождение ошибочных и безосновательных утверждений, в нем нет ни одного верного утверждения, и оформлено оно было людьми, недостойными преподавать Тору, как это доказывают все их действия, и оно не имеет никакой законной силы." Религиозный суд в Монси сторонники брисского дома с горькой насмешкой называли "секретным судом", поскольку он не считал нужным вызвать представителей Гинделе и заслушать их аргументы. Раввинов Хайнемана, Лансмана и Малиновича, заседавших в этом суде и оформивших "разрешение", в этой книге называют

"раббаями" — оскорбительной на иврите (в отличие от английского языка — прим. перев.) кличкой, относящейся обычно к реформистским раввинам. Все это — чтобы показать, с каким презрением следует относиться к этому суду.

В этой книге подробно рассказывается о том, как рав Шах оказал сильнейшее давление на "литовских" раввинов с тем, чтобы те не решили дело в пользу Гинделе. Брисский дом объявил Котлера полностью отлученным, так что запрещено было изучать у него Тору. Кроме того, ему предписывалось немедленно развестись со своей второй женой, которую он взял, согласно этой точке зрения, в нарушение еврейского закона. Сторонники рава Шаха не остались в долгу. Они немедленно начали публиковать ответные плакаты и стенные объявления ("пашквилы"), в которых говорилось, среди прочего: "Как можно заставить Котлера жить вместе со змеей и нарушить волю его предков, согласно которой он должен возглавить самую большую ешиву в мире?" Гинделе стала "змеей", поскольку в харедимном мире все переживания гораздо сильнее и интенсивнее, чем в секулярном, и в завязывающихся там войнах сражаются до последнего солдата.

Этим последним солдатом и была Гинделе. В ходе всей этой борьбы, взбаламутившей харедимный мир, никто ни разу не интересовался, что она сама об этом думает. Ее собственные желания по столь личному вопросу, как жизнь с собственным мужем, даже не прозвучали — во всяком случае, публично. Никто не сказал: "Они должны развестись потому, что она его больше не любит" или "он ее больше не любит" или даже "они друг другу не подходят." Такие понятия, как любовь и романтические отношения вообще не существуют в харедимном сознании. Рассказывают, что "Хазон Иш", один из величайших раввинов нашего времени, сказал однажды, что тот, кто хочет понять истинный масштаб отличия харедимного мира от секулярного, должен присмотреться к понятию "любовь".

"То, что они, нерелигиозные люди, называют любовью, — сказал "Хазон Иш", — для нас — "карет". "Карет" — это смертный приговор грешнику, а иногда и членам его семьи, вынесенный на Небесах и осуществляемый Небесным судом.

(Перевод с иврита и комментарии Александра Этермана)

ДВЕ КОНЦЕПЦИИ ИЗБРАННОСТИ, *или исторические заметки на неисторические темы*

22 января мир облетела весть о заключении дипломатических отношений между Китаем и Израилем, которая в силу ряда причин не стала слишком сенсационной. Официальный Пекин сделал на этот счет ряд ответственных и многообещающих заявлений еще осенью, а после аналогичного решения бывшего Советского Союза, гораздо более долгожданного и стратегически значимого для израильской внешней политики, ни о какой сенсации речи уже быть не могло. Эти сообщения немного опередила другая новость, оставшаяся почти незамеченной. В Израиле готовится к изданию первый в мировой истории «Иврит-китайский словарь», титанический труд по составлению которого выпал на долю русскоязычного уроженца Харбина Эммануэля Пратта.

Однако, в самое ближайшее время для полноценных контактов Китая и Израиля потребуется также словарь иного рода, словарь культуры, без которого сегодня невозможен никакой диалог даже на уровне посольств. И для этого словаря уже есть некоторые предпосылки. Юрий Граузе, тоже «русский» и тоже харбинец, перевел и подготовил к изданию один из важнейших канонических текстов древнекитайской культуры «Ицзин» («Книгу Перемен»), который один из исследователей памятника справедливо назвал «Китайской Библией». Ему же принадлежит перевод на иврит «Дао-дэ-цзина», давно превратившегося на Западе из экзотического произведения далекого Востока в один из любимейших памятников общечеловеческого философского гения. Известный российско-израильский синолог, профессор Иерусалимского университета Виталий Рубин, «Дневники и письма» которого вышли в издательстве «Библиотека Алия», также мечтал написать работу по *Judeo-Sinica*, но его замыслу из-за внезапной трагической гибели не суждено было сбыться. Моя попытка соединить Китай и Израиль, пусть пока и лишь на бумаге, – попытка продолжить эту добрую традицию русскоязычного Израиля, ибо путь в Китай из Иерусалима давно пролегает не через мусульманский Восток и не через Шелковый путь, а через Москву и Санкт-Петербург. И хотя этот маршрут может показаться длиннее профанно-географического, что-то заставляет верить, что этот окольный путь – короче и

прямее.

Китайский мир не выработал на всем протяжении своей традиционной истории никакого особого отношения к еврейскому вопросу, в противоположность миру христианскому, с точки зрения которого, выраженной Э. Ренапом, «евреи принесли миру столько добра и зла, что невозможно относиться к ним справедливо». Многочисленные статьи и монографии о китайских евреях на современном Западе – скорее дань этой христианской традиции отношения к еврейству, чем отражение сколько-нибудь значимых реалий китайской истории, для которой опыт кайфынской иудейской общины (и уж тем более шанхайской и харбинской) остался лишь периферийным и малозаметным эпизодом. Средневековый Китай даже на уровне языка не видел никаких принципиальных различий между мусульманством и иудаизмом, обозначая две религии общим термином «байцзяо» («белое учение»).

Для евреев китайцы также никогда не были особенно стратегически значимыми. В классических памятниках еврейской культуры мы не находим никаких упоминаний о китайцах. Правда, некоторые современные интерпретаторы склонны усматривать указание на специфику китайцев и их происхождение в том фрагменте из «Бэрэшит» (Бытие 24-25; 1-6), где идет речь о второй жене Авраама, Кторе. «И отдал Авраам все, что было у него, Ицхаку. А сынам наложниц... дал Авраам подарки и отослал их от Ицхака, сына своего, еще при жизни своей на Восток, в землю Кэдэм». Эта «земля Кэдэм» и идентифицируется некоторыми современными комментаторами с Китаем. «Что за подарки дал Авраам детям Кторы, – задается вопросом Раши, один из авторитетнейших комментаторов Торы X-XI веков, – если сказано, что все он отдал Ицхаку?» По его толкованию, этим даром была «нечистая сила» («коах тума»), то есть то, что теперь есть у китайцев и нет у евреев. Нет за ненужностью: Авраам никогда не обделил бы Ицхака. Впрочем, это всего лишь интерпретация, достаточно искусственная и вряд ли сколько-нибудь значимая с точки зрения парадигмы восприятия китайцев евреями. Таким образом, в рамках традиционных историй нам почти не на что опереться в предстоящем диалоге.

Пожалуй, стоит начать анализ с цитаты из «Священной истории человечества» Мозеса Гесса, цитаты, характеризующей не столько даже взгляды самого автора этой книги, сколько отражающей аксиоматический подход всего XIX века к перспективам евреев и китайцев в истории: «Истории известны два народа, чей вклад был велик в прошлом, но будущего у них нет. Первый народ – еврейский, являющийся ныне духом без тела; второй – китайцы, представляющий собой тело без души; оба народа в равной мере лишены будущего». Сегодня неоправданность этих слов более, чем когда бы то ни было, очевидна. Они противоречат, правда, не только современным реалиям, но и будущим прозрениям самого Гесса в «Риме и Иерусалиме». Израиль сегодня не только «обрел

плоть», но и превратился, по квалификации его некоторыми учеными, в пятого – ближневосточного – дракона, сопоставимого с четырьмя дальневосточными (Тайвань, Гонконг, Сингапур, Южная Корея) по экономическому могуществу и потенциальным возможностям (хотя источник и природа этого могущества отличаются от «четверки»). Удручающее хозяйственно-идеологическое настоящее Китая также не должно вводить в заблуждение. Китай обладает колоссальным потенциалом и, по мнению футурологов, еще заявит о себе в следующем столетии. Шествие мирового духа, начавшееся, по Гегелю, именно с Китая, неминуемо должно вернуться на родину. Голем китайского тела обретет и уже обретает утраченную душу. Однако, даже заблуждения Гесса, как это часто бывает с заблуждениями людей незаурядных, достаточно плодотворны, и даже из них можно извлечь некоторые уроки.

Если история евреев – это прежде всего история народа, в которой «телесность» – как государственность – была факультативной, а порой и нежелательной (вспомним, какие сомнения и колебания пришлось пережить пророку Самуилу, прежде чем учредить израильскую монархию и помазать на царство первого еврейского царя Саула), то история китайцев немыслима без государственности, всегда тяготевшей к гипертрофированным, имперским формам, и концепции политического управления как важнейшей части религиозного ритуала. Если с точки зрения китайской традиционной культуры государь является посредником между Небом и Землей («Сыном Неба»), а исторический конфуцианский культ был вариантом государствовклонства, то с точки зрения иудаизма Кесарь и возглавляемое им государство не играют существенной роли в диалоге человека и Б-га, народа и Б-га (и потому в Танахе пророк Авраам, а не Кесарь называется «отцом народа», ибо он ходил «путем Г-сподним»). Теория, согласно которой взаимоотношения между земным правителем и народом должны строиться по схеме отношений отцовско-сыновних, осталась евреям навсегда чужда.

Поэтому идея мессианства, характерная и для еврейской, и для китайской культур, связывалась с разными носителями: в первом случае историческая суперфункция (миссия) приписывается народу, избранному Б-гом и берущему на себя ответственность в верности Завету (превосходя тем самым свое локально-этнографическое бытие), а во втором – государству, возглавляемому монархом, обладающим харизмой добродетели-благодати («дэ»), изливающейся не только на собственных подданных, но и на весь окружающий мир. Китайское мессианское сознание получает яркое выражение уже в самоназвании-аттестации Китая – «чжунго», то есть «Срединное государство», государство, расположенное в центре обитаемой ойкумены, или Поднебесной. Поэтому внутреннее обустройство Китая мыслилось в традиционной китайской идеологии как тождественное всеобщему миропорядку. Этот государственный мессианизм сохранился и в сознании крупнейших идеологов и мыслителей современного Китая. Так, идея

Сунь Ятсена о «Великой Азии» предполагала, что «счастье всего человечества будет создано людьми желтой расы», ядро и квинтэссенция которой – китайцы. А согласно классификации культур, предложенной крупнейшим конфуцианцем XX века Лян Шумином, Китай, подобно ребенку-вундеркинду, перешагнул две низшие стадии развития культуры, представленные Европой (удовлетворение материальных потребностей людей через высокоразвитую промышленность, науку и демократию) и Индией (решение внутренних проблем человеческого духа), и сразу перешел к высшей стадии – решению проблем гармонизации мира и человеческих отношений. Этому человечество и должно учиться (и уже учится) у Китая.

В еврейской же традиции, в противоположность китайской, особенно заострен момент центральности Израиля не в пространстве, а во времени. Так, например, в «Кузари» Иегуды Галеви сказано, что земля Израиля – место, куда в субботнюю ночь был низвергнут из рая человек, и что именно здесь после шести дней творения начался счет времени. По иронии судьбы – а, может, и вполне закономерно – эти слова в «Кузари» как раз оспаривают первенство Китая в плане «начала времен»: «В Китае суббота начинается на 18 часов позднее, чем в земле Израиля, потому что Земля Израиля расположена в центре населенного мира, на начальном меридиане, а когда в ней заходит солнце, в Китае полночь...» То есть поскольку суббота начинается с захода солнца, а восход солнца в Китае совпадает с началом дня, Израиль имеет безусловное первенство перед «Срединным государством».

Вообще иудаизм, как справедливо заметил А.-Й. Гешель, есть по преимуществу «религия времени», а не пространства, и История в нем первенствует над Географией. Попытаемся сравнить традиционные еврейскую и китайскую концепции истории. Стоит отметить, что именно в этих двух культурах истории придавалось особое значение, несопоставимое, скажем, с индийской и греческой. Если древнеиндийская традиция вообще отличалась поразительным равнодушием к историческому модусу человеческого существования, особенно к датам и цифрам, и мерила время далекими от «историчности» «югами» и «кальпами», а греческое историческое сознание даже в лице своих лучших представителей (Ксенофонт, Фукидид), по аттестации Гегеля, принадлежало к числу «нерефлексивных» и было, строго говоря, скорее художественным (по свидетельству М.Гаспарова, в Греции «кто хотел читать красивую прозу, обращался к ораторам, кто умную – к философам, а кто интересную – предпочитал историков»), то для евреев и китайцев история – это и цель сама по себе, и повод для разговора о сверхисторическом. С самой глубокой древности неперменными фигурами всякого, даже самого провинциального, двора в Китае были два чиновника, «ю» и «цзоу» (правый и левый), первый из которых записывал деяния государя, а второй – его речи. Излюбленным образом писаной истории выступал в

конфуцианском нарциссическом сознании образ зеркала, а излюбленным способом рассуждения – обращение к историческим прецедентам и «урокам истории». Однако, собственно история в нашем смысле слова – наука, безусловно, еврейская, так как лишь в Израиле произошел разрыв с циклической концепцией круговорота времен и была открыта линейная перспектива видения времени, или эсхатология. Именно поэтому так разительно различие между хотя бы мифологизированной, но все-таки историей «избранного народа», которая излагается в Танахе, и историзированными китайскими мифами, почти полностью утратившими свой первоначальный вид из-за их последовательно осуществлявшегося погружения в историческую конкретику в официальной конфуцианской традиции.

Другое немаловажное различие двух исторических сознаний состоит в том, что если в Китае особым ценностным статусом наделено прошлое, куда китайские мыслители обычно помещали «золотой век» государственности (времена Яо и Шуня у конфуцианцев) или безгосударственности (времена божественных первопредков Хуанди и Шэньнуна у даосов) в духе чрезвычайно популярного в «Срединном государстве» жанра ретроспективных утопий, то для Израиля таким статусом обладало будущее, время прихода мессии и тысячелетнего царства. С другой стороны, сама концепция мессианского времени и построения Царства Божьего на земле, выдвинутая евреями, была в чем-то сродни концепции возвращения к идеальному «золотому веку» с его обществом всеобщего благоденствия «Датун» («Великого единения»), разделявшейся рядом традиционных китайских учений (но по происхождению, видимо, все-таки конфуцианская). Возможно, именно поэтому коммунистическая идея оказалась столь соблазнительной и созвучной чаяниям двух народов.

Сакрализация противоположных полюсов времени объясняет и парадоксальное сходство между ключевыми фигурами китайской и еврейской истории духовной жизни – историком и пророком. Пророку дано читать со свитка, на котором начертаны скрижали истории, предсказывать будущее. В то же время он судья, передающий волю Г-спода и осуждающий несправедные деяния своих современников с точки зрения вечных религиозных и нравственных ценностей. Китайский историк также совмещал свою непосредственную функцию с функцией гадателя-предсказателя, предвидящего (до-видящего) ближайшее будущее на основании взгляда в прошлое. Таким образом, роль его близка к пророческой не только в шлегелевском смысле «предсказывания назад» (эту фразу почему-то часто приписывают Гегелю). По свидетельству В. Рубина, в конфуцианской теории европейскому понятию истины соответствовала концепция «чжэнмин» («исправления имен»), в которой в качестве ценности выступало соответствие наименований действительности: государь должен быть государем, отец – отцом, сын – сыном. Эту миссию «исправления» и брал на себя историк, так как в сфере

истории функция истины состоит не в объективности описания, а в справедливом суде. Таким образом, власть истории, которая, как известно, злопаметнее народа, оказывается выше и возвышенной власти правителей, как харизма пророка у евреев выше харизмы царя. Историческая хроника превращается в приговор. Это высокое предназначение китайского историка можно проиллюстрировать следующим примером. Когда в IV в. до н.э. правитель царства Ци был убит своим министром Цуй Чжу, историограф записал: «Цуй Чжу убил своего господина», – за что был казнен. Та же участь постигла и двух его младших братьев, последовательно сменивших его на посту придворного историографа и внесших в хронику ту же запись. Лишь после аналогичного поступка четвертого брата Цуй Чжу отступил. Такому историку можно было не только доверять, но и верить, как пророку. Отнюдь не случайно главный Пророк Китая, Конфуций, был также и Историком, автором и редактором «Шуцзин» («Книги истории») и «Чуньцю» («Летописи царства Лу»). Именно поэтому взгляды этого ретрограда-консерватора, так напряженно и внимательно вглядывавшегося в прошлое, позволили столь отчетливо увидеть и определить будущее Китая.

Важное различие между двумя историческими сознаниями можно также обнаружить, обратившись к традиционным китайской и еврейской концепциям времени. В языке Библии не было грамматической категории настоящего времени, существовало лишь будущее и прошедшее. Благодаря этому история становилась осуществлением Слова, Пророчества, Обещания. Отрезок между пророчеством и свершением его есть безвременье, не обладающее истинным бытием. Вечность – точка в конце туннеля истории («Царство Божье»). Все случайное, временное, наносное – «от Кесаря». Да и сама история интересна только с внеисторической точки зрения. Все лишь настолько есть, насколько оно причастно или приближает будущую Высшую Реальность, Обетованья Божии, претворяет Закон. Все детерминировано будущим, интимно связанным с прошлым. *Sub specie aeternitatis* настоящее – лишь «гэвэл» (גֶּוֹל), суета, тщета. Если, по словам Платона, время есть «движущийся образ вечности», то иудейская вечность со временем почти и не соприкасается. Это равнодушное пучеглазое существо, безучастно взирающее на суетное настоящее мира. Единственный путь к ней – в ритуализации настоящего. Высшая реальность чужда «человеческому измерению», бесконечно удалена. Говоря словами Ф. Ницше, человек (*Mensch*) по отношению к ней остается лишь суетным измерителем (*Messer*). В Греции мир подвластен человеческой мере, Израиль говорит о безмерности бытия. Еврейская вечность столь непонятна и столь далека, что возникают сомнения в самом существовании ее, в самой ее возможности. Не подобна ли она, как кажется одному из героев Ф. Достоевского, «деревенской бане, закоптелой, а по всем углам пауки»?

В древнекитайском же языке (вэньяне) вообще нет категории времени (что

дало повод известному немецкому синологу Вольфгангу Бауэру приписать китайскую щепетильность в хронологии и датировке событий именно отсутствию категории времени в языке). Все, что есть, было и будет. Однажды ставшее действительным – постоянно возможное. Время есть круг, тождественный вечности. Будут сменяться сезоны и годы, дни и ночи, солнца и луны, на смену гуманным правителям в начале династийного цикла придут дурные в его конце. И вновь сменятся гуманными в начале следующего. Были и будут «благородные мужи» («цзюнь-цзы») – образцы поведения, были и будут несправедливые правители и корыстолюбивые чиновники – антиобразцы. История описывает даже не столько время, сколько вечность. Ибо никакой вечности внешней и чуждой по отношению к настоящим событиям не существует. Вечность так близко, что можно коснуться рукой. В мире есть лишь три творца – Небо, Земля, Человек, – и творят они в соответствии с вечными образцами, тождественными их бытию.

Каждая великая традиция обладает корпусом священных (или сакральных) текстов, авторитет которых должен оправдывать и санкционировать деяния людей с точки зрения высших критериев миропознания и следования нравственному закону. Эти книги называются каноническими. Опора на такого рода тексты – характерная черта еврейской и китайской культур. Основу традиционного образования в еврейской культуре составляет «Пятикнижие Моисеево» («Хумаш»), в китайской – «Пятиканоние» («У цзин»). «Пятикнижие» – свод религиозных и ритуально-этических предписаний, а также традиционная версия национальной истории, мыслившейся как история всеобщая, – включает в себя «Бытие», «Исход», «Левит», «Числа» и «Второзаконие». Китайское «Пятикнижие» – подобный «Пятикнижию» набор базисных (или первоэлементных) знаний о мире и истории, состоящий из пяти книг: «Ицзин» («Книга Перемен»), «Шицзин» («Книга Истории»), «Шуцзин» («Книга Поэзии»), «Лицзи» («Записки о ритуале»), «Чуньцю» («Летопись царства Лу»). В еврейской традиции Тора – книга, в которой есть все, и изучению и все более глубокому проникновению в нее должна быть посвящена вся человеческая жизнь. «Ицзин» в китайской традиции также есть книга, исчерпывающе описывающая и разъясняющая – с помощью различных сочетаний восьми триграмм («ба-гуа») и кратких изречений-пророчеств к ним – все возможные ситуации в мире, все загадки мироздания, истории и человека, и изучение ее может продолжаться всю жизнь. Подобно тому, как за изучением «Пятиканония» в Китае должно было следовать изучение, точнее, заучивание, конфуцианского «Четверокнижия» («Сышу»): «Беседы и суждения» Конфуция («Лунъюй»), «Мэн-цзы», «Великое Учение» (или «Дасюе») и «О Срединном и Постоянном» (или «Чжунюн»), – традиционный еврей помимо «Пятикнижия» должен был изучать «Невиим» («Пророки») и «Ктувим» («Писания»). Но и этим не исчерпывалось традиционное образование. Китайский книжник далее должен был переходить к следующим памятникам общего

«Тринадцатикнижия»* и бесконечным комментариям к классикам, а религиозный еврей – к Устной Торе, Талмуду, главные части которого – «Галаха» («Закон») и «Агада» («Предание»), а затем – также к бесчисленным комментариям. Не мудрено, что при таком насыщенном образовании иудей и конфуцианец, говоря словами академика В. Алексеева, зачастую «студенчествовали всю жизнь».

Личное творчество и инновация осуществлялись в Китае и Израиле также по преимуществу как комментаторская, экзегетическая традиция, мыслившаяся продолжением канонического текста. Даже такие сферы, которые, казалось бы, более всего должны быть свободны от авторитарного диктата традиции, как философия и поэзия, всегда уходили здесь своими корнями или прямо отсылали к классическим памятникам древности (через скрытые цитаты, аллюзии, зашифрованные тексты и т. д.). В этом – несомненное родство еврейской и китайской философий с теологией. Если, по словам А. Шопенгауэра, сделавшего свое наблюдение на основе классической европейской традиции, для понимания философии и поэзии необходим собственный опыт, который как бы служит словарем их особого языка, то для еврейской и китайской культур собственного опыта явно недостаточно, и понимание в этих сферах может быть доступно лишь тому, кто досконально знаком с древними текстами.

Этот своеобразный консерватизм, высокая преемственность традиции, характерные для еврейской и китайской культур, в значительной степени способствовали их непрерывности. Именно им они обязаны своим сохранением вплоть до нынешнего дня не в качестве музейного экспоната, а и живой традиции, привлекательной для своих сегодняшних приверженцев и сказывающейся не только на уровне текстов, но и на уровне стереотипов поведения и социально-психологических проявлений. Попытки «вливать новое вино в ветхие мехи» удивительно характерны и для современных форм государственного и социального устройства Китая, Тайваня и Израиля.

Говоря о еврейской и китайской письменных или книжных традициях, нельзя не упомянуть и о их своего рода перпендикулярности к классической европейской, которую французский философ Жак Деррида метко назвал лого-фаллофоноцентрической. Для Китая и Израиля, напротив, особенно характерно благоговейное внимание именно к письменному знаку, к «письму» в деконструктивистском смысле Дерриды («*écriture*»), т. е. как к системе зафиксированных на бумаге знаков. В Китае самостоятельная фоноцентрическая традиция (запись

* В этот канон, кроме указанных выше 9 книг, входят еще «Книга долга и установлений» («И-ли»), «Книга установлений династии Чжоу» («Чжоу-ли»), «Канон сыновней почительности» («Сяо Цзин») и Словарь «Эръя».

произносимых знаков) отсутствовала, что во многом было связано с несоответствием написанного произносимому в иероглифическом письме, а несемантическое значение знака зачастую оказывалось более важным, чем означаемое. Само письмо как писание мыслилось в еврейской и китайской традициях как своего рода молитва: достаточно вспомнить традицию «соферов», переписчиков священных текстов, захоронение свитков Торы, как людей, в иудаизме и искусство каллиграфии, самое китайское из искусств, в «Срединном государстве». Текст писался справа налево – к сердцу. Знак, как таковой, в эзотерической (и китайской, и еврейской кабалистической) традиции онтологизировался, и «следование букве» Закона оказывалось не менее важным, чем следование его духу. На первый план зачастую выдвигались нумерологическая, суггестивная, символическая, системная, эмоциональная и прочие несемантические функции знака, что противопоставляет еврейско-китайскую традицию эллинской идее о немотивированности лингвистического знака и древнегреческой теории о «договорном», «по установлению», происхождении языка. Кабалистическая наука гематрия, генетически, правда, связанная с пифагорейско-неоплатонической традицией, имеет немало общих черт с китайской нумерологией, универсальной систематикой мироздания. Но эта тема еще ждет своего исследователя.

Израильский писатель Хаим Беэр в одном из своих выступлений сравнил Галаху с Китайской Стеной. Эта стена, по мнению Альберто Моравиа, была выражением страха, страха ракообразного, у которого внешняя оболочка тела – твердый панцирь, а внутренности – дряблые и мягкие. По словам Х. Беэра, «еврейство галахической школы подобно тому же раку, что и Китай», раку, стремящемуся к стабильности и чуждающемуся всякого развития и внешних влияний. Но подобно тому, как еврейство не исчерпывалось религиозно-моральным ригоризмом в духе «Галахи» и порождало внутри себя множество сект и ересей – от фарисеев до христиан, от хасидов до последователей марксистского учения, то есть до практически полного отказа от всего еврейского в галахическом смысле, – так и Китай на протяжении всей истории был далек от унифицированности огосударственного конфуцианства, и лучшие люди всех эпох в зависимости от личных склонностей и социальных обстоятельств обращались то к даосизму, то к импортированному из Индии буддизму, то через голову ортодоксальной традиции возвращались к истокам, к истинному и еще не идеологизированному конфуцианству отцов-основателей.

Всякий панцирь дает лишь иллюзию неуязвимости, и никакой организм не может существовать вне связи с внешней средой. Стабильность и устойчивость, даруемая панцирем, также важна, но в эпохи, требующие большей отзывчивости, мобильности и динамики, пребывание под ним становится неблагоприятным и даже гибельным. Панцирь же на государственном уровне делает тело особенно

неповоротливым. Галахический панцирь оставлял все-таки свободу выбора: еврей-еретики могли востребовать свои качества, вовремя сбрасывая его.

Здесь стоит указать на одно принципиально важное различие иудаизма и конфуцианства. Конфуцианство в Китае было, скорее, образом жизни и идеологией, нежели религией в европейском смысле слова, и могло совмещаться даже на уровне личности монарха с увлеченностью даосизмом и буддизмом; Конфуций как бы заранее обозначил границы значимости того, что проповедовал, – земной мир, сфера повседневных поступков и ритуала, – предоставляя другим религиозно-философским учениям «достраивать» мир; так же, как Кант четко выявляет границы, в которых оправдано применение рассудка, Конфуций как бы очерчивает рамки своей нравственной философии. Иудаизм же – не только образ жизни, но и религия как целостное мировоззрение, ревностно исключающее из числа своих последователей всех «инакомыслящих». Если конфуцианство, на протяжении почти всей истории Китая игравшее роль господствующей идеологии и рекрутировавшее из своих рядов костяк системы политического управления в стране, отличалось значительной толерантностью, то иудаизм, хотя и не отягощенный «политической ангажированностью», а просто начисто лишенный возможности играть сколько-нибудь заметную роль в политике (если сбросить со счетов кратковременный опыт Хазарского каганата и современный Израиль), был толерантен лишь вынужденно.

Вопреки видимости, традиционное китайское общество было гораздо более гетеродоксальным по сравнению с миром иудейским. Так, скажем, крупнейший конфуцианский теоретик эпохи Мин Ван Янмин никогда не был отлучен от конфуцианства, как Спиноза от синагоги, несмотря на то, что в его основополагающем для эпохи теоретическом синтезе нетрудно было ощутить даосско-буддистское влияние. Эта гетеродоксальность была связана с уже упомянутой идеологической доминантой государства в традиционной шкале сакральности и с признанием монархии источником всякой благодати в мире. Это позволяло государю, приближая или отдаляя от себя учения-фавориты и руководствуясь принципом «пусть расцветают сто цветов, пусть соперничают сто школ», тем не менее чувствовать себя в безопасности. Напротив, для иудаизма единственным способом выжить и сохраниться в условиях полного отсутствия государственного панциря и во враждебном окружении была именно ортодоксальность. Впрочем, возможно, именно в этом последовательном отсечении частей собственного тела и был способ существования иудаизма, свято охранявшего и охраняющего чистоту своих рядов. К счастью, понятие «еврейское» всегда было шире понятия «иудейское» (а не только в последние три столетия, как часто думают). По крайней мере, для авторов романтически-почвенного направления понятие «еврей» ассоциировалось, прежде всего, не с супертрадиционализмом иудаизма, а с разрушением органических форм жизнеуклада,

революционным новаторством и интеллектуальной агрессивностью. И они были во многом правы.

В «Предисловии» к своей «Истории еврейского народа» Генрих Грец писал о противоположности греческого и еврейского подходов к миру и, имея в виду вклад каждого из народов в сокровищницу мировой культуры, указывал на доминирующее воздействие древнегреческих эстетических канонов на европейское искусство и, опосредованное христианством, определяющее влияние евреев на моральные воззрения европейцев. Действительно, если древнегреческая философия была прежде всего рационально-эстетической теорией и добродетель, по крайней мере в классический период, воспринималась ею как особый род гигиены («лад и гармония», говоря словами Пифагора), а нравственные ценности никогда не превалировали над ценностями отвлеченно-теоретическими и эстетическими, то иудаизм и наследовавшее ему христианство отличались прежде всего обостренным вниманием к борьбе добра и зла в человеческой душе и абсолютностью религиозно-нравственного (тогда еще синкретически единого) критерия оценки человеческих поступков. Древнегреческое *agathos* («доб-ро») первоначально было лишь предикатом гомеровского «благородного человека». И это благородство было связано исключительно с происхождением. Как отмечает исследователь античной культуры В. Адкинс, «чтобы быть *agathos*, человек должен быть смелым, искусным и преуспевающим как на войне, так и в мирное время; он должен обладать богатством и досугом (в мирный период), которые являются необходимыми условиями для развития этих искусств и естественным вознаграждением за их успешное применение». Если содержание иудео-христианского закона – это учение о пути жизни, то древнегреческая этика – это совокупность учений об искусствах жизни, достойных свободного человека и доставляющих приятность и полезность как ему самому, так и полису, гражданином которого он является. Ибо человек, согласно классическому греческому подходу, выраженному Аристотелем, есть не «образ и подобие Божие», а «общественное животное». Именно поэтому Ф. Ницше («Сумерки кумиров») счел возможным назвать Сократа «первым евреем», предавшим пластический, свободный от морали греческий дух и пытавшимся выдвинуть нравственный критерий оценки человеческой деятельности в качестве высшего. В этом смысле первым евреем в Китае был Конфуций, пошедший еще дальше иудеев в абсолютизации морального взгляда на мир и создавший предпосылки для уникальной в истории мысли «моральной метафизики», окончательно оформленной неоконфуцианцами сунской школы. Не случайно Герману Гессе «Конфуций и Сократ показались братьями». Фридриха Ницше, знай он подробнее о китайской «этикоцентричности», конфуцианские сочинения могли бы впечатлить, а может, даже вдохновили бы на антисиническую филиппику. Впрочем, причастность китайцев к панморализму интуитивно угадывалась Ницше, не без сарказма

называвшим кантовский императив и примат «практического разума» «книгсбергской китайщиной», лишенной, по его мысли, легкости и аристократизма раннеаттического взгляда на мир.

Китайцев и евреев действительно роднит предпочтение «практического разума» теоретическому, примат моральных ценностей в подходе к различным явлениям и событиям. Правда, в конфуцианской культуре этот нравственный подход более рафинирован и эмансипирован от ценностей религиозного порядка. Если еврейский дух сконцентрирован прежде всего на отношениях человека с Б-гом (и лишь поэтому на отношениях с человеком как «образом Б-жьем»), то дух китайский – на отношениях человека с государством и человека с человеком. Но Китай и Израиль гораздо ближе друг другу в вопросах этики, чем, скажем, к древнегреческой и древнеиндийской культурам, которым этическая доминанта в мировоззрении никогда не была присуща. Для конфуцианства и иудаизма всегда гораздо важнее была спецификация человека по способности различать добро и зло (или «следовать гуманности и справедливости»), а не по наличию разума, как в Греции и Индии. Как в Китае, так и в Израиле мораль мыслилась в сопряженности с космическими явлениями, точнее даже наоборот, – сам космос зависел от человеческой моральности. Так, согласно конфуцианскому памятнику «Дасюэ», обустройство Поднебесной должно начинаться с «выправления собственного сердца». А по словам другого авторитетного конфуцианского источника, «добрый человек есть основание («цзи») Неба и Земли» (Цзо Цюмин). Также и в иудейской традиции, «праведниками мир спасается и оправдывается» (вспомним классическую библейскую галерею праведников – Ной, Авель, Иов...), ибо праведность – зиждительное начало этого мира.

Для конфуцианского и иудейского сознания «правда» гораздо важнее истины (русское «праведник» – калька с древнееврейского «цадик», происходящего от «цэдэк» – праведность, справедливость). Иудаизм ставит мораль выше логики, милосердие и справедливость – выше обладания правильной идеей. Китайское же сознание вообще не выработало самостоятельно науки логики, а слово «знание» («чжи») понималось в классических памятниках исключительно в смысле знания нравственных норм. Истиной называлось в Китае и Израиле то, чем можно жить и за что можно умереть, а не независимые от практики абстрактные или научные идеи. Поэтому ни иудей, ни конфуцианец не пошли бы на костер, подобно Джордано Бруно, ради отстаивания научной истины, но и не отступили бы ни перед какой инквизицией, как Галилей, если бы речь шла о высших жизненных принципах, о вере, о Правде. Здесь имеется в виду, конечно, не большинство конфуцианской бюрократии и не среднестатистический иудей, а некоторый идеальный тип, который, тем не менее, истории был хорошо знаком.

Иудейско-конфуцианское сознание отличает экзистенциальная направлен-

ность, ориентированность не на знание, а на жизнь. Поэтому созерцательность (*vita contemplativa*) и отрешенность от практических проблем никогда не воспринимались этими традициями в качестве предпочтительной сферы деятельности для идеальной личности. «Верить» на иврите – «леаамин» (לֵאמֹן), что по общему смыслу данного класса глаголов означает «делать так, чтобы было верно». Конфуцианец также удостоверяет свою безбожную моральную веру лишь своими делами, ибо в духовном плане существует только то, что определяет человека в его поступках.

Другой аспект морального сознания, роднящий иудаизм с китайскими учениями, – идея равенства. Если с точки зрения классического греческого подхода, сформулированного Аристотелем, люди не равны «по природе» и одному суждено быть рабом, а другому – свободным (согласно Платону, души людей от рождения различаются по пропорции в них золота, серебра и олова), а с индийской точки зрения кастово-варновой строй связан с изначальным неравенством людей, предопределенным кармой и перерождениями, то в традиционных китайском и еврейском мировоззрениях люди от рождения равны. Правда, иудаизм отстаивал равенство людей в оценочном смысле, исходя из того, что Б-г создал все души равными, а Конфуций – в описательном, исходя из натуралистического равенства природы людей. Эта акцентированная идея равенства во многом определила и систему социальных идеалов китайцев и евреев. Это дало повод Ф. Ницше интерпретировать современные ему социалистическое и коммунистическое движения как еврейские*.

Впрочем, даже сами отцы-основатели социализма не испытывали по этой части особых иллюзий и вполне осознавали свои иудео-христианские корни. Так, основоположник французского коммунизма Кабет в «Истинном христианстве» писал, что «никто не может назвать себя христианином, если он не коммунист».

Если иудаизм называют религией Отца, а христианство – религией Сына, то конфуцианство можно квалифицировать как религию отцовско-сыновних отношений. Впрочем, в плане культа семейственности и отцепоклонства конфуцианство гораздо ближе иудаизму с его заповедью о почитании отца и матери своих, нежели христианству (ибо Христос «пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее», ведь «враги человеку домашние его» /Матф. 10-36/). Как справедливо заметил Д. С. Мережковский, Китай вообще не знал проблемы

* Справедливости ради заметим, что Ницше был много благосклоннее к морали ветхозаветной, чем к новозаветной. Происхождение и возрождение последней он связывал с плебейским *ressentiment*, чувством зависти и мести по отношению ко всему аристократическому, высокому и благородному. В то же время Ницше несколько не сомневался в еврейской генеалогии христианства.

«отцов и детей». «Сяо» – сыновняя почтительность – одно из центральных понятий конфуцианства. Если Христос, по свидетельству Луки (18, 29), говорит: «Кто не оставит мать свою и отца своего и не пойдет за мной, не спасет своей души», то Конфуций увещевает учеников и последователей иначе: «Пока родители живы, не уезжайте далеко» (IV, 19).

В то же время, если для еврейского восприятия мира более характерна преувеличенная забота о потомстве, порой утрированная, доходящая до маниакальности (вспомним традиционно-еврейский тип «идише маме») и, видимо, связанная с иудейской концепцией времени, главный вектор которого устремлен в будущее, к мессианским временам, то для Китая гораздо более характерен не культ детей, а культ отцов, как проекция культа предков и культа прошлого вообще. Так, мифологический герой лубочных картинок, Го Цзюй, решил закопать сына, чтобы больше пищи оставалось его престарелой матери (библейский Авраам решился принести в жертву своего сына, долгожданного и многотрудного первенца, только ради Б-га Единого, даровавшего ему сына и гаранта самого будущего), а Дун Юн продает себя в рабство, чтобы достойно похоронить умершего отца (Иаков продает себя ради выкупа жены, Рахели; с точки зрения китайца – деяние в высшей степени недостойное).

Традиционная китайская многодетность происходила не из бескорыстной любви к детям, а, по преимуществу, из экономических соображений: чем больше детей, тем могущественнее и сильнее семейный клан. Так, девочку можно было сразу продать в другую семью, если она составляла угрозу материальному благополучию семьи.

Ребенок безгрешен, свят – такова аксиома европейского сознания. По словам Пастернака в «Охранной грамоте», детство сверхчеловечно. Ирод, повинный в массовом убийстве младенцев, стал нарицательным именем злодея. По словам Ф.Достоевского, ничто не может оправдать слезинки ребенка. Поэтому для европейского морального сознания гораздо более нормативна идея жертвенности родителей по отношению к детям. В традиционном же Китае господствовала противоположная идея. Герой народных лубков У Мэн летними ночами раздевался догола, чтобы комары кусали его, а не родителей, а шестнадцатилетний Лао Лайцзы продолжал играть в детские игры, чтобы родители не вспоминали о собственной старости.

Другим достойным упоминания моментом иудейско-китайского схождения-расхождения может служить традиционная шкала оценки взаимоотношения братьев. В отличие от христианства, объявившего всех людей братьями «во Христе» и «сынами Божиими», конфуцианство и иудаизм с их матрицентричностью замыкают братство пределами семьи и рода. Иерархичность во взаимоотношениях между старшим и младшим братом соблюдалась в Китае столь безусловно и ревностно и была столь важна для традиционного сознания, что

для обозначения их в китайском языке до сего дня сохранились специальные термины, семантически и идеографически не имеющие ничего общего («гэгэ» – старший брат, «диди» – младший), а в наборе конфуцианских добродетелей особое место отведено «ди», почтительности или любви в отношении к старшему брату. Уже на уровне языка «преждерожденность» (дословный перевод слова «господин») воспринималась как более высокое место в ценностно-статусной шкале, а потому старший брат бесконечно важнее и значимее младшего.

В Танахе же и в иудео-христианской традиции в целом, напротив, младшие братья (и дети вообще) особенно выделены и, как правило, именно они оказываются «избранными» для важнейших исторических миссий. Вспомним Исаака, Иосифа, Св. Деву, Иоанна Предтечу, Св. Терезу, которая была последней, девятой в семье. Этой же традиции, видимо, обязана и русская народная сказка, так любящая «младшеньких» (Иванушка, младшие дочки царя и т. п.). О. Александр (Ельчанинов) заметил в «Дневнике» по поводу этого иудео-христианского культа «детей старости»: «Верно, это оттого, что плотское, эгоистическое, страстное ослабело в родителях, а духовное возросло».

В Китае же, видимо, были совершенно невозможны слова, прозвучавшие пророчеством при рождении Исаака и Исава: «Старший будет служить младшему». Как известно, братья боролись за первородство еще в утробе матери. И победил сильнейший. Но в будущем он за «чечевичную похлебку» продает свою «преждерожденность», и торжествует младший брат. Интересно сопоставить эту библейскую историю с историей древнекитайских братьев Бо И и Шу Ци, ставших героями и образцами поведения в конфуцианской традиции. Их отец, правитель небольшого государства Гучжу, вопреки обычаю наследования, завещал престол младшему сыну, Шу Ци, но тот после смерти отца, не желая лишать брата права, принадлежащего ему по рождению, не принял царства и вместе с Бо И ушел в горы и стал отшельником. В этом расхождении позиций Бо И и Шу Ци, с одной стороны, и Исаака и Исава, с другой, – и два восприятия братства, и два типа человеческой устремленности. Примат солидаризма, характерный для Китая, и агональности (противоборства) – для всего средиземноморского культурного ареала.

Для всякого учения исключительно важны умение окликать и умение откликаться, откликаться на события современности, на вызов альтернативных учений и идеологий, на столкновение с «чужой» культурой, на зов вечности... Еврейская культура, более двух тысячелетий находившаяся в изгнании, обеими этими дарами всегда была наделена сполна. Можно сказать, она выстрадала эти дары. И это, быть может, лучшая гарантия того, что тот словарь культуры, о котором я писал в начале статьи, все-таки будет создан, словарь, необходимый сегодня для взаимопонимания не только Китая и Израиля, но и всего мира. Но тем и больше ответственность самой древней и самой судьбоносной для всего дальневосточного

региона цивилизации Китая и Израиля, родины монотеизма, духовной родины христианского и мусульманского культурных миров.

Р. Киплинг сказал как-то фразу, ставшую крылатой: «Запад есть Запад, Восток есть Восток». Но ведь и Восток Востоку рознь и могут так же фатально расходиться во взглядах на мир и человека. Но коль скоро собеседники говорят или, по крайней мере, собираются говорить на языке культуры, можно быть уверенным: и Дальний Восток станет ближним, сколь бы далеким он иногда ни казался. Ведь, как гласит китайская поговорка, «хороший друг, даже если он далеко, все равно близко».

Сознание несоизмеримости свойственно монадически замкнутому миру. Современный мир немислим без обмена информацией и всеобъемлющего диалога. И если, как сегодня уже ясно, даже Запад, вопреки тезису Киплинга, совместим с Востоком, то что уж говорить о Китае и Израиле. Ну, а если и несовместим, то, вспомнив слова Честертона о том, что «на то и существует любовь, чтобы сделать несовместимое совместимым», преисполнимся оптимизма.

КНИГОТОВАРИЩЕСТВО „МОСКВА - ИЕРУСАЛИМ“

Тель-Авив 61440, п/я 44050, тел. 03-394525

предлагает

ЙОСЕФ НЕДАВА. Вечный комиссар (трагедия Троцкого). (Пер. с иврита). 300 стр.

Проследивая жизненный путь второго после Ленина и все еще не затронутого «гласностью» создателя советской России, автор видит в «комиссарском интернационализме» Троцкого причину всех его успехов в годы революции и неизбежных провалов – в годы борьбы за ленинское наследие.

КОНТАКТ ИЛИ КОНФЛИКТ?

В марте 1992 года в Иерусалимском клубе литераторов состоялся двухдневный симпозиум, посвященный проблемам русскоязычной литературы в Израиле.

Вот уже более 20 лет в Израиле живет и активно работает большая (и еще более усилившаяся в последнее время) группа прозаиков, поэтов, критиков, публицистов, литературоведов, пишущих на русском языке. Издаются романы, сборники рассказов, переводы, книги стихов, толстые журналы и еженедельники. Но что представляет собой вся эта продукция? Что это: своеобразная географическая «провинция» русской литературы или некий новый феномен – русскоязычная часть литературы израильской? В каком отношении находится она с этими литературами – контакта или конфликта?

Лет 10 назад аналогичный вопрос был поставлен на симпозиуме, проходившем в русском Зарубежье, среди писателей-эмигрантов. Там дело было проще. На вопрос: одна или две русских литературы? – подавляющее большинство авторов ответили: «Одна» – и оказались правы. Достаточно было рухнуть «железному занавесу», как вся эмигрантская литературная продукция совершенно естественным образом была перепечатана в России и благополучно вошла в состав единой русской литературы, словно никогда из него и не выходила, даже географически. Оно и понятно. Автор-эмигрант, уже по одному своему самоощущению, принадлежит покинутой стране и ее культуре, на них ориентируется в своем творчестве, об их проблемах пишет и написанное отдает прежде всего и главным образом на суд русского читателя. Даже если остается жить за рубежом. Разве не писали за рубежом Гоголь, Тургенев, Бунин, Федотов, Цветаева и многие другие? Есть, конечно, и не столь однозначные ситуации – Набокова, Бродского, – но именно их исключительность подчеркивает закономерность массового правила.

Где же в этом раскладе место литературы на русском языке, создаваемой в Израиле? Она вроде бы не ориентирована на Россию, на ее проблемы и ее читателя, да и авторы-репатрианты тоже как будто в подавляющей части не ощущают себя «русскими, находящимися за рубежом». Поэтому назвать ее органической частью русской литературы как-то не поворачивается язык. Тогда появляется определение – «израильская русскоязычная литература». Второе прилагательное здесь не случайно. Оно намекает, что общность с русской литературой ограничивается только языком, но не затрагивает сути: поэтому не

просто «русская», а именно «русскаяязычная». Уже это может стать предметом споров. Как сказал на симпозиуме писатель Ю. Карабчиевский, «любая серьезная зарубежная библиотека отнесет эти книги в раздел «русской литературы», где бы они ни были изданы, в Европе, Америке, Израиле или России, по одному лишь признаку языка, на котором они написаны». На что оппонент Карабчиевского, поэт М. Генделев, резонно возразил, что произведения канадских авторов, пишущих по-французски, та же библиотека, наверняка, отнесет все-таки к разделу канадской, а не французской литературы. Но если согласиться с этим возражением, то немедленно возникает другой вопрос: какие же признаки определяют принадлежность произведений, написанных по-русски в Израиле, к собственно «израильской» литературе? Можно ли указать объективные особенности русскоязычной литературы в Израиле, объединяющие ее в единое целое и отличающие от литературы «собственно русской» (сверх еврейского самосознания, израильской принадлежности или сионистской идеологии автора)? И если да, то какие?

Все эти сомнения и недоумения заявили о себе на симпозиуме с первых же минут. Большинство выступавших явно чувствовало необходимость так или иначе соотнестись с тезисом о существовании (или несуществовании) особой «израильской русскоязычной литературы», и это предопределило немедленное выявление двух противостоящих лагерей. Характерно, однако, что линия раздела не совпадала с делением литераторов на «новичков» и «старожилов», как могло бы на первый взгляд показаться. Защитники и оппоненты указанного тезиса обнаружались в обоих «поколениях». Первая попытка охарактеризовать специфичность литературной ситуации в Израиле была предпринята в открывшем симпозиум докладе критика и переводчика Р. Нудельмана, которого, несомненно, следует отнести к «старожилам».

«С двумя потоками алии – 70-х и 90-х годов – в Израиль прибыли две большие группы литераторов, пишущих на русском языке, – сказал докладчик – Первая группа состояла, в основном, из нереализовавших себя в России авторов, сформированных специфической атмосферой советских 60-х годов, когда социальный престиж литературы, особенно диссидентской, находился в апогее, и она обрела статус ведущей идеологической силы. Многие из этих авторов вместе с опытом демократического диссидентства принесли с собой и специфически еврейско-сионистскую «идеологию Исхода». Эти два обстоятельства во многом предопределили судьбу группы в Израиле. Литераторы-репатрианты заявили высокие социальные и идеологические притязания, претендуя на ведущую роль в духовной жизни репатриантской общины и престижное место в израильской культуре. К сожалению, их отношения с репатриантской средой и израильской культурой сложились неблагоприятно.

Израильское общество уже имело к тому времени испытанную «культурную

модель израильтянина» («сабра, говорящий на иврите»), которая предлагалась в качестве образца всем вновь прибывающим группам. Репатриантские авторы не хотели, да и не могли отказаться ни от своего языка, ни от своей культурной модели. В результате между двумя литературами надолго установились отношения взаимного высокомерного игнорирования. С другой стороны, репатриантская масса с определенной готовностью приняла израильскую модель. Она успешно пошла по пути языковой, профессиональной и социальной интеграции и очень скоро утратила интерес к своим авторам. Эти авторы не могли удовлетворить ни массового интереса своих читателей к познанию израильской действительности, которую не отражали, ни их сохраняющегося интереса в отношении действительности советской, связи с которой утрачивали с каждым годом. Постепенно репатриантский рынок для этих авторов стал сужаться. В результате, русскоязычная литературная группа оказалась в почти полной зависимости от «третьей силы» – израильских государственных дотаций.

На протяжении ряда лет эта зависимость была едва ли не главным социологическим фактором всей литературной ситуации. В условиях отсутствия собственного рынка израильская бюрократия оказалась той единственной силой, которая поддерживала существование литераторов. Бюрократический и идеологический истеблишмент создал искусственную «нишу» в виде системы учреждений, служб и рабочих мест на государственной дотации для абсорбции репатриантов-гуманитариев. Часть их была «кооптирована» на ролях посредников (все возможных консультантов, кураторов и цензоров русскоязычной продукции); часть получила работу на радио, телевидении, в издательствах и журналах, на кафедрах; некоторые годами пробавлялись случайными заработками. В этой обстановке литераторы не могли реализовать свои престижные притязания. Оставалось реализовывать их в рамках собственного литературного круга. Стремление к такой реализации привело к появлению и размежеванию отдельных подгрупп с их собственными салонными иерархиями, собственными «гениями» и «талантами».

Ограниченность и бедность государственной «ниши» не позволяла реализовать и социальные притязания литераторов. В попытках удовлетворить эти притязания часть авторов взяла курс на завоевание дотаций для субсидированных изданий своих книг; другие стали поворачиваться в сторону русского эмигрантского рынка; третьи начали спланиваться вокруг местных русскоязычных журналов. Соответственно, каждая из этих подгрупп сдвигалась к своей «идеологии», отражавшей ее связи с тем или иным культурным рынком и помогавшей этот рынок завоевать. Одни подчеркивали принадлежность к общей русской культуре, другие – свою «израильскую принадлежность», подчеркнуто противопоставленную «русской» или «эмигрантской». Среди последних складывалось представление о себе как о создателях специфической «израильской русско-

язычной литературы». Эта самооценка в немалой степени подпитывалась вполне искренними национально-сионистскими убеждениями соответствующих авторов. С другой стороны, идеология «израильской принадлежности» играла, конечно, и конкурентную роль. Израильская бюрократия благосклонно воспринимала такие изъятия «патриотизма». Но и на русском эмигрантском рынке этикетка особой «израильской русскоязычной литературы» могла служить своеобразным престижным знаком, выделяющим ее авторов; еще большее значение она могла иметь на рынке общерусском, где заграничные этикетки котировались выше отечественных. В конечном счете, она не только удовлетворяла престижные притязания литераторов, но и косвенным образом легитимизировала их существование как особой группы, а тем самым как бы «подтверждала» их внутригрупповую иерархию.

Но была ли эта продукция действительно особой литературой? Стороннему наблюдателю положение могло бы показаться, скорее, парадоксальным. С одной стороны, существовала некая совокупность текстов, объединенных более или менее отчетливым сознанием национально-исторической и политической принадлежности; с другой стороны, за этими текстами не стояла никакая широкая социальная действительность – русская, израильская или хотя бы репатриантская, которую они бы отражали. Поэзия была преимущественно ностальгической, проза и драматургия бесконечно воспроизводили темы советского антисемитизма, Исхода и «первых шагов репатрианта», в публицистике преобладали пылкие дискуссии о «правоте сионистского дела», глобальные сопоставления русской и еврейской истории и эссеистика общекультурного направления. С одной стороны, имели место все признаки того, что называется литературной жизнью: «союз писателей, пишущих по-русски», журналы, салоны с их борьбой и т.п.; с другой – вся эта литературная жизнь кипела, как в вакууме. С одной стороны, провозглашалась «израильская принадлежность» текстов; с другой, – авторы втайне мечтали завоевать престиж на том самом общерусском культурном поле, которому себя противопоставляли. С одной стороны, провозглашалось существование особой «израильской русскоязычной литературы»; с другой, – в силу социальной и профессиональной изоляции – консервировались архаические жанровые и эстетические особенности советской культуры 60-х годов с ее приоритетом идеологии и диссидентски-самиздатским духом.

Возможно, выход этой литературы на общеизраильский или общерусский рынок и противопоставление себя другим действительно могли бы дать толчок ее становлению как специфической и особой. Но по ряду причин этого не произошло. В результате к концу 80-х годов наметился явный застой: количество текстов заметно сократилось; проза и драматургия почти сошли на-нет; публицистика, не сумевшая глубоко освоить израильскую проблематику и потому повторявшая свои однообразно «глобальные» темы, стала выдыхаться или чер-

пать вдохновение в «советологии»; литературоведение и культурология начали все больше ориентироваться на проблемы русской и советской культуры. Многие авторы и даже целые журналы попросту эмигрировали, другие влачили полунищенское существование, ряд книг годами не находил издателей.

Именно в это время и в этих условиях начала прибывать в Израиль вторая группа литераторов-репатриантов. Они сформировались, в основном, в атмосфере советских 80-х годов, с ее деидеологизацией и асоциализацией, ее неофициальными литературными салонами, культивировавшими эстетическую независимость, ироническую отстраненность, литературный эксперимент и социально-идеологический эпатаж. Этих литераторов характеризовало отсутствие сионистской или национальной идеологии и низкий интерес к отвлеченным социальным или идеологическим проблемам вообще. У них было также меньше социальных притязаний. Наконец, они глубже ощущали свою связь с новейшей русской культурой и, в отличие от литераторов «первой волны», не противопоставляли себя ей. Для них было более привычным объединение по эстетическим, а не идеологическим критериям. В противовес «шестидесятникам» с их коллективистским этосом и общественно-идеологическим пафосом, они представляли собой, в основном, этос сугубо индивидуалистский.

Определенное противостояние обеих групп было неизбежным. Столь же неизбежной, однако, была и их постепенная конвергенция и новое социальное, идеологическое и профессиональное размежевание. Появление авторов, еще не утративших живые связи с Россией, заново поставило проблему «русской» или «израильской» принадлежности. Но теперь она возродилась в новых условиях, потому что массовая алия гуманитариев сделала куда более острыми вопросы чисто социального и профессионального выживания.

Надежды, возлагавшиеся на расширившийся репатриантский рынок, не оправдались. Несмотря на появление сотен тысяч новых потенциальных читателей, этот рынок практически не расширился – частично из-за откровенной бедности былых «потребителей культуры» или смены их социальных приоритетов, частично – из-за их ориентированности на ставшую широко доступной советскую продукцию (которая вошла на израильский рынок гораздо энергичней, чем израильская на советский). Не сбылись и надежды на ставший свободным русский рынок. После краткого увлечения зарубежной продукцией и литературой «андерграунда», он стал чисто коммерческим. Но самым тяжелым ударом для русскоязычных литераторов в Израиле оказалось резкое сужение государственно-бюрократической «ниши», прежде худо-бедно обеспечивавшей их существование. И без того не подготовленная к абсорбции такого числа гуманитариев, израильская государственная бюрократия стала утрачивать интерес к привлечению на свою сторону русского еврейства.

Результатом всех этих процессов оказалось продолжающееся исчезновение

серьезных журналов и независимых издательств, дальнейшее сокращение издаваемой продукции, еще большее вытеснение авторов в условия «самиздата». В этих условиях израильской русскоязычной литературе (и шире – культуре), что бы ни понимать под этим термином, грозит медленное удушье или полная коммерциализация. Перед лицом этой надвигающейся социальной угрозы споры о ее своеобразии и дальних перспективах становятся чисто академическими.»

Апокалиптический прогноз Р. Нудельмана не нашел отклика среди участников симпозиума. Дискуссия сосредоточилась на более близких и жгучих проблемах. Одной из них, по мнению прибывшего в страну несколько лет назад писателя и поэта Анатолия Добровича, психолога по профессии, является уже упомянутое противостояние «двух поколений» русскоязычных литераторов. А.Добрович считает это противостояние важной проблемой, потому что оно отражает некий объективный «конфликт умонастроений», который может существенно повлиять на будущую ориентацию израильской русскоязычной литературы в целом, а стало быть – и на ее судьбу. С другой стороны, анализ этого конфликта приближает к пониманию психологии и идеологии обеих групп.

«Каждый из старожилов, оказавшись в Израиле, пережил нечто вроде клинической смерти – неокончательную культурную смерть. Некоторые впали в панику и уехали. Оставшихся и укоренившихся поддерживала так или иначе понимаемая сионистская идея. Поэтому свою культурную смерть они не отождествили с духовной смертью, напротив – приняли вызов судьбы и сохранились как духовно, так и в качестве авторов, пишущих по-русски, но эмоциями и помыслами принадлежащих этой стране. Подобный труд души дается нелегко, поэтому их раздражает всякий, кто от этого труда уклоняется или декларирует, что намерен уклониться».

Но дело не исчерпывается этим. «При всей напряженной работе души на дне ее все еще живет страх: а вдруг, выпав из речевого и событийного поля России, они погубили себя, не состоявшись в качестве литераторов? Чтобы заглушить этот страх, всячески педалируются темы: «Слава Богу, что мы не в России», «Как отвратительно все русское и советское», «Как замечательно, что мы у себя дома». Всякий, кто осмелится этому перечить, принимается в штыки.»

Свою роль играет также сложившаяся групповая замкнутость. «Появляется странная, болезненная привилегия – быть одним из немногих, но избранных, божественно говорящих и крепко пишущих на никому не нужном, но необычайно изысканном языке... И вдруг появляются толпами носители этого языка. И фигура начинает теряться в фоне... Опасность утраты сомнительного, но все же ощутимого душевного комфорта, который так трудно достался, делает литераторов-старожилов порой до неприличия агрессивными, вплоть до очернения алии в ивритской прессе: нам-де грозит опасность, навалили чужие,

мерзкие, культурно одичалые, враги сионизма. А в подтексте крик души: «Я не такой, прошу не путать».

У новичков – своя психологическая драма. «Со старожилами их роднит, среди прочего, чисто российская жажда «иметь значение» в культуре». Но кроме сходства претензий есть еще различие побуждений. «Новоприбывшие не всегда отдают себе отчет в том, до какой степени их душа настроена на христианстве. И хотя многие из них вполне сознают себя евреями, но это дела не меняет, поскольку еврей для них – космополит, универсалист и интеллигент, а не какой-нибудь фалафельщик с рынка. Не давая себе труда вникнуть в совершенно иную форму мировосприятия, они полны решимости «улучшить» местную культуру. «К тому же им кажется, что старожилы пытаются заткнуть им рты. «Отсюда их озлобленность в отношении местных русских сочинителей, возмнивших себя законодателями литературной моды».

В этом психологическом конфликте А. Добрович принимает сторону «новичков»: «Из двух ожесточенно спорящих неправ тот, кто умнее». Но куда важнее «правоты» того или иного «поколения» оказывается тот факт, что оба они принадлежат к одной и той же социально-профессиональной группе с единой судьбой. Какова эта судьба? Могут ли они выжить как особая литературная группа? Писатель и публицист Александр Этерман, уже несколько лет живущий и пишущий в Израиле, снова вернулся к этому вопросу, подчеркнув, что в сравнении с ним проблемы самоопределения и противостояния представляются надуманными. «Интенсивность споров о природе культуры на русском языке в Израиле, безусловно, свидетельствует о существовании стоящей за ними реальной проблемы. Но это вовсе не значит, что проблема правильно поставлена или даже названа. Нас чаще всего заботит, оригинальны и самостоятельны ли мы как культурное явление, то есть первородно ли русская мы культура или только русскоязычная; те же из нас, кто уже смирился со второй альтернативой или заинтересован в ней, озабочены тем, чтобы за ними признали раз уж не право на независимость, то хотя бы на автономию – как будто вообще бывает культурная автономия иначе как в административном смысле.

На наш взгляд, более важным является вопрос о том, почему новая четырехсоттысячная алия из СССР, утроившая русскоязычное население Израйля, нисколько не увеличила число подписчиков замечательного литературного журнала «Двадцать два». Не «почему не утроила», а почему «не увеличила» вообще? Или, скажем, не создала ему конкурентов?

Столь же естественно спросить: почему ни одну вышедшую в Израиле русскую книгу невозможно продать даже в пятистах экземплярах? Или: почему русские газеты не в состоянии создать «селебрити» (звезду, знаменитость), поднять шумиху вокруг явления, события или человека, если только речь не идет об ипотечной ссуде? Или: почему ни одна «русская» партия не прошла и, как теперь

уже можно с немалой уверенностью утверждать, до 1996 года не пройдет в Кнесет?»

А. Этерман предложил свой ответ на все эти вопросы - ответ, не внушающий особого оптимизма. «Пытаясь объяснить немногочисленные упомянутые и многочисленные неупомянутые странности культурного поведения языково-туристических меньшинств, мы сталкиваемся с не новой, кажется, закономерностью.

Для того, чтобы вступил в действие антропологический механизм культурного процесса, гарантирующий динамическое равновесие между культурным производством и потреблением, и сработали правила, позволяющие заинтересовать массы, вовлечь их в оный культурный процесс и создать естественную конкуренцию деятелей культуры (за кошельки покупателя, а не за правительственные пособия), а тем самым – полноценную, хотя, быть может, и грязноватую культурную жизнь, необходимо, чтобы и создатели, и потребители культуры существовали в рамках общей для них компактной социальной пирамиды. То есть: если бы репатрианты из России образовывали государство в государстве – со своими богачами и бедняками, вождями и ведомыми, гангстерами и филантропами – то в рамках этого государства не только мог бы развернуться, но и с неизбежностью развернулся бы культурный процесс.

Однако они – репатрианты из России – вовсе не образуют компактной общности. Они вписаны – лучше или хуже – в существующую и помимо них социальную пирамиду; при этом вовсе не факт, что они в ней интегрированы и стали ее частью, несомненным фактом является только отсутствие их собственной, независимой пирамидальной структуры – а, следовательно, и возможности отдельного социального существования, будь то существование культурное, экономическое или политическое».

Объяснение А. Этермана подвергает сомнению принципиальную возможность возникновения в Израиле условий для полноценной русскоязычной культурной жизни, поскольку для такой жизни, по его убеждению, нет исходных социально-антропологических условий. «Забавно упорство тех, кто прилагает огромные усилия, чтобы сделать такую жизнь возможной. Дело, видимо, в том, что им нехватает вовсе не литературы, а социального признания, завоевать которое они надеются, одержав победу в нашей дискуссии. Но что у дискуссии общего с реальностью? Увы – истина выясняется отнюдь не в споре.»

Тем не менее место для ограниченного оптимизма все же остается. «Все вышеизложенное, – заключил А. Этерман, – отнюдь не означает, что в социальной эмиграции не могут быть созданы замечательные литературные произведения. Искусство во все времена было делом индивидуальным. Всяко бывает. Родину вполне можно унести на подошвах башмаков. Общество – нет... Но, в конце концов, художник, скорее всего, не должен ставить перед собой растринья-

ковскую задачу завоевать окружающий мир. Вполне достаточно завоевать место на книжной полке лет через сто-сто пятьдесят».

Однако, именно эту возможность – «завоевать место на книжной полке лет через сто-сто пятьдесят» – резко отрицал московский гость, писатель Юрий Карабчиевский. Он поставил под сомнение тезис об абсолютной индивидуальности, суверенности творческого процесса. «Казалось бы, какая разница, где именно, на чьей территории, поставить писателю свою русскую или, скажем, русскоязычную пишущую машинку? Каждый пишет один, сам за себя, талант – он повсюду талант... Но дело в том, что искусство полно парадоксов. Конечно же, каждый пишет один, но верно и то, что в одиночку никто не пишет, а всегда в соавторстве с тем литературным контекстом, в котором существует, осознанно или неосознанно. Ни один серьезный писатель не может уйти от ответа на простейшие, но и главные вопросы творчества: как писать, о чем писать и к кому обращаться? А если не уклоняться от этих вопросов, то мы придем к неизбежному выводу: полноценная литература на русском языке в Израиле невозможна в принципе».

Однако, отнюдь не по тем причинам, которые назвал А. Этерман. «Русский писатель, в России пишущий и к русскому читателю обращенный, просто физически не может жить в Израиле. В Америке может, а в Израиле нет. Потому что переезд из России в Америку – это как бы полная приватизация жизни, смена общей судьбы на личную, а переезд из России в Израиль – это смена одной общей судьбы на другую общую. Жить в Израиле и быть эмигрантом – невозможно практически, да и незачем, да и, строго говоря, непорядочно. И поэтому истинно русский писатель в Израиле перестанет писать или уедет. Остается один вариант – нерусский писатель; автор, сознательно исключивший себя из русского литературного контекста, сохранивший от него лишь язык как средство выражения мыслей и чувств, пишущий об Израиле – и не только об Израиле – и мысленно обращенный к израильским русским читателям, которых вроде бы становится все больше и больше». Это определение, на первый взгляд, как раз и совпадает с самоощущением – и декларациями – сторонников «израильской русскоязычной литературы», но именно этот вариант представляется Ю. Карабчиевскому самым бесперспективным. «Дело в том, что важнейшим исходным импульсом ко всякому творчеству является стремление автора к бессмертию. Книга должна пережить автора». (Вот оно, «место на книжной полке»!) «Всякий серьезный автор, обращаясь к современникам, обращается еще непременно и к потомкам, говорящим на одном с ним языке. Но таких потомков у русско-пишущего автора в Израиле быть не может, потому что русский Израиль – это общество без будущего, потому что при любой численности русской общины в этой стране ее сверхзадача – исчезновение. Если наши дети еще говорят и читают по-русски, то наши внуки читать по-русски уж точно не будут».

Этот невеселый прогноз вызвал резкие и темпераментные возражения. «Нам говорят, что нас нет!» – воскликнул поэт Александр Бараш. Журналист Дмитрий Сливняк заявил, что логика Ю. Карабчиевского сомнительна: несмотря на свободное владение ивритом многие репатрианты сохраняют интерес к русскоязычной литературе, потому что она, в отличие от ивритской, говорит на языке знакомых им парадигм. Но легко заметить, что это не снимает вопроса: будут ли эти парадигмы столь же знакомы их «внукам», о которых говорил Карабчиевский?

Неожиданную поддержку гость из Москвы получил от поэта из «нового поколения» («по совместительству», как и А. Добрович, психолога) Исаака Розовского. «Русскоязычная литература в Израиле, несомненно, является фикцией. Я бы даже сказал, что это – объективная иллюзия, данная нам в ощущениях». По мнению И. Розовского, установка на обособление от русской литературы выражает, скорее, стремление выдать желаемое за действительное. Отсюда – чрезмерно острая реакция на выступление Карабчиевского, в котором литераторы, претендующие на свою «особость», увидели как бы «окончательный приговор» самой русской литературы, такой особости не признающей. Для Розовского как для психолога такое упорное настаивание на «излишней и притом уродливой языковой конструкции, вроде «израильской русскоязычной литературы», да к тому же вызывающей повышенные эмоциональные реакции, является несомненным знаком наличия за этой конструкцией некой психологической проблемы». Проблема эта порождена душевным конфликтом, с которым сталкивается литератор-репатриант, оказавшись в новой среде, и который он пытается «снять» с помощью различных объективных или субъективных уловок. «Конфликт этот писатель может попытаться устранить объективно – например, перейдя на иврит, перестав писать вообще или уехав из страны; но если он этого не делает и остается в своем качестве израильтянина и при этом пишущего по-русски, единственное, что ему остается, – это субъективно интерпретировать свою ситуацию таким образом, чтобы смягчить этот конфликт, иными словами – прибегнуть к какой-то системе психологической защиты».

По Розовскому, тезис о принадлежности к особой «израильской русскоязычной литературе» как раз и призван выполнять роль такой защиты. «Конфликт с самого начала объявляется несуществующим. Достигается это с помощью своеобразного истолкования марксистского тезиса «бытие определяет сознание»: раз мы оказались в новой среде, то изменившееся бытие делает иными не только нас самих, но и наше творчество. Само пребывание в Израиле якобы делает нашу литературу не русской, а израильско-русскоязычной».

Утверждение это сомнительно, считает Розовский, но психологически оно работает достаточно хорошо. «Человек, добровольно выписавшийся из русской литературы и не прописавшийся по-настоящему в израильской, оказывается как

бы в некоем промежутке, в условном пространстве, на ничейной земле, где он чувствует себя полным хозяином – может создавать новые иерархии, новые ранги и так далее. Другое дело, что, начиная преобразовывать это условное, воображаемое пространство, он так или иначе строит его по образу и подобию своей прежней реальности, иными словами – выстраивает уменьшенную копию, карикатуру тех социальных атрибутов и функций, которые имели место в прежней реальности». Розовский указывает и на другие отрицательные стороны психологической защиты такого рода. «Главной из них является то, что она деформирует реальность, не допускает трезвой самооценки, порождает всевозможные фрустрации второго порядка. Она делает творчество не спонтанным, а идеологически мотивированным, по сути дела – партийным: человек своим творчеством пытается доказать верность той психологической защиты, которую он сам для себя создал... В принципе, эта защита является чрезвычайно шаткой, и человеку не удастся убедить себя в ее верности до конца; отсюда – постоянная угроза «разоблачения», чувство собственной ущербности и неполноценности».

С выводами А. Этермана, Ю. Карабчиевского и И. Розовского решительно не согласился другой представитель «новичков» поэт Д. Кудрявцев. Он темпераментно защищал тезис о возможности возникновения в Израиле особой «израильской литературы на русском языке», настаивая на той (иронически обозначенной И. Розовским как «марксистская») мысли, что эта «особая литература» порождается самим фактом своего становления в особой, израильской среде. «Возможно, в Израиле и не существует какой-то особой русскоязычной литературы, – сказал Д. Кудрявцев, – но не существует и литературы русской: в Израиле может существовать только израильская литература. Посмотрите на политическую карту Израиля. Партия Шинуй призывает войти в Европейское сообщество, партия Шас отстаивает интересы верующих-сефардов, партия Ликуд опирается на рынок Махане Иегуда и так далее; тем не менее все это – израильские партии. Даже арабские партии, выступающие против государства Израиль и считающие своим основным языком арабский, и те остаются израильскими, и не потому, что местом их нахождения является Израиль, а потому, что само их существование связано с Израилем. То же относится к литературе». Самосознание писателя, групповая идеология, авторская позиция – все это дело десятое. «Русскоязычный писатель Михаил Федотов, занимающий позицию «внутреннего эмигранта», остается израильским писателем в той же мере, как сознающий себя израильянином поэт Михаил Генделев или политический эмигрант Израиль Шамир, публикующий антиизраильские статьи в советском журнале «Наш современник». В конечном счете, весь этот спектр позиций можно найти и в ивритоязычной литературе – достаточно сравнить Амоса Оза, Дана Бен-Амоца и Агнона. Все, что делается здесь на любом языке, – это израильская литература, потому что она написана в Израиле и благодаря существованию

Израиля. Критерием принадлежности литературы является не «ориентация на метрополию» и не «не-ориентация на метрополию» – этим критерием являются факторы, формирующие литературу. Если таким фактором является советская поэтика, это означает всего лишь, что какие-то произведения израильской литературы сформированы духом советской поэтики; от этого они не становятся менее израильскими. Исходя из этого, и нужно формулировать, что мы хотим назвать русскоязычной литературой в Израиле. А хотим мы назвать ею наше желание, чтобы наши тексты формировались той действительностью, в которой мы живем».

То «хотение», о котором говорил Д. Кудрявцев, встревожило поэтессу «нового поколения» Елену Игнатову. Она увидела в нем своеобразную «идеологическую установку», последствия которой могут деформировать литературное творчество и самую литературу не меньше, чем те психологические влияния, о которых говорил И. Розовский, хотя и в иной плоскости. Верность предвзятой идеологии ведет к агрессивной групповой замкнутости и подмене литературных ориентиров внелитературными. По ее убеждению, это уже происходит. «Пока мы периодически рассуждаем, какой должна быть израильская литература на русском языке, – сказала она, – эта литература, на мой взгляд, уже обретает если не вполне заверченный облик, то отчетливый вектор развития, предлагаемый «основателями», главным образом – из предыдущей волны алии.

Бытует расхожее мнение, что, ориентируясь на русскую культуру, русскоязычная в Израиле рискует стать культурной провинцией. Но подлинная культура не может быть провинциальной, она в принципе ориентирована на размокнутость и открытость к другим. Единственная позиция, действительно грозящая провинциальностью, – это агрессивное отрицание всего «не своего», принципиальная идеологическая замкнутость, стремление подчинить литературу неким идеологическим установкам, в духе внелитературных нужд и рецептов, как это было характерно для советской литературы 30-х годов... Посмотрим же, как у нас обстоят отношения с другими культурами, с русской и европейской. Из Пушкина нам важнее всего «Ко мне постучался презренный еврей», из Гоголя – Янкель из «Тараса Бульбы», Достоевский и Чехов – антисемиты, Блок – и вовсе «нацист»! Не так давно один из «идеологов» «израильской русскоязычной литературы» почти с сожалением заметил, что за Львом Толстым «ничего такого» не замечено; однако, уже в статье М. Генделева «Вернись, я все прощу» в списке «убежденнейших антисемитов» есть «Толстые А. К. и Л. Н» (оба сразу, чтоб не чикаться, – знай наших!). Не лучше обстоят дела и, скажем, с английской литературой: Шекспир, Чосер, Честертон – антисемиты и т. п. В общем, «оглянешься – а кругом враги», как писал советский поэт Э. Багрицкий. В итоге нам остается идеологически выдержанная пустыня с редкими, уцелевшими после «чистки» именами; всему прочему мы говорим «Нет!»

Свою филиппику против подчинения литературы предвзятым идеологическим схемам Е. Игнатова кончила словами: «Здесь не место останавливаться на причинах «советизации» современной русскоязычной литературы в Израиле. Ее идеология создавалась в 70-х годах. Она рождалась на кухнях иерусалимского пригорода Неве-Якова в то же самое время, когда мы на кухнях Москвы и Ленинграда создавали «литературу андерграунда», столь же искренне полагая, что она способна заменить и заместить все существующее. Этого не случилось. Культура не создается «по одну сторону баррикады», и вообще – баррикады ей противопоказаны. И мне хочется пожелать нашей литературе, прежде всего, большей открытости, широты и терпимости ко всему, что не вмещается в ее установки и рамки. В противном случае неизбежна ситуация, которую можно определить, перефразируя В. Катаева, – «Время, назад!»

Опасения Е. Игнатовой получили определенное подтверждение в докладе литературоведа-«старожила» доктора Елены Толстой, которая посвятила свое выступление конкретному и детальному анализу содержания и поэтики массовой русскоязычной продукции в Израиле. Этот анализ был одновременно и своеобразным ответом на вопрос, существуют ли общие приметы этой совокупности текстов и каковы они объективно. «Русскоязычная литература в Израиле, – сказала Е. Толстая, – это самая запуганная и закомплексованная литература на свете: со всех сторон ей твердят, что ее не может быть и что тот факт, что она все-таки существует, есть факт множественной государственной измены. Поэтому ее жизненный нерв – это сам этот комплекс неполноценности, а содержание – рефлексия по поводу собственной невозможности. По той же причине поэтика этой литературы располагается между истерическим самоистреблением и истерическим самоутверждением».

В качестве примера, ярко подтверждающего этот тезис, Е. Толстая взялась рассмотреть корпус текстов, повествующих о психологических и бытовых реалиях переезда и жизни на новом месте русского интеллигентского круга 70-х – 80-х годов. «Самая неприятная черта этой литературы, роднящая ее и с другими репатриантскими текстами, – это некий культурный синкретизм: она слишком художественна, чтобы быть коммерческой, и слишком коммерческая, чтобы быть художественной; слишком слюняво-лирична, чтобы быть «проклятой», как ей иногда хочется, и слишком мелко-социальна, чтобы в чем-то всерьез разобраться. Ее сюрреалистические ходы выводят к плотной модели мира, дикие парадоксы стиля сочетаются со стереотипами в построении сюжета и образов, а мистические позывы и подвывы глохнут в пространстве, натурфилософски никак не ориентированном. Это лоскутная литература. Она напоминает тетку с «фиксой» в платье от Диора».

Далее Е. Толстая остановилась на отдельных особенностях, образующих жесткие конструктивные пружины, выпирающие из-под претенциозной «ху-

дожественности» этой беллетристики. «Ее идеология – это, прежде всего, апология репатриации и запальчиво полемическое обоснование правильности сделанного выбора. Главной ценностью провозглашается новая среда. Она вводится с помощью топонимики, желательно универсально-престижной, с ореолом вечности и библейским бряцанием. Задействованы также экзотично-заманчивые ботанические, этнографические и, в особенности, гастрономические доводы. Убедительнее всего низшие – вкусовые, тактильные, олеофакторные – восприятия, призванные возбудить в потенциальном читателе физиологическую, чувственную зависть. Для достоверности подпускается что-либо гадкое. Но главный и наповальный довод «за» – это военная тема. Ее решение напоминает старинные фотографии – прорезь для лица на нарисованном коне в нарисованном башлыке и с шашкой наголо. Не менее важна и тема «новой сексуальности» – описание различных загорелых частей тела местных (или «перемещенных») секс-объектов. Самые же глупые авторы добавляют также марки машин и интерьеры вилл. Удивительно, что, судя по барахольной подробности, вся эта беллетристика должна была бы быть женской, однако является чуть ли не исключительно мужской; женщины-прозаики, напротив, по-мужски брутальны».

Апологетическая «сверхзадача» этой литературы посредует в ее сюжете, стиле и герое. «Сюжет, чаще всего, – это противостояние героя чужой и странной среде. Оно снимается тем, что загадочный и непроницаемый оппонент героя, «сабра», в конце концов, оказывается «своим»: либо своим – неожиданно хорошим (помогает герою, гибнет вместо него), либо своим – хорошим или плохим, но как-то, биографически или исторически, связанным с героем/Россией: 70-е годы все еще бредят лагерной темой, и часто «антагонист» оборачивается лагерным предателем, бывшим следователем, старым подонком в новой маске. Либо, соответственно, жертвой Гулага или Катастрофы».

Снятие конфликта может происходить также через стиль. «Новая среда – солнце, жара, пыль, камни – неизменно подается как слепое, глухое, мертвое, ветхое, как «прах и тлен» (с явным намеком на несомую ими смерть); но одновременно «вечный воздух» дрожит, слепит и поет, «столпы света» играют, отчаявшийся герой растворяется в хрестоматийном ландшафте и воскресает «в духе» под развесистым шофаром. Направо протекает Кидрон.

Но точно так же герой может возродиться, и нюхнув ортодоксальной пыли в каких-то архитектурно подозрительных переулках, где все те же столпы света и мистическая дрожь окажутся эманациями какого-нибудь местного экстрасенса.

Одним словом, все бедно и убого, но чем-то чревато и что-то сулит. Или – не сулит. Самые яркие и питательные тексты построены по той же модели, только со знаком минус. Пророчески обличительная, трагическая модель эмоционально выигрышнее. Поэтика сама диктует отторжение благополучного варианта».

Каков герой этих текстов? «У этой литературы очень узкий фильтр – из

страшно интересной действительности он пропускает очень мало и обычно самое убогое. Герой ее есть ее отношение к самой себе, т. е. к своей социокультурной группе. Чаще всего это отношение есть квинтэссенция ненависти русского еврейства к самому себе. Русско-еврейская среда описывается в терминах саморазоблачения, самоедства, самооплевывания. Иногда это мотивируется антагонизмом (герой отмежевывается от Израиля), иногда – сионизмом (Израиль отмежевывается от героя). Никакой разницы в видении мира при этом не наблюдается. Человеческий контекст героя и тут, и там – какие-то безъязыкие местные мещане, плоские сабры, обоюдоострые красотки, вечно плошающее альтер эго и неизменно мудрый и человечный седой мистический сосед – «альтер ид». Из-за всего этого сквозит незабвенный стереотип – советская литература о плохом интеллигенте 30-х – 60-х годов. Ужасно жаль, ибо русско-еврейская среда, видимо, исчезнет, и этот интереснейший, уникальный феномен останется незапечатленным».

Итак, перед нами «литература о Гамлете в хаки, представленная в двух вариантах: эпическая схватка героя с антагонистом на фоне сакраментальных холмов Иудеи – либо сатирическая светская (она же молодежная) повесть, где герой встречает чреду монстров и в ужасе «бежит света». Плюс экзотика, милитаристский треск, Восток, цитатный пласт, голени и лодыжки, «пежо» и «рено»...» А что же язык? «В эпическом варианте – авторитарность Солженицына (в его более плоскостной, «максимовской» версии) с то ли булгаковским распевом, то ли библейской инверсией, иногда – с добавкой платоновских «идиотизмов»; в сатирическом – итээровский иронический говорок, в патетических местах – очень мужественный «хэмовский» закус губы, лженабоковизмы. Впрочем, у большинства авторов представлены все стили сразу».

К счастью, эта общеусловная и поверхностная беллетристика не исчерпывает всей русскоязычной литературы в Израиле. «Противясь узости беллетристического шаблона, другие литераторы с успехом сосредотачивались на самой литературе, музыке, нудайке, истории; лучшие книги этих двух десятилетий – небеллетристические, часто – мемуарные». Показательна также реакция литературной молодежи – «от общих мест она кидается к борхесовским логическим гаммам, замкнутым мирам, скучной до скуловорота эзотерике». В этом направлении нередко возникают затейливые стилизации и многоплановые интертекстуальные построения.

В целом, литературная площадка, затоптанная надменным «израильским новичком», постепенно и неизбежно пустеет. «Народ разбегается по иным площадкам – появились позиции израильские, европейские, американские, русофильская, русофобская и заведомо не те и не эти... Похоже, что именно этой опустевшей, вакантной высоте предстоит заселиться «новой волной», прибывшей в Израиль в 90-е годы».

Вывод Е. Толстой представляется убедительным. Новоприбывшие литераторы, уже успевшие активно заявить о себе на израильской русскоязычной сцене, действительно, принесли на нее иные темы, сюжеты, стилевые приемы. Но они пока еще не создали «новой» литературы на русском языке в Израиле. Куда более влиятельным и показательным культурным феноменом, притом напрямую связанным с новой волной репатриации, стала израильская русскоязычная журналистика. Но ее, с позволения сказать, эстетика пока что вполне укладывается в рамки безотрадной картины, нарисованной в докладе Е. Толстой. Это отчетливо показал в своем докладе обозреватель газеты «Время» журналист Антон Носик. Начало его доклада воспроизводило статью, опубликованную им год назад в альманахе Иерусалимского клуба литераторов «Обитаемый остров»: «Русская пресса в Израиле возникла навстречу массовой алии из Шестой Части, а в последнее время делается уже руками самой этой алии... Где-то с 1988 года начали появляться – осторожно, крадучись, ползком – всевозможные издания на «великомучем» языке. К началу 1990-го непосредственно в аэропорту имени и фамилии Бен-Гуриона представились моим новоприбывшим очам в местном киоске «Спутник», «Новости недели», «Наша страна», «Новая панорама», «Феникс», «Эхо», «Зеркало», «Круг», «Алеф» и др. Мог ли я догадываться, что в одном из этих «др.» судьба готовит мне рабочее место у окна?!

Чем продиктовался бурный расцвет русской прессы? Отвечать на этот вопрос ниже достоинства – детям ясно, что алией. Массовым нашествием людей, более одного языка не знающих. Был и способствующий фактор. Алия, не смыслящая по-местному, стала удачной мишенью для коммерческой рекламы. Скажем, за один лишь апрель 1990 года один банк А-Поалим истратил на русскую рекламу от 50 до 100 тысяч долларов – и все эти деньги, как понятно, пошли на развитие и укрепление советскоязычной периодической каиновой печати в стране победившего сионизма. Толчок серьезный, если учесть, что и банк Леуми от собрата не отстал.

Что же она такое – советскоязычная пресса, рожденная навстречу нашествию безъязыкой массы? Сперва, конечно, она была поводырем и мостом: состояла на сто с лишним процентов из переводов местной прессы, причем порою даже со ссылками. Другим ее компонентом были перепечатки из прессы собственно советской, причем перепечатки в совершенно физическом смысле слова, то есть фотокопии. Никто даже не удосуживался перенабрать заново, своим шрифтом, статьи из «Московского комсомольца», «Известий», «Аргументов и фактов» и т.п. В результате при чтении этих перепечаток от разнобоя гарнитур рябило в глазах, как при пятибалльной качке.

Однако, долго такая ситуация не могла продолжаться. Читатель, который хронически остается связан неразрывной своей пуповиной с Шестой Частью, не может долго сидеть в классе учеником: в какой-то момент он должен либо сам

научиться, либо – чаще – встать, расправить плечи и всех научить (особенно, если он уже уверился, что его за это не накажут). И вот русскоязычная пресса из читателя воспитала себе автора. Автора новоприбывшего, а потому отменно недорогого. Этот автор вдруг зазвучал с ее страниц в совершенно неожиданном жанре. Он практически вытеснил переводы из местной язычной прессы. Он оказался человеком боевым, агрессивным, мало знающим, но много думающим на любые темы, на все сто уверенным в правоте своего дела и готовым разразиться двумя тысячами слов по любому поводу. Так возникла оригинальная советско-язычная журналистика в Израиле.

Что же за жанр выработал новый советскоязычный автор? Можно назвать его «эпические раздумья на заданный размер в тысячах печатных знаков». Законы жанра предельно строгие: непременно должен быть повод для статьи (впрочем, необязательно стоящий выеденного яйца), много иронии, рассуждений и критики окружающей действительности; фактов столько, сколько случилось помнить по данному поводу; основная же особенность отражена в названии – статья кончается не там, где больше нечего добавить, а там, где исчерпано требуемое число знаков. Отсюда рождается специфический язык: там, где многие сказали бы: «Бейкер в... (географическое название)», новая журналистика требует поставить: «Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки господин Джеймс Эрл Бейкер третий, находящийся в данный момент с непродолжительным деловым визитом в... (географическое название)». Там, где можно сказать: «Министр отказался со мною встретиться», – пишется: «Высокопоставленный представитель правящих кругов, кичащихся своим псевдомократизмом, не изыскал в сокровищнице своего драгоценного времени даже минуты для встречи со столь недостойным представителем рода человеческого, каким является, с точки зрения местного истеблишмента, ваш покорный слуга и корреспондент».

Напрашивается вопрос: зачем читатель это читает и почему предпочитает перепечаткам из местной прессы? Причина ясна: «это» смело и безалаберно; «это» удовлетворяет подспудный спрос на насилие – пусть словесное – над окружающей действительностью. Разве в ивритской прессе можно отыскать такую свободу словоизъявления?! Только здесь так наотмашь, вольно и со свистом дышет человек пивом в лицо «Израиловке» или «грязным нацменам»! Свобода, парение, ветер в парусах!

В последнее время на советскоязычном фронте наметились кое-какие перемены. Во-первых, появилась плеяда русскоязычных постинтеллектуалов – внезапно стали появляться статьи на русском языке на темы культуры и искусства, даже не подражающие стилю незабвенной культуртрегерши Нинели Шаховой из советского телевидения. В лексиконе постинтеллектуалов нет выражений «волнующая встреча», «незабываемое впечатление», «передать свой огромный духовный опыт» и т. п. Напротив, их статьи циничны, насмешливы, пропитаны

«личным» и потому элитарны. Элита же их и читает – страшно далеки они от народа.

Другая перемена – выход газеты «Время». Эта газета в большинстве своих материалов гнет палку в противоположную сторону. Там, где можно было бы сказать «Картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза» («Джоконда»)), во «Времени» напишут: «Картина Л.д.Винчи «М.Л.Джоконда.» Попытка на 16 страницах передать больше правдивой информации, чем во всех конкурентных изданиях, вместе взятых, приводит к совершенно нечеловеческому лаконизму: здесь сокращают любого автора, и оттого профессор Лейбович, Амос Оз и Зеэв Бар-Ам уравниваются в стиле за счет непревзойденной лапидарности».

Таково было положение на заре появления массовой русскоязычной прессы, каким оно виделось насмешливому журналисту. Каково оно сейчас? А. Носик продолжает: «Тогдашняя моя статья кончалась прогнозом, со временем почти подтвердившимся: указывалось, что будущее этой прессы определится мерой неуспеха бытовой и культурной абсорбции (чем хуже будет положение репатрианта, тем охотнее продолжит он читать русскоязычную прессу), и на этом основании предрекался значительный рост числа и тиража русскоязычных изданий в Израиле (явление, прискорбное само по себе и свидетельствующее о неблагополучии в деле абсорбции новоприбывших). В конечном счете, успех советскоязычной прессы в Израиле оценивался как шаг на пути его превращения в шестнадцатую республику СССР. Сегодня, в свете общеизвестных событий в Шестой Части, я бы сформулировал это последнее предсказание иначе, но общий смысл его для меня не изменился.

На нынешнем симпозиуме д-р Д. Сливняк напомнил, что выходцы из бывшего СССР – не единственная община, сохранившая в Израиле издания на языке своего рассеяния, – в стране выходят и французские, и испанские, и румынские, и даже итальянские газеты; поэтому нельзя, мол, объявлять верность языку страны исхода специфически советской чертой.

Соглашаясь, в принципе, с высказываниями д-ра Сливняка, я вынужден отметить, что в них, к сожалению, не учтен масштаб явления. Тираж большинства ивритских изданий в Израиле (кроме международных «Джерузалем пост» и «Джерузалем рипорт») колеблется от нескольких сотен до нескольких тысяч в месяц, в то время как тираж местной русскоязычной прессы доходит, по оценкам Союза рекламных агентств, до миллиона экземпляров в неделю! Израильяне, вроде д-ра Сливняка, знающие иврит, но тем не менее предпочитающие русскоязычные издания ивритским по причине душевной склонности, составляют абсолютное меньшинство в общине выходцев из бывшего СССР, и не за их счет продается тот миллион в неделю, о котором говорят нам данные Союза рекламных агентств. Установка на удовлетворение запросов интеллектуальной элиты не является и не может являться основополагающей при формировании

содержания и определении стиля здешней русскоязычной периодики. Она остается массовой. Она и останется таковой, если, конечно же, не сойдет на-нет благодаря внезапному успеху культурной абсорбции новых репатриантов».

Та массовость беллетристической и журналистской русскоязычной продукции, которая подверглась язвительной критике в выступлениях Е. Толстой и А.Носика, может, однако, предстать и в совершенно ином свете, если ее рассматривать в социально-культурном плане. Тогда оказывается, что она выполняет некую полезную роль, самой своей численностью приковывая внимание и утверждая русскоязычный культурный феномен в израильской действительности. В этом плане существует интересное сходство между израильской литературой на русском языке и так называемой «восточной» (сефардской) музыкальной культурой в Израиле, на которое обратил внимание писатель-«старожил» Илья Зунделевич. «Постоянная озабоченность доказательством своей принадлежности к культуре Израиля не является специфической для русско-говорящей общины – не менее горячие споры бушуют, например, между израильским музыкальным истеблишментом и исполнителями и продюсерами восточной музыки. Репатриант из бывшего СССР – в большинстве своем – бывший житель больших городов, усвоивший неистребимую привычку читать в транспорте, за едой и в уборной. Свойство литературы убивать время оказывается для него не менее важным, чем восприятие печатного текста как истины в последней инстанции». Но это чтение «ничем не отличается по своей функциональности от распевания песен восточным человеком». В конце концов, «всякому ясно, что, сидя верхом на верблюде под знойным солнцем Северной Африки, не очень-то считаешь». Возможно, это объясняет, почему «восточная община Израиля прекрасно обошлась без создания собственного книжно-газетного заповедника. Зато она создала свою музыкально-песенную культуру – как на языках стран исхода, так и на иврите. Создатели этого культурного феномена находятся в ситуации, аналогичной положению русскоязычных писателей, – они тоже изо всех сил стремятся доказать музыкальному истеблишменту свою принадлежность к израильской культуре. Истеблишмент, разумеется, отказывает им в этом, а сами музыканты с неменьшей уверенностью объясняют конфликт ашкеназийским расизмом». В то же время «восточная музыка является притягательной сферой для вливания белых, черных и серых шекелей в количестве сотен миллионов; стало быть, это явление, независимо от признания или непризнания большого начальства, существует и кормит большое количество народа». Даже «культурная оппозиция» сдается перед этим напором: «Прожив лет двадцать под знойным небом Палестины, уже не представляешь себе привычного музыкального фона без «аль а-дваш ве аль а-кефак» и не кричишь: «Маня, куда ты меня привезла?!» – очередной раз услышав звук зурны из окна соседа. Массы берет свое, и каждодневный уклад становится второй натурой... При этом вопрос

качества не имеет никакого отношения к самому факту существования явления. Качество, как известно, имеет много гитик. В случае восточной музыки оно колеблется от «розы-морозы» до блестящих образцов городского ромansa. Примером русскоязычного эквивалента, иллюстрирующего к тому же проблематику доказательства «принадлежности», может служить такой, скажем, текст неизвестного поэта, скрывшегося под псевдонимом Аркадий: «5 июня содрогнулось небо./ содрогнулось небо./ с матушкой-землей./ То враги Израила выступили, гневно./ против жизни славной/ в стороне святой./ Надвигались грозно, злобы не тая./ танковые орды/ смерть с собой неся./ Но не дрогнул маленький/ народ наш старенький./ Не впервые видел он/ смерть и шигаон.» Народу старенькому, действительно, не пристало бежать причастности, тем более, что русскоязычного литератора и читателя шигаоном не напугаешь».

Свое, лишь наполовину юмористическое, выступление И. Зунделевич кончил вполне «серьезным» предложением: «Создать общественное движение русскодумающих литераторов и восточнопоющих музыкантов в целях лоббирования израильского истеблишмента для признания нашей всеобщей культурной неделимости».

Вполне уже серьезно, даже академично о взаимоотношениях русскоязычной литературы с израильской и русской говорил поэт Михаил Генделев, один из создателей самого термина «израильская русскоязычная литература»: «За истекшие 20 лет носители русского языка создали в Израиле весьма специфический вид словесности. В каком-то смысле – хотя бы в историческом – она является частью израильской культуры». Разумеется, эта литература пишется на русском языке, но язык, утверждает Генделев, – это всего лишь «материал». Более того, »внутри цивилизации может существовать особый язык, специально предназначенный для литературы, как в свое время латынь или арамейский. В том же смысле можно говорить, что русский язык в Израиле является таким «литературным языком» для пишущих на нем, – в то время как обиходным языком нашего этноса является иврит. Здесь нет противоречий. Языковое единство еще не предопределяет единства культурного. Канадская литература на французском языке – это отнюдь не французская литература, латиноамериканская литература на испанском языке – отнюдь не испанская литература, австралийская, новозеландская или нигерийская литературы на английском языке не являются английскими». Не язык, а отражаемая действительность (в том числе и «внутренняя действительность» авторского сознания) определяет культурную принадлежность той или иной литературы. Но по той же причине русскоязычная литература в Израиле не является и продолжением тех или иных видов еврейской литературы в России. «Она не есть продолжение русско-еврейской литературы галута (которую искусственно пытаются возродить сейчас деятели ВААДа в России); но она не является также и продолжением советско-еврейской литературы, которую

Шимон Маркиш назвал некогда самой крупной инонациональной группой в СССР. Наша задача не состоит в том, чтобы воспроизводить в Израиле галутную литературу, оставаться в галутном гетто внутри страны. Не состоит она и в том, чтобы воспроизводить русскую литературу диаспоры», т. е. эмигрантскую литературу. Иными словами, позиция «русского писателя в Израиле», равно как и позиция «писателя-эмигранта» являются одинаково искусственными и неплодотворными – в этом М. Генделев сходится с Ю. Карабчиевским и другими. Но вывод из этого у него иной: русскоязычный писатель в Израиле должен осознанно принять установку на создание израильской литературы на русском языке («что мы х о т и м понимать под израильской русскоязычной литературой», как сказал Д. Кудрявцев). Группа литераторов, прибывшая в страну в 70-е годы, исходила именно из такой установки. Но, по Генделеву, это не имело ничего общего с той «советизацией» и «идеологическим обособлением», о которых говорила Е. Игнатова. Эта опасность возникла только сегодня, с прибытием алии 90-х годов, «репродуцирующей в Израиле определенный тип сознания, которое можно назвать советским или постсоветским. Оно становится количественно доминирующей и угрожает превратить русскоязычную литературу Израиля в литературу на советском языке». По убеждению Генделева, «ни о каком искусственном, основанном на ксенофобии, обособлении «подлинно русскоязычной» израильской литературы от русской не может быть и речи». В то же время он подчеркнул, что между обеими литературами существует объективное различие. «Русскоязычная литература в Израиле представляет собой местный, израильский культурный феномен, это культурная рефлексия на ту страну, ту цивилизацию, к которой мы сегодня принадлежим».

Но различия существуют и между русскоязычной литературой Израиля и собственно израильской культурой. «Израильская культура опирается, естественно, на еврейские традиции, русскоязычная – на русские. Ивритская литература обращается, в первую очередь, к действительности Израиля, а в своих аллюзивных рядах – конечно, к Танаху, который находится «на слуху» у любого израильского школьника. Русскоязычная литература вынуждена обращаться, прежде всего, к истории... Наконец, израильская литература куда больше опирается на европейскую традицию». Эти различия, по Генделеву, не делают русскоязычную литературу второсортной – они лишь определяют ее как особое, самостоятельное культурное явление израильской жизни. «Я не призываю деятелей культуры «объевреить» свою литературу и тем самым приблизить ее к израильской; это искусственно не получится». Русскоязычная литература в Израиле должна продолжать свой особый путь, находя источники вдохновения в своем двойственном качестве наследницы классической русской традиции и участницы общеизраильского культурного процесса.

Тему взаимоотношений русскоязычной и израильской культур продолжил

писатель и журналист доктор Дмитрий Сливняк. «Израильское общество, – сказал он, – уникально, и попытки осмыслить его, исходя из существующих моделей, обречены на провал. Аналогии с классическими иммигрантскими обществами здесь могут иметь лишь ограниченное значение. Люди, приехавшие в Израиль, – иммигранты особого рода: помимо осознания собственного перемещения в другое место, они чаще всего еще ощущают, что вернулись домой, «к себе истинным». Поэтому и в культурном плане их поведение порой сложнее поведения иммигрантов в других странах».

Д.Сливняк предложил свою, точнее – заимствованную аналогию, позволяющую, по его мнению, лучше понять культурную ситуацию в такой «стране репатриантов». «По мнению израильского эссеиста Иорама Бронзовского, для иммигрантских культур характерно противостояние «краснокожих» и «бледнолицых» – тех, кто в культурном плане отождествляет себя с местом проживания и стремится к выработке адекватной ему поэтики, и тех, кто стремится к сохранению культурных парадигм стран исхода. При этом «краснокожие» – не обязательно уроженцы страны, а «бледнолицые» – не обязательно иммигранты в первом поколении. Так, в американской культуре прошлого века типичным «краснокожим» был Уитмен, а типичным «бледнолицым» – Эдгар По. В израильской культуре недавнего прошлого «краснокожие» – Ионатан Ратош и Дан Бен-Амоц, «бледнолицые» – Лея Гольдберг и Шмуэль-Йосеф Агнон.

Культурно активная часть «русской» алии 70-х годов в значительной своей части не отождествляла себя с Россией и ее культурой, но и на иврит не перешла. Она не могла перейти на иврит, потому что ее предшественники, пионеры израильской литературы, уже ее опередили, создав фактически на пустом месте многофункциональную ивритскую культуру. Но «русские» литераторы 70-х годов не стали идти проторенными путями: консервировать культуру страны исхода или усваивать культуру локального большинства; подобно израильским пионерам, они избрали третий, уникальный путь: строительство собственных парадигм из подручного материала. Писатели-репатрианты поставили перед собой интереснейшую задачу – выразить самоощущение еврея-израильянина средствами русского языка».

Эта формулировка общей «сверхтемы» израильской русскоязычной литературы как бы снимает упрек в непривязанности ее к израильской действительности, высказанный ранее некоторыми докладчиками симпозиума. «Такая задача сродни задаче художественного перевода и может быть сформулирована как чисто языковая, в принципе не требующая даже наличия читателя. Сложность – в необходимости преодолеть невольное влияние языка (русского, да еще оскверненного советским употреблением) на мироощущение писателя и подключиться к мощному, многовековому цитатному полю, в котором с самого своего рождения живет еврейская цивилизация. По-русски намного проще цитировать

Державина, чем Шнеур-Залмана, и только редким писателям, вроде Кирилла Тынтарева, удавалось заставить зазвучать еврейское наследие хотя бы в кабалистических топонимах, вроде Эмек А-Хесед или Маале-Гвура...» Тем не менее Д. Сливняк с оптимизмом смотрит в будущее. «Израильская культура первоначально не принимала нас даже в качестве «бледнолицых»... Эта позиция понятна: при всем своем декларативном сионизме русскоязычные литераторы своим творчеством ставили под сомнение одно из основных положений местной культурной революции – необходимость перехода на иврит. Лишь намного позже, когда коренной Израиль стал куда более открытым и менее уверенным в себе, тот же Броневский признал, что современная израильская культура немыслима, например, без Майи Каганской... К тому же прибыли писатели и поэты новой, большой алии, смотрящие на мир не так, как репатрианты 70-х годов, и русскоязычная культурная община расслоилась на собственных «краснокожих» и «бледнолицых». Ну, а всякая гетерогенность для культуры – благо, и потому гляжу вперед я без боязни: ситуация перспективна и плодотворна».

Отношения культур, в том числе русскоязычной и израильской, задаются их отношениями с действительностью, то есть, в конечном счете, позицией, которую занимает по отношению к действительности автор. Типичные позиции русскоязычных литераторов в Израиле были подробно проанализированы в содержательном докладе доктора филологических наук литературоведа Михаила Вайскопфа. «Если отвлечься от схоластических споров, – сказал он, – то придется признать, что вопрос о «русскоязычности» или «русскости» писателя в Израиле всецело зависит от идеологической ориентации и самоидентификации автора, то есть от достаточно зыбкой основы, на которой невозможно строить какое-либо серьезное теоретизирование. Следовательно, наиболее простое деление литературы, которое можно провести, да и то достаточно условно, – это как раз ее деление на эмигрантскую и отождествляющую себя с Израилем. Но возможно и другое деление, на мой взгляд, более продуктивное, потому позволяющее хоть как-то соотнестись с эмпирикой литературных явлений. Это – деление литературы на старую и новую. Мы знаем «старую» алию 70-х годов, которая породила достаточно обширную литературную продукцию – возможно, ее опыт позволит как-то спрогнозировать ситуацию, которая ожидает «новую» литературную алию 90-х годов.

Впрочем, возможность такой экстраполяции крайне ограничена именно спецификой этой новой алии. Алия 70-х годов, как тут уже не раз говорилось, была алией идеологической. Она в значительной своей части отталкивалась от существовавших советских структур. Нынешняя алия протекает в совершенно иных условиях, на фоне чудовищного морального, политического и культурного краха России. Возможно, конечно, что обстоятельства изменятся; не исключено, что произойдет процесс демократизации и стабилизации; и тогда здешняя

литература может начать отчетливо ориентироваться на эту новую, привлекательную Россию, что приведет ее к полному разладу со здешней реальностью. Но возможен и другой вариант, для России более мрачный, и тогда мы получим отчетливо национальную ориентацию русской литературы в Израиле.

Итак, в чем заключается опыт литературной алии 70-х годов? Я рассмотрю несколько теоретических вариантов и попытаюсь подкрепить их практическими иллюстрациями. Один из вариантов социо-идеологической ориентации русскоязычного литератора в Израиле – это отталкивание от новой действительности, полное ее неприятие. С чисто литературной точки зрения это вполне продуктивная позиция, как показывает хотя бы пример Юрия Милославского. В принципе она венчается весьма агрессивным православием или, в некоторых случаях, славянофильством. Она, повторяю, перспективна в смысле литературном, но совершенно бесплодна в плане развития израильской культуры. Ее модификация – это внутренняя эмиграция, полное отчуждение и т. п.

Другая возможная позиция – это отношение к Израилю как к экзотике – от экзотики враждебной до экзотики страшно увлекательной, порождающей некий вариант военно-колониальной прозы. Практические реализации этой схемы встречаются очень часто.

Третий вариант – проекция неких советских моделей на израильский опыт. В 70-е годы мы получали в огромных количествах так называемую «парашную прозу», романы о лагерях, обличения советской власти, отчасти в сионистском (порой очень резком) заострении. Были и другие проекции, вроде «молодежной прозы», влияние которой можно обнаружить в произведениях Марка Зайчика и других. С другой стороны, журнал «Сион», например, был, на мой взгляд, израильской проекцией русского «почвенничества».

Наконец, возможна еще и литература «сервилистского» толка – казенная, официальная «сохнутская» агитка. Алия 70-х годов дала образцы и такого рода литературы.

Для появления подлинно новой литературы оставался, по всей видимости, один только выход: писатель должен был таким образом переосмыслить свое пребывание в Израиле, чтобы соотнести свою личную судьбу с тем колоссальным событием, которое мы называем завершением истории восточноевропейского еврейства. Это событие действительно грандиозного масштаба, и здесь приходится повторить вслед за Тыняновым (а также за Троцким, которого Тынянов отчасти повторяет), что мы находимся в ситуации «литературного промежутка»: столь грандиозные события, как правило, не охватываются при жизни участвующего в них поколения. Но в нашем случае ситуация осложняется тем, что второе поколение уже будет, скорее всего, писать на другом языке.

Здесь намечается возможность еще одной позиции: писатель идет в сторону самоотожествления, самоидентификации с Израилем, которое в пределе

чревато его полным растворением в израильской культуре, то есть переходом на иврит. Но если этот парадокс не поддается реализации и писатель остается в сфере русского языка, он начинает строить свое собственное, автономное пространство и искать такую точку зрения, с которой все процессы, происходящие с ним и вокруг него, поддаются некой объективной, внеположной оценке. Такая точка зрения может быть только эпически-объективистской. И мы действительно видим практические примеры такой позиции. В поэзии это эпические установки Михаила Генделева и отчасти Анри Волохонского в его «Тивериадских циклах», в прозе ярчайшим образчиком сионистского эпоса стал роман Эли Люксембурга «Десятый голод».

Взятые вместе, все эти позиции образуют столь пестрый спектр, что, например, журнал «Двадцать два», пытающийся адекватно отразить русскоязычный литературный процесс в Израиле, постоянно получает упреки в «аморфности», «рыхлости» и «безликости», хотя в действительности аморфен и не поддается общей оценке именно этот литературный процесс, условно называемый израильской русскоязычной литературой.

Наконец, я хотел бы сказать о еще одной возможности, открывающейся для русскоязычного литератора в Израиле. Это – эссеистика. Выбор позиции эссеиста позволяет отойти на такую дистанцию, с которой Россия поддается взгляду извне, а тогда открывается возможность постепенного перехода эссеиста к самоидентификации с Израилем и обращения к израильским темам. Такую эволюцию мы видели в творчестве Майи Каганской и Зеева Бар-Селлы. Вполне вероятно, что она подстерегает и нашего нынешнего лучшего эссеиста Александра Гольдштейна.

Возможна ли конвергенция? В целом, возможна. Мы уже имеем израильский соц-арт, который ориентируется на «Третью волну», но пытается быть соц-артом сионистского толка. Не исключено, что воскреснет почвенничество, и портяночная ностальгия В. Распутина тоже найдет свое «сионистское» выражение. Пример Израйля Шамира, который с леволиберальных, палестинофильских, руссоистских позиций спланировал к «Нашему современнику», в этом смысле весьма показателен. По всем этим причинам прогнозировать эволюцию новой русскоязычной литературы в Израиле весьма затруднительно; можно говорить, разве что, о спектре типичных позиций, по которым распределится большинство новопривывших литераторов».

Доклад М. Вайскопфа был вынужденно ограничен одними лишь беглыми примерами главных теоретических положений; развернутой иллюстрацией к нему стали выступления двух поэтов – нового репатрианта Александра Бараша и «старожила» Александра Верника. Их сообщения одновременно были как бы и творческим самоанализом авторов двух поколений, своего рода декларацией той «социо-идеологической» и литературной позиции, о которой говорил

М.Вайскопф.

А.Бараш говорил о самоощущении литератора, недавно прибывшего в страну, еще сохраняющего живые связи с только что покинутым культурным полем русской литературы и в то же время уже успевшего трезво оценить возможности и ограничения новой ситуации. Для него неприемлема мысль о каком-то противопоставлении русскоязычной и русской литератур, но столь же сомнительно и утверждение, будто первая есть лишь «географическая провинция» второй. «Русская литература в России и в Израиле: контакт или конфликт, – адресовался он к названию симпозиума и сам ответил на подразумеваемый этим названием вопрос: – Ни то, ни другое, так как при такой постановке вопроса предполагается наличие двух разных «тел», априорно чужеродных. Между тем, до тех пор, пока русские писатели Израиля пишут по-русски, они являются частью одного, общего тела русской литературы. Любители могут спекулировать, кто является какой частью, но интересней – в этом рассмотрении, – что сейчас любая «местная отрасль» русской литературы, в Москве, Риге или Иерусалиме, периферийна по отношению к центру, расположенному на временной, а не географической оси: все мы равно провинциальны, а наша столица – великая русская словесность начала 19 – начала 20 веков».

Отношения между двумя литературами, по мнению Бараша, куда лучше характеризуются словом «капиллярность». «В СНГ после репатриации евреев и породненных лиц стало, среди прочего, на несколько десятков литераторов «жиже», в Израиле – гуще. Что теперь? Взглянем на ситуацию как бы изнутри – с точки зрения условий существования литератора. Есть плюсы и минусы и там, в России, и здесь, в Израиле. Плюсы в России: несоизмеримо больший масштаб; есть, скажем, по несколько групп схожей эстетической ориентации, что порождает здоровое соперничество среди «своих», не говоря уже о «чужих». Россия, как и Европа и Северная Америка, в метафизическом смысле страна нейтральная, то есть это не резиденция далай-ламы и не Иерусалим, в ней возможны все виды мироощущений, состояний, нюансов; Иерусалим же и вся наша Страна Израиля в очень сильной степени детерминируют довольно узкий спектр состояний, в жестких сочетаниях, без переходных оттенков. Наконец, в России есть роскошь пребывания в стране того языка, на котором пишешь. Но это именно роскошь, то есть то, без чего можно обойтись, но что избавляет от целого ряда комплексов и «неразрешенностей».

Во всех этих плюсах содержатся, как водится, минусы. Взглянем с тех же точек обзора на ситуацию русского писателя в Израиле. Меньше людей, меньше напряжения – значит, и большая «чистота» персональной ситуации, ты почти один на один с собой и со своими возможностями; более точный экзистенциальный, личностный и творческий эксперимент. Уже и жестче спектр состояний, отсутствие оттенков и нюансов – соответственно, ты жестче поставлен перед

выбором, не можешь уклониться от «да» или «нет». «Как бы» – не проходит. В отличие от России, говоря «как бы», ты не отражаешь ничего, не соотносишься ни с какой реальностью. Потеря роскоши пребывания в стране своего языка – это тоже вид освобождения, приближения к себе и к сердцевине языка, с которым оказываешься в еще более трепетной связи. В целом, в Израиле мы в более ясной, четкой и конструктивной ситуации; здесь мы можем говорить от первого лица, не боясь быть ретроgrадами, если нас это волнует, потому что, во-первых, во всем, кроме языка, мы живем в стране, где это естественно и необходимо, а во-вторых, потому что положение – и жизненное, и языковое – каждого из нас настолько постмодернистское, что актуальность и адекватность гарантированы уж не в меньшей степени, чем в России. И вообще любопытно вспомнить, что миф репатрианта или эмигранта – это, в принципе, наиболее характерный миф 20 века. Таким образом, перед каждым из нас и тут, в зависимости от пристальности и одновременно живости взгляда, открываются вдохновляющие перспективы или воздушные ямы».

В отличие от А. Бараша, А. Верник говорил с позиций «старожила», уже прошедшего те этапы творческого освоения новой действительности, которые А. Бараш видит еще как «перспективы». В сущности, он рассказал о том процессе, который, в терминах Сливняка-Броновского, можно было бы назвать трансформацией из «бледнолицого» в «краснокожего». «Тема перемен, происходящих в Израиле с пишущим по-русски, наилучшим образом может быть раскрыта через иллюстративный материал, – сказал он. – И, по-видимому, нет более адекватной иллюстрации, нежели пример собственных писаний. Рискну предложить себя подопытным кроликом, эксперимент над которым поставлен жизнью и литературой».

По Вернику, трансформация, неизбежно переживаемая русским литератором в Израиле, начинается с «вопрятия энергетического поля новой, ставшей, наконец, реальной, жизни и попытки ему внятно соответствовать», что, однако, не только не исключает «ретроспекта в память и сладкой боли по утраченному», но, скорее, их требуют. «Израиль и его средоточие Иерусалим обязывают автора к адекватности им и продуцируют такую адекватность. Здесь писатель и, безусловно, лирический поэт оказываются втянутыми в особую биографию, географию, магию и метафизику». Состояние «транзитного пассажира в литературе» заведомо исключено, поскольку «ты сам же и являешься гражданином выбранной тобой страны, иерусалимским горожанином, героем текста». Но адекватность приходит не сразу: ей предшествуют этапы мучительных поисков. «Первый: задолго до отъезда – выпадение из культурно-экзистенциальной парадигмы оставляемой страны, двухлетнее – год до и год после – неписание, отчаяние, и затем – первое стихотворение в Израиле. «Теперь не память, а забвенье/ осипло голосит листва./ Как страшно наше поколение –/ Иван, не помнящий родства./

Так холодно в моей квартире/ и лица все нехороши./ как будто умер Бог, и в мире/ нет ни одной живой души.»

Этап второй: невольное соотнесение себя поначалу с опытом русской пост-революционной литературной эмиграции, иными словами – с концом биографии, как литературной, так и фактологической: «... когда провалом в пол-лица/ судьба явилась мне./ И так она была грустна./ что день в саду погас./ И обернулась сном весна./ и нас Господь не спас./ И никого из бывших нас/ не сберегла звезда.../ И нынешний недобрый час/ открылся мне тогда».

Этап третий: попытка обретения творческой независимости и неуверенное обнаружение себя в поле культурно-экзистенциальной парадигмы новой страны; иная рефлексия; неоднозначная, не обещающая гармонии привязка к новому опыту – и, в конце концов, вопреки всему, декларируемое решение «жить добровольно»: «Видать, в облюбованной Богом стране/ что-то не больно может быть мне./ Все остальное – больно./ Было б разумней не жить вполне./ Впрочем, живу добровольно».

Этап четвертый: отстранение прежнего опыта, появление новых ориентиров, соотнесение собственного поэтического опыта с опытом других, пишущих по-русски в Израиле, и опора на этот опыт как на некий рождающийся прецедент: «... Вступить пытаться (далее число –/ не помню точно) в воду (вспомнил!) дважды –/ бессмысленно, а главное – порочно./ поскольку (сбился, как же! – пронесло)/ в Ерусалиме нет воды проточной./ а все ключи не утоляют жажды./ особенно, когда стоит хамсин./ Тут впору сдохнуть, одуреть, рехнуться./ рвануть сорочку из последних сил./ за валидолом ринуться, проснуться/ и первое, что сделать не забыть –/ все вспомнить: голос, сад над бездной./ Расплакаться и вновь пуститься жить –/ мучительно, прекрасно, бесполезно.»

Этап пятый: метафизическая автономия в новой литературной парадигме и приобретаемая свобода в использовании аллюзий к русской поэзии; изменение этих аллюзий, связанное с новой биографической и литературной реальностью: «Мне не поднять руки: мешает знание./ мне слова не сказать: мешает ремесло./ А время шло, и пряталось сознание./ и не умел увидеть я, как время шло./ Но не менялся, между тем, порядок мироздания./ я лодку к берегу хотел – да треснуло весло./ А мне казалось: на корме нас четверо сидело –/ один сошел, на дне другой, а третий изменил./ Или команду предал я? Но разве в этом дело!/ Я выбрал море поужней и моряков сменил./ и, корневую рифму расположив умело./ весло отладил и флажок на мачте смастерил./ Теперь всего, казалось бы, на лодке вдосталь будет./ теперь должно, казалось бы, отменно повезти./ а если что–нибудь не так – ну, кто кого осудит?/ Всего–то ерунда, пустяк: на весла – и грести./ Глаголы парные сложить и громко крикнуть: Люди!/ Ступайте, знаете куда. Счастливого пути».

В конечном итоге, для самого себя, – заключил А. Верник, – «речь, безусловно,

идет о ситуации «свободного выбора», волевого решения, самоидентификации... Излишне говорить, что, поскольку творчество не является слепком события, описанные выше этапы могут повторяться, варьировать и исчезать».

И хотя А. Верник утверждал, что «предложенный иллюстративный материал, конечно же, не является строгой концепцией», он убедительнее многих строгих концепций засвидетельствовал творческую плодотворность израильской ситуации русскоязычного литератора, на которой настаивал Д. Сливняк и о которой говорил А. Бараш.

Другую иллюстрацию того же тезиса предложил – на более близком себе материале – журналист и драматург, редактор сатирического еженедельника «Беседер» Марк Галесник, выступивший с сообщением под шокирующе «идеологизированным» названием «Сионизм как источник трагического конфликта в драматургии». На самом деле это было продолжением разговора о новых творческих возможностях литераторов-репатриантов в стране, являющейся страной репатриантов. «Пытаясь сгруппировать причины, образующие трагический конфликт в любом классическом сюжете, – сказал М. Галесник, – мы находим два источника, веками питавших искусство трагедии: вопросы имущества, отражающие отношение человека к неодушевленному объекту, и вопросы крови, охватывающие проблемы родства, кровосмешительства, насильственной смерти, любви и жизни как физических явлений и т. п. Классические сюжеты трагедий вырастают из обоих источников. Античное, а впоследствии европейское антропоцентрическое общество неизменно создавало почву для них. В то же время в еврейской традиции подобные конфликты никогда не становились сюжетноопределяющими. Перенос акцента из сферы отношений народа с Богом в сферу межличностных отношений попросту выводил конфликт из еврейской мировоззренческой традиции, которая моделировала одновременно и сам конфликт, и пути его разрешения.

Как известно, идея сионизма провозглашает возвращение евреев на отчасти мифологическую родину. На этническом уровне реализуется колоссальнейший интеграционный процесс века, если не тысячелетия. В этом процессе центробежная сила движения, существующая одновременно с центростремительной, создает почву для трагического конфликта. Как емко выразил эту идею один чиновный московский литератор, «центробежная сила нашего единения». Еврейская специфика конфликта, его парадоксальность и неразрешимость заключаются именно в надличностном, этническом уровне процесса и обеспечена тем, что этническая воля суммарно сильнее воли субъекта, но энергетически слабее, более размыта и неопределенна, менее универсальна. Субъекты этого конфликта одновременно и противопоставлены друг другу, и неразрывно связаны, что и является необходимым условием для формирования трагического, т. е. исключаящего компромисс, узла страстей. Трагическая предпосылка про-

цесса объединения состоит в том, что, начав процесс, народ уже не может его остановить.

Какие очертания примет он? На сегодняшний день черты этого будущего конфликта выражаются только в форме взаимных претензий всех ко всем: переселенцев к аборигенам, секулярной части общества к клерикальной, бедной к богатой, – а также в форме традиционного арабо-еврейского противостояния.

Для того, чтобы один из этих мотивов (или все, вместе взятые) стал определяющим в трагическом конфликте будущей израильской драматургии, должно произойти нечто, в чем это может проявиться. Условия для такого сверхсобытия уже созданы завоеваниями сионизма, и можно предполагать, что в недалеком будущем израильская драматургия получит от израильской действительности мощный импульс для своего развития».

Если мысленно обозреть все двадцать докладов симпозиума и многочисленные выступления в прениях (часть из них, к сожалению, не вошла в этот краткий обзор за недостатком места), то бросается в глаза одно обстоятельство: основной водораздел прошел даже не между сторонниками и противниками тезиса об особой «израильской русскоязычной литературе», не между ее хулителями и апологетами, а – между пессимистами и оптимистами. И какую бы теоретическую базу они ни подводили под свои декларации, ясно, что главную роль в этом размежевании играли личный темперамент и общее интуитивное ощущение ситуации и ее перспектив. Завершая симпозиум, литературовед-германист доктор Владимир Орел взял сторону «оптимистов»: «Господа, – сказал он, обращаясь к полусотне участников симпозиума, – два рабочих дня мы с вами истратили на решение одной – более или менее второстепенной – историко-культурной задачи... и не решили ее, чего и можно было ожидать заранее. Но Бог с ней, с задачей, – по ходу дела мы достигли многого в области public relations: одни выступили, другие послушали, третьи поаплодировали, и, таким образом, знакомство состоялось или углубилось».

Русские евреи в Израиле – мы с вами в том числе – образуют легко опознаваемую и наделенную набором отличительных признаков общину. Такую же, как грузинская, иракская, марокканская и т. д. У каждой из этих общин – свой широко известный инвентарь качеств, как и у нас, только качества эти – другие. И если грузинская община активно и с честью для себя включилась в израильский малый бизнес (кстати, кому придет в голову назвать этот бизнес не израильским, а грузинским?), а польская община доминирует в политической жизни (опять-таки израильской, а не польской), то русские евреи зацепили своими цепкими щупальцами науку, прессу и belles lettres. Пока это газеты и книги по-русски. Погодите еще лет пять-десять – то ли еще будет! Так или иначе, литература и печать – сфера, где русские сегодня стремятся доминировать. Они и будут в ней доминировать. И потому то, что создают по-русски русские евреи в Израиле, –

это израильская литература, как узбекская литература СССР – литература советская.

В отличие, скажем, от США или Франции, Израиль не является страной массовой эмиграции. Израиль – страна массовой репатриации. Поэтому-то несравнимы с израильскими русскими писателями те русские литераторы, которые, эмигрировав на Запад, остались частью России и русской словесности. Лимонов и Солженицын – русские советские писатели и останутся таковыми, прежде всего, в силу собственного самосознания, где бы они ни жили. Вероятно, некоторые такие литераторы, бездарные и талантливые, проживают и в государстве Израиль, но ведь не о них речь! Речь о евреях из России, избравших Израиль своей второй родиной и продолжающих писать по-русски. Нас просто сбивает с толку, что типологически подобный казус: переселение целой этнической группы, отождествившей себя с новой страной проживания, – явление исторически редкое. Редкое, но вполне реальное.

В ходе двух наших встреч было высказано много разных мыслей, на которые публика особого внимания не обратила. Однако, три-четыре мысли разного достоинства вызвали какой-то отклик. Поскольку случилось это всего несколько раз, моя задача элементарно проста – напомнить вам об этих мыслях снова.

1. Огромную по эмоциональному накалу реакцию вызвало суждение о том, что литература ориентирована на «бессмертие», то есть на длительное существование после смерти автора. Суждение хорошее, но уже высказанное до г-на Карабчиевского Квинтом Горацием Флакком, а потому не столь интересное, как могло бы показаться.

2. Из этой мысли покойного римского поэта г-н Карабчиевский и многие другие выступавшие сделали, однако, вывод, который кажется мне совершенно бессмысленным. В лапидарной форме выразил его, например, г-н Бараш: «Значит, – сказал он, – нам говорят, что нас нет». Это, действительно, оскорбительно, и именно это, я думаю, и имелось в виду. Нас нет, потому что через два поколения в Израиле никто не будет читать худлитературу по-русски. Вот с этим Гораций, знавший, кроме латыни, и другие иностранные языки и не видевший никакой связи между бессмертием творчества и его языковой оболочкой, никогда бы не согласился.

Таким образом, опасность забвения русским писателям Израиля не угрожает: их не забудут даже через 2 тысячи лет, как и Горация, если они будут писать хорошо. Смерть языка не есть смерть литературы, а сама литература, как бы того ни хотелось нашим уважаемым коллегам, не есть дело коллективное, роевое, всенародно-патриотическое. Каждый в нем отвечает сам за себя, каждый обеспечивает себе бессмертие в силу своих собственных сил и способностей. Даже если пишет по-русски.

3. Говорилось в этом зале и о том, что наша – израильская русская – литература

идеологически зашорена и нетерпима, чем напоминает отчасти советскую, 30-х годов. Согласен целиком и полностью с сутью обвинения, но не могу принять ни сравнения именно с советской литературой 30-х годов, ни самой идеи, что в идеологической зашоренности нужно обвинять. Да, израильские русские писатели идеологически зашорены и нетерпимы, как Аристофан и Софокл, Гораций и Катулл, Чосер и Шекспир, Вийон и Рабле, наконец, черт возьми, как Толстой и Достоевский. И если некоторые из них – не лично, а хотя бы заочно – знакомы г-же Игнатовой, она, я надеюсь, убедится в том, что претензии ее к израильской русской литературе даже слишком обоснованы – это претензии ко всему мировому литературному процессу, ко всему человечеству в целом, к каждому человеческому существу, в том числе, к самой г-же Игнатовой.

Кстати, что такое «израильская идеологическая зашоренность и нетерпимость»? По-моему, это такое коварное наименование сионизма.

4. Говорилось здесь – как бы в продолжение того, что обеспокоило г-жу Игнатову, – и о том, как идеологическая ограниченность тех, кто держит под контролем израильскую русскую словесность, препятствует продвижению талантов и поощряет литературную серость – лишь бы та соответствовала некому тематическому стандарту. На это совершенно справедливо – пусть и с нескрываемой личной горечью – указал в своем выступлении д-р Штейнер, сославшись на конкурс в не названной им газете. Результаты конкурса были, как я понял, плачевны: политически благонамеренные бездарности и графоманы расхватали призовые места, подлинное искусство осталось за бортом. Но чего еще, господа, ожидать от литературного конкурса в газете? На то она и газета. Вот если бы мы сейчас провели литературный конкурс здесь, в нашем зале, уж мы бы знали, кого наградить лаврами за идеологическую беспристрастность и высокую художественность, можете не сомневаться.

Мысли этого сорта, мысли, на которые откликнулась публика, герой Ивана Сергеевича Тургенева Базаров называл «отрицательное общее место». Цель их – поразить воображение парадоксом, которого на самом деле нет. Хочется успокоить: что бы здесь ни говорилось, вы, израильские русские писатели, есть. Это парадокса нет. И, с Божьей помощью, не будет».

ЛЮДИ И КНИГИ

А. Пташкин

ЗАМЕТКИ ЧИТАТЕЛЯ

(*Jacques Attali. La vie éternelle. Fayard. Paris. 1989*)

Никто не станет утверждать, что многосторонних людей раньше не было. На самом деле их стало, пожалуй, поменьше только в самые последние века. Во всяком случае, среди наиболее видных личностей нового (буржуазного) времени бросаются в глаза люди весьма специализированные.

Теперь, кажется, многосторонность опять входит в обиход. Но есть ли это возвращение к доброму старому энциклопедизму, о котором мы (как знать, почему) иногда ностальгически тоскуем? Ответить на этот вопрос нелегко, и все нижеследующее – лишь материал для тех, кто этой проблемой заинтересуется.

В последнее время на политической сцене появились люди, активно занимающиеся также и литературой. Пожалуй, это не просто политики с дополнительным интересом к художественному творчеству и не политически активные литераторы. Литературная работа и есть форма политической активности этих людей. Это, однако, не значит, что их литературные труды – философско-политические декларации, оформленные под беллетристику или публицистику. Тут что-то иное.

Один из таких разносторонних литераторов – французский интеллеktуал Жак Аттали. Предки Жака Аттали – алжирские евреи. Сам он вырос и получил самое лучшее образование во Франции. Молодым человеком он попался на глаза Франсуа Миттерану и стал его приближенным советником. Они тесно связаны и сейчас. Совсем недавно Жак Аттали стал президентом Европейского банка реконструкции и развития со штаб-квартирой в Лондоне. Этот только что созданный банк – детище самого Аттали. Банк будет финансировать развитие Восточной Европы и бывшего Советского Союза.

В лондонских финансовых кругах Аттали не любят и не доверяют ему: какой он банкир? он – литератор... На литературном поприще у него тоже много недоброжелателей: в его книгах находят множество ошибок и произвольных утверждений...

Но так или иначе, Жак Аттали – активный производитель идей, достаточно остроумных и, видимо, тесно связанных с его практической политической, а теперь и финансовой деятельностью.

В одной из своих книг он предлагает собственную периодизацию истории. Вот как она выглядит: первая эра – эра богов, вторая – эра телесности,

третья – эра машин, четвертая – эра кодов и правил.

В другой книге Аттали говорит о трех мирах, как бы существующих рядом, но и следующих друг за другом. Это мир регулирования, мир производства и мир организации.

Еще в одной книге Аттали предлагает объяснение и оправдание собственности. Потребность в собственности, говорит он, связана с необходимостью самоидентификации и страхом смерти.

Все эти книги – философские фантазии в чистом виде. А вот роман, который представим несколько подробнее.

Роман «Вечная жизнь» – научная фантастика в жанре «фэнтэзи» с более или менее традиционными признаками. Действие происходит на некой планете, затерянной в космосе. Жители помнят, что ведут свой род от людей, прилетевших сюда на космических кораблях. Их общественная жизнь, когда мы их застаем, оставляет желать лучшего. Заметна общая деградация. Режим – в высшей степени авторитарный. Сама высшая элита неблагополучна. В ней раздоры. Внучка прежнего правителя доискивается причин всего этого, копается в прошлом.

Копаться очень трудно. История плохо записана. Какие-то элементы совсем недавнего прошлого в летописи отсутствуют. Это производит странное впечатление, так как историография более давних времен выглядит вроде бы солидно, – если, конечно, это все не легенда. Такая отрывочность и смутность информации о прошлом наводит на подозрения, потому что речь идет вроде бы о высокотехнологическом обществе. Вообще, в быту и умственной жизни этого общества странно перемешиваются элементы модерна и дряхлой старины – по нашим стандартам.

Расследование, которое ведет главный персонаж, девушка Голиша, касается жутковатой смерти ее деда и туманного факта смерти ее отца, про которого одни говорят, что он умер, другие – что он только некоторым образом умер, а некоторым – жив.

Но постепенно чисто семейный поиск расширяется, и возникает другой мотив. Ключевым элементом и главной тайной историографии этого общества оказывается народ «зив», зивы. Про них рассказывают разные странные вещи. В частности, если рождается новый зив, то его непосредственный предок как будто бы тут же умирает. В остальном они такие же, как мы. Впрочем, все это уже не имеет значения, потому что зивы вымерли; их больше нет.

Но это только кажется. Они есть и появляются на сцене. Отряд зивов пытается проникнуть в столицу. С диверсионными целями? Так, во всяком случае, уверяет верховный властитель своих младших совластителей.

Его более скептические совластители (которых он почему-то никак не репрессирует) сомневаются и требуют разъяснений. Верховный властитель откликается на их диссидентские выпады вполне конструктивно. Он посылает их (разрешает им) присутствовать при заключительных минутах

гибели зивов.

В этом месте наступает кульминация. Умиравший зив сообщает главной героине, что зивское руководство хочет ее видеть; ей, по всей видимости, отведена какая-то важная роль.

Начинается путешествие к зивам. Выясняются шокирующие детали. Оказывается, зивов уничтожили в свое время с помощью нейтронной бомбы. Кое-кто уцелел, и теперь оставшиеся ведут жалкое существование, но не падают духом и мечтают, во-первых, отомстить, а во-вторых, решить измучившую их тяжелую проблему.

Тут обнаруживается подноготная странного обычая зивов умирать при рождении ребенка. Оказывается, что это не такое уж самопожертвование. Родитель переселяется в ребенка. Иными словами, у них непрерывная память; весь опыт предшествующего поколения запоминается и всплывает в памяти нового поколения. Зивы помнят все, вплоть до самого начала. А в начале Верховное существо так их запрограммировало. Между прочим, отец главной героини, оказывается, был зив. Поэтому о нем и говорили, что он умер, но тут же намекали, что он как бы и не умер.

Дальше происходит следующее. Зивы и диссиденты консолидируются. Коррумпированный режим стремительно рушится. Выясняется, кто есть кто, а главная героиня и появившийся у нее в ходе общей борьбы поклонник оказываются Батшевой и Давидом.

Итак, поначалу нам казалось, что речь в романе идет о каком-то очень отдаленном будущем, а оказалось, что нам рассказывают предысторию Библии, нашей Библии. Зивы, таким образом, – это евреи. Вечная жизнь гуляет по вселенной, и наша цивилизация – лишь звено в начале цепи, начало и конец которой исчезают в тумане бесконечности.

Вот такой роман написал директор Европейского банка реконструкции и развития Жак Аттали. Написал он этот роман ради денег? Или это просто плод досуга человека с разносторонними интересами? Или скрытая за этим романом философия имеет прямое отношение к смыслу, который он вкладывает в свою практическую деятельность? Не зив ли он?

ОБ АВТОРАХ НОМЕРА

Б. Носик (Париж) – русский писатель, автор ряда повестей и романов.

А. Верник (Иерусалим) – поэт, автор сборника стихов «Попытка биографии» и др.

А. Карабчиевский (Киев) – редакция не располагает сведениями об авторе.

Д. Сливняк (Иерусалим) – лингвист; писатель и журналист, сотрудник израильской газеты «Звенья».

А. Кучерский (Иерусалим) – писатель; первая публикация в журнале.

А. Перчиков (Москва) – поэт, публикуется в русских журналах.

А. Голоскер, С. Белоцкий – новые репатрианты; первая публикация в журнале.

Р. Гари (1914-1980) – известный французский писатель, автор ряда бестселлеров («Европейское воспитание», «Корни неба», «Танец Чингиз Козна», «Жизнь впереди» и др.), дважды лауреат Гонкуровской премии.

Р. Нудельман (Иерусалим) – переводчик, журналист, редактор журнала «22».

Е. Наклеушев (США) – философ, автор книги «К единому знанию».

Н. Воронель (Тель-Авив) – драматург, переводчик и журналист, автор книг «Папоротник», «Кассир вечности», «Шестью восемь – сорок восемь».

А. Воронель (Тель-Авив) – профессор, доктор физ.-мат. наук; публицист, автор книг «Трепет забот иудейских», «По ту сторону успеха», «И остался Иаков один».

А. Леви (Иерусалим) – израильский журналист, сотрудник газеты «Гаарец».

В. Россман (Иерусалим) – доктор наук, китаевед; первая публикация в журнале.

М. Вартбург (Иерусалим), А. Пташкин (Лондон) – псевдонимы.

В последние месяцы журнал поддерживали пожертвованиями следующие лица: Ботинко Х. (Реховот) – 50 шек., д-р Златкис М. (Цфат) – 50 шек., Козленко М. (Холон) – 50 шек., Коган А. (Петах-Тиква) – 30 шек., Слободская З. (Хайфа) – 10 шек., Шапиро Р. (Иерусалим) – 20 шек., Таль А. (Кирият-Оно) – 30 шек., Матлин В. (США) – 15 долл. Редакция выражает глубокую признательность этим друзьям журнала.

Главный редактор — РАФАИЛ НУДЕЛЬМАН

Редакционная коллегия:

**А.ВОРОНЕЛЬ, Н.ВОРОНЕЛЬ, Н.ГУТИНА,
А.ДОНДЕ, Э.КУЗНЕЦОВ, М.ХЕЙФЕЦ,
Я.ЦИГЕЛЬМАН, И.ЧАПЛИНА**

*заведующая редакцией — Мирьям БАР-ОР
технический редактор — Наталья РУБИНА*

*Всю корреспонденцию направлять по адресу:
"22", п/я 44050, Тель-Авив 61440.
Телефон редакции — 03-394525*

Все права на материалы журнала (за исключением особо оговоренных случаев) принадлежат издательству "Москва-Иерусалим" и их использование без ведома и согласия издательства не разрешается.

Стоимость годовой подписки в Израиле 100 шек., для организаций — 110 шек., за рубежом — 75 долларов (авиапочтой в Европу — 85, в США — 90 долларов), для организаций — 95 долларов

Стоимость подписки для новых репатриантов (до 1 года в стране — 60 шекелей (с рассрочкой в два платежа).

*Отвергнутые рукописи не возвращаются
и в переписку по их поводу редакция не вступает.*

ПОДПИСНОЙ ТАЛОН

Прошу подписать меня на журнал "22", начиная с №
Прилагаю чек (чеки) № на сумму
Журнал прошу выслать по адресу
.....
(пишите разборчиво, желательно указать № телефона)
Жертвую в фонд журнала
..... (фамилия)
Наш адрес: "22", Тель-Авив 61440, п/я 44050

